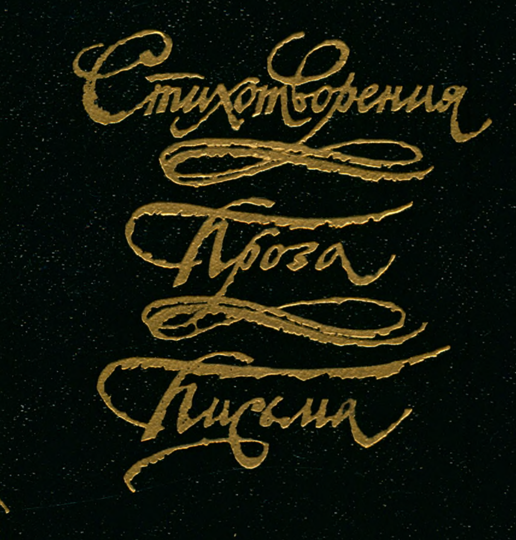
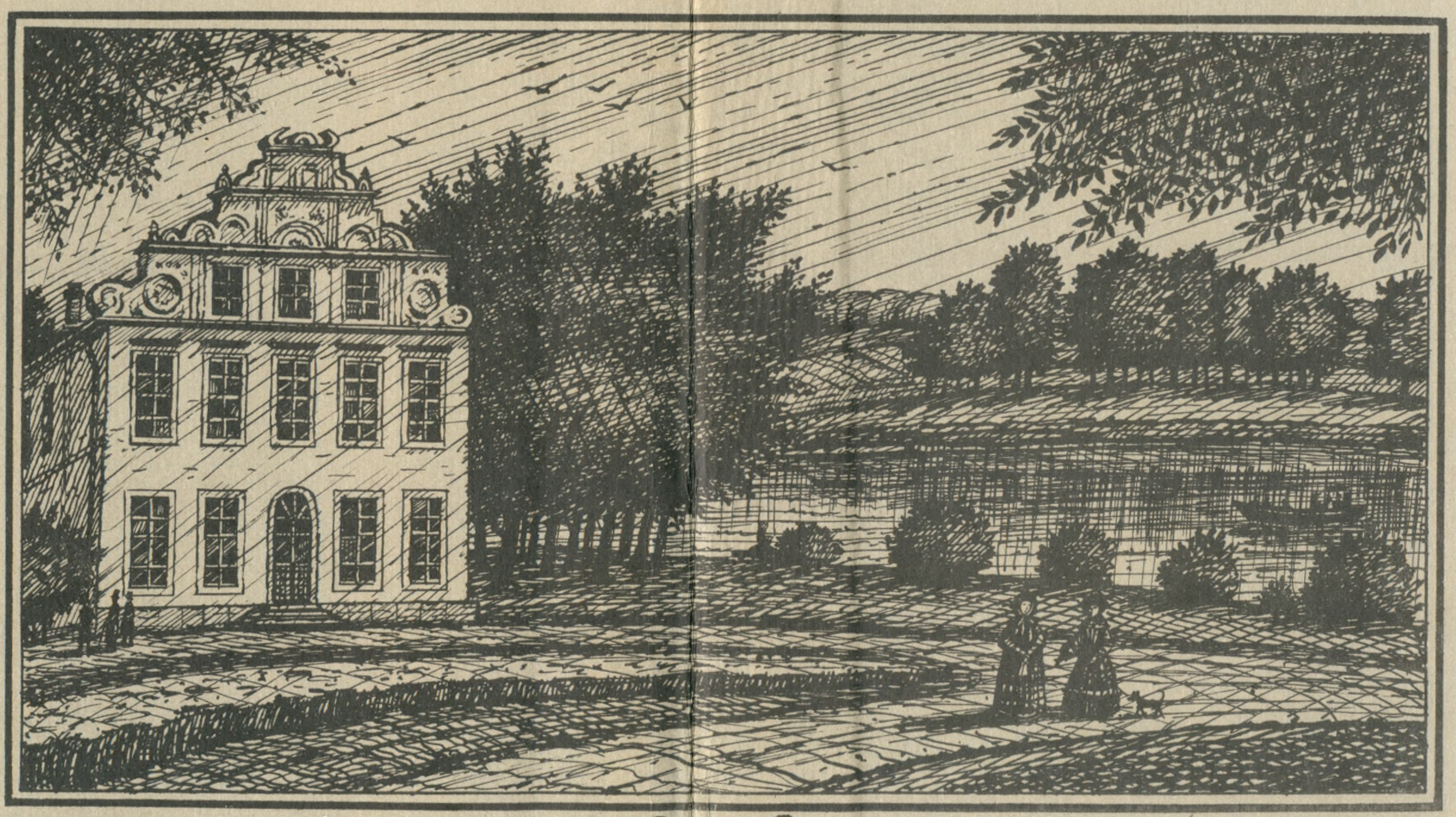


Евдокия Ростопчина



Евдокия
РОСТОПЧИНА





Вороново

Евдокия РОСТОПЧИНА

Стихотворения

Проза

Письма



Евдокия
РОСТОПЧИНА



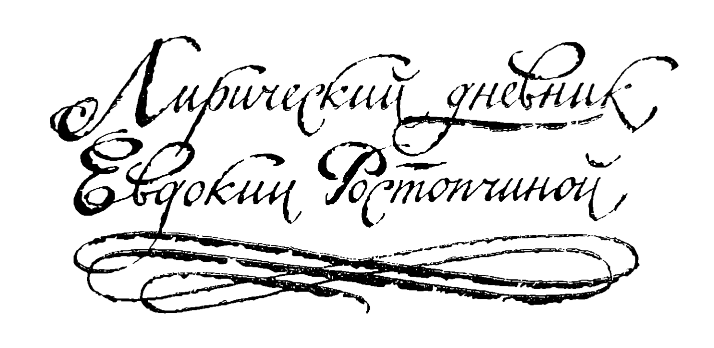
МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1986

Составление,
вступительная статья, подготовка текстов
и примечания **Бориса Романова**

Рецензент
доктор филологических наук **В. И. Коровин**

Художник **В. В. Вагин**

Р $\frac{4702010100-351}{М-105(03)86}$ 171—86



И жить с людьми стремится сердце снова!..
Е. П. Ростопчина

В альманахе «Северные цветы на 1831 год» за подписью «Д... а...» было опубликовано стихотворение «Талисман», первое появившееся в печати стихотворение Евдокии Сушковой, будущей графини Ростопчиной. В «Северных цветах», которые, по словам В. Г. Белинского, «считались в свое время лучшим русским альманахом», блистали имена А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Е. А. Боратынского, Н. М. Языкова, И. И. Козлова... Передал стихи издателю альманаха А. А. Дельвигу, не испрося на то согласие автора, П. А. Вяземский. Публикация прошла незамеченной и не сыграла существенной роли в литературной судьбе поэтессы. Правда, узнавшие об этом родные сочли, «что для благородной светской барышни неприлично заниматься сочинительством, а печатать свои произведения уже совершенно постыдно!». И лишь после замужества ее стихи стали появляться в журналах и альманахах. «Северные цветы на 1831 год» вышли в свет в конце 1830 года, а через десять лет, весной 1841-го, читатели держали в руках первую книгу стихотворений Ростопчиной. В это десятилетие и сложилось то главное в ее творчестве, обращенном прежде всего во внутренний мир молодой женщины тридцатых годов XIX века, что так или иначе определило всю ее литературную судьбу.

В тридцатые годы еще сказывались последствия разгрома декабристского движения. А. И. Герцен в «Былом и думах» вспоминал: «Первые

годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа. Людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние». И высокая трагическая нота слышится в зрелой лирике Пушкина, в «Стихотворениях, присланных из Германии» Ф. И. Тютчева, в поэзии Боратынского, во всем творчестве М. Ю. Лермонтова. Эта нота отчетливо звучит и у менее заметных поэтов тех лет

В сороковые годы, после смерти Лермонтова и Кольцова, в русской поэзии наступает некоторое затишье, в литературе происходят серьезные перемены, в нее входит новое поколение, создавшее великую прозу XIX столетия,— И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров... Зрелые произведения Н. А. Некрасова появляются позднее. А в тридцатые годы поэзия настолько разнообразна и значительна, что созданное ею на долгое время, а может быть, и до наших дней предопределило пути русского поэтического слова. Но самые значительные достижения русской поэзии в творчестве Пушкина, Боратынского, Тютчева и Лермонтова по разным причинам современниками в полной мере осознаны не были, главные их открытия остались как бы незамеченными. Их поэзия опережала время. В двадцатые и тридцатые годы в русской литературе происходило столько событий, она развивалась так быстро, осваивая опыт западных литератур и в то же время обогащая мировое художественное сознание (это стало ясно гораздо позднее), что прозаики и поэты, сформировавшиеся в тот период, проходивший под знаком романтизма, в сороковые-пятидесятые годы оказались как-то «не ко времени». Такой была, например, судьба В. Ф. Одоевского. Такой была судьба Ростопчиной. Этим отчасти можно объяснить и кажущееся поэтическое безвременье сороковых годов.

В тридцатые годы в поэзии, да и среди читателей, за небольшим исключением, властителем дум был романтизм, романтизм самых разных оттенков и направлений: от В. А. Жуковского, И. И. Козлова до А. И. Полежаева, А. И. Одоевского, от поэтов-любомудров до так называемых вульгарных романтиков вроде Н. В. Кукольника и В. Г. Бенедиктова. Пушкин в представлении многих не только читателей, но и литераторов того времени достиг своих вершин в ранних романтических поэмах. Белинский говорил, что «романтизм — это жизнь». И главный путь в развитии романтической поэзии всех стилевых школ и направлений опре-

делял глубокий интерес ее к человеку, к постижению его духовной жизни. Этот интерес в полной мере был свойствен и тем поэтам, которых мы, пользуясь выражением Некрасова, называем «второстепенными». Но как бы скромно ни звучал поэтический голос, если произносимое поэтом слово — живое и подлинное слово поэзии,— читатель и через толщи протекшего времени сумеет расслышать его, отличить его неповторимость.

* * *

Евдокия Петровна Сушкова родилась 23 декабря 1811 года в Москве, на Чистых прудах, в доме своего деда по матери И. А. Пашкова. В 1812 году, при приближении к Москве наполеоновского войска, Пашковы перебрались в свое поместье в Симбирской губернии, в деревню Талызино. С ними отправил жену и дочь служивший при московском комиссариате Петр Васильевич Сушков. Сам он по делам службы еще оставался в Москве, где ему было поручено, как о том говорилось в послужном списке, «заготовление вещей для резервной армии и построение их на действующие...». Находясь вместе с армией, П. В. Сушков до середины 1815 года пробыл за границей, откуда вернулся в дом тестя. Жена его не отличалась крепким здоровьем и в мае 1817 года, через два месяца после рождения второго сына, Дмитрия, двадцати семи лет от роду умерла от скоротечной чахотки. Петр Васильевич, чтобы как-то отвлечься от горя, принимает поручение тестя и уезжает на принадлежащие тому Белорецкие железные заводы. Там он пробыл три года, а затем отправился в Петербург, поступив на службу в министерство финансов. И если сыновей он забрал в 1826 году к себе в Оренбург, куда получил назначение начальником таможенного округа, то дочь до самого замужества оставалась в доме деда. Жилось ей в нем, видимо, не слишком сладко. Впечатлительная девочка с «пылким воображением» под присмотром сменяющихся гувернанток, под рассеянными взглядами двух теток, при добродушном невнимании бабушки и дедушки часто чувствовала себя никому не нужной, лишней. Да и жизнь в большом барском и по-русски гостеприимном доме Пашковых была шумной, неустроенной. Дни детства в стихах Ростопчиной неизменно называются «грустными», «полными страдания», она вспоминает горькие ощущения «сиротства, пренебреженья». Брат ее, Сергей Петрович, писал: «Дед и бабущ-

ка были люди добрые, но уже состарившиеся и жившие исключительно только для себя; дед постоянно проводил все время в своем кабинете... выходил к обеду и еще ненадолго в вечернему чаю; бабушка же, Авдотья Николаевна, вставала не рано и проводила долгое время за своим утренним туалетом... пока две горничные причесывали ее и одевали, приходили с ней здороваться дети и внуки; затем, после чая, она ездила кататься и делать визиты... а по возвращении домой сама принимала визиты; к обеду ежедневно бывали гости, и после стола бабушка тотчас садилась за вист, который продолжался всегда до самого ужина. Где же было им, при таком образе жизни, иметь надзор за воспитанием внучки!» Воспитывались дети на доход с капитала покойной матери, а отец у Пашковых появлялся довольно редко. Хорошую гувернантку приискать было не просто. Француженка, госпожа Мариво, быстро сменилась воспитанницей Смольного института Натальей Гавриловной Боголюбовой, но и она недолго продержалась в доме, за ней появилась швейцарка, госпожа Пудре, а затем госпожа Дюверну а... Обучалась Евдокия (или как ее звали, и не только в домашнем кругу, Додо) языкам — французскому и немецкому (английским и итальянским она овладела позднее), арифметике, истории, географии, игре на фортепиано, рисованию, танцам. Танцам обучал ее среди других небезызвестный нескольким поколениям москвичей танцмейстер Иогель, на балах которого бывал Пушкин. Одним из преподавателей русского языка, хоть и не слишком долго, был Семен Егорович Раич. Тот самый Раич, что преподавал в Московском университетском пансионе, где учился Лермонтов, а с ним и брат поэтессы — Сергей Сушков. Раич был учителем Тютчева, под руководством Раича, по его воспоминаниям, вступили «на литературное поприще некоторые из юношей, как-то: г. Лермонтов, Стромилов, Колачевский, Якубович, В. М. Строев». И сам Раич занимался критикой, писал стихи, переводил Вергилия, Тассо и Ариосто. Думается, что какое-то влияние он оказал и на Евдокию Сушкову, страстно любившую поэзию, рано начавшую писать стихи. В «Автобиографической записке» она сообщает: «Начала слагать стихи 7-ми лет, по-французски; 13-ти, либо 14-ти, по-русски»[1].

Н. Д. Дурново в ноябре 1825 года записал в дневнике: «Вечер у графини Лаваль. Маленькая м-ль Сушкова читала пьесу в стихах собст-

---

[1] Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отд. рукописей, ф. 1000, № 876/1, л. 1.

венного сочинения. Я не жалею, что должен был слушать ее»[1]. И хотя цикл ее «детских стихотворений» открывается стихами, написанными весной 1829 года, всерьез Евдокия Сушкова начинает писать гораздо раньше. В своих заметках о Лермонтове она так вспоминает об этом: «В то время я была в полном восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина; я сама пробовала заняться поэзией и написала оду на Шарлотту Корде, и была настолько разумна, что впоследствии ее сожгла». О Шарлотте Корде она писала, явно подражая Андре Шенье, чей романтизированный образ и чья лирика владели воображением не только юной поэтессы, но и Пушкина, Лермонтова, Боратынского... Позднее в стихотворении «Андре Шенье» Ростопчина вспоминала, как еще ребенком услышала историю трагической судьбы поэта. Она восклицала:

И для мечты моей он был не человек,
А идеал, герой, предмет благоговенья!

Круг чтения Евдокии Сушковой был широк, из русских авторов, кроме Жуковского и Пушкина, с особым увлечением она читает Карамзина, Дельвига, из французских — Мольера, Ламартина, Бальзака, Альфреда де Мюссе, Деборд-Вальмор, де Сталь, из немецких — Шиллера, Гете, Уланда, из английских — Шекспира, Кольриджа, Байрона, Мура... Воистину «книги заменяли ей воспитателей», как она писала о героине своего романа «Счастливая женщина». Чтению Евдокия отдавалась со страстью, с восторгом, читая и тайком, по ночам, при свете оплывающей свечи. Вот как она пишет о библиотеке (которую вполне могла обнаружить в дедовском доме), о книгах, игравших такую большую роль в ее грустном девичестве:

Здесь библио́тека богатая, она
Давно составлена, полна старинных
И редких книг на разных языках.
История, науки и записки
С поэзией, с романами сошлись.

В своем неудачном романе в стихах «Дневник девушки» она с чувством описывала ночные походы в библиотеку, где в дрожащем свете сжатой в тонкой руке свечи ее пугал поблескивавшими глазницами и резкими

[1] Пушкин. Исследования и материалы, т. VIII. Л., 1978, с. 275.

тенями бронзовый бюст Сенеки. Поэтесса вдохновенно перечисляет героев романов, которые строгие воспитатели ей в руки не давали: Элоизу — Руссо, Вертера — Гете, Дельфину — госпожи де Сталь, Обермана — Сенанкура, тех романтических героев и героинь, которым она останется верна как идеалам своей молодости. И здесь, конечно, вспоминается пушкинская Татьяна, воображавшая себя «героиней // Своих возлюбленных творцов,//Клариссой, Юлией, Дельфиной...».

В открытом доме Пашковых бывали многие литераторы: Жуковский, А. И. Тургенев, Вяземский, бывал Пушкин, посетил их живший по соседству на Чистых прудах Мицкевич... Литература была, казалось, в крови у всех Сушковых, бабушка поэтессы по отцу, урожденная Храповицкая, перевела «Потерянный рай» Мильтона; пробовал в молодости в литературе свои силы ее отец — переводил, написал драму; ее дядя, Н. В. Сушков, был хоть и не очень заметным, но известным в литературных сферах писателем; сочинял стихи ее брат Дмитрий, занимались писаниями ее кузины Е. А. Лодыженская и Е. А. Сушкова (Хвостова), оставившая бойкие «Записки». И в этом кругу первые стихотворения Евдокии Сушковой находили первых читателей и ценителей. Появлялся в доме Пашковых юный Н. П. Огарев, которому поэтесса подарила тетрадку своих стихов, и его друг Герцен цитировал их в своих письмах. Знал ее первые стихотворения Лермонтов... Ясно, что не только поэзией жила порывистая девушка, но все, что волновало ее, все ее мечты и неясные предчувствия находили выражение, иногда поспешное, в стихах. Прежде всего в стихах о любви; и такие в общем-то расхожие строки:

Он полюбил ее!.. Восторженно, безумно,
Как любят юноши, как любят в двадцать лет!..—

были наполнены для нее вполне реальным смыслом. И если на детских балах, где Додо Сушкова, кстати, впервые встретилась с Лермонтовым, она «прыгала и скакала, как настоящая девочка»,— то детские балы скоро сменились взрослыми. В первую зиму выезда в свет, когда ей исполнилось восемнадцать лет, на бале у московского губернатора, князя Д. В. Голицына, она знакомится с Пушкиным. Ее брат, Сергей Петрович, рассказывал: «Пушкин так заинтересовался пылкими и восторженными излияниями юной собеседницы, что провел с нею большую часть

вечера и после того тотчас познакомился с семейством Пашковых». Известно, например, что Пушкин был у Пашковых вместе с женою, вскоре после своей свадьбы, 1 марта 1831 года, и участвовал в масленичном катании. В поместительных санях, где сидели Пушкины, была и Евдокия Сушкова. Думается, брат не слишком преувеличил впечатление, произведенное ею на Пушкина. П. А. Мещерский, бывавший в те годы у Пашковых, признавался: «...я находил величайшее удовольствие в частых беседах с молодой, талантливой, образованной девушкой... которая по своим умственным и душевным качествам стояла неизмеримо выше большинства московского общества»[1]. О своем знакомстве с Пушкиным Ростопчина с трепетом вспоминала в стихотворении «Две встречи»:

В тот вечер прекрасный весь мир озлащался,
ОН с нежным приветом ко мне обращался,
ОН дружбой без лести меня ободрял...

Так называемое высшее общество влекло молодую поэтессу не только балами с их особенной поэзией, а и неопределенными девичьими мечтами о новой, интересной жизни. Но свет встречал ее равнодушно и чопорно, духовной пустотой, суетностью, лицемерными условностями, чуждыми ее живому, не лишенному простодушия характеру. И уже в ее первых стихотворениях как одна из главных лирических тем звучит протест против высокомерного света с его «толпой холодной». Евдокия Сушкова утверждает право на искреннее чувство, на духовную независимость. Ноты разочарования и неприятия окружающего часто звучат в ее строках с некой подчеркнутостью:

Ты знаешь, свет лукав, безжалостно насмешлив.
Язвит в отсутствии, в присутствии приветлив.
Боюсь двусмысленных допросов и речей!
Боюсь участия, обмана... и друзей.

Через годы, обращаясь к графине Ростопчиной, Огарев вспоминал Евдокию Сушкову тех лет:

Черты лица у вас дышали
Всей юной прелестью души...

[1] Русский архив, 1886, № 2, с. 219—220.

С порывом страстного участья
Вы пели вольность, и слезой
Почтили жертвы самовластья...

Одно из стихотворений, в котором поэтесса «пела вольность»,— «К страдальцам» — было обращено к ссыльным декабристам. Это возвышенное и действительно страстное послание не только дышит вольнолюбивым пафосом: в нем мы находим удивительно глубокое для светской девушки понимание исторического смысла подвига декабристов. За этим пониманием стояли и серьезные размышления, и непростые разговоры, в которых присутствовал «свободы гордый гений». Декабристы для нее «изгнанники за правду и закон», они «хотели рабства иго снять с России». Ее стихотворение не плач по «страдальцам», а утверждение ненапрасности их жертвы. Не зря поэтесса в эпиграф поставила резкий, как вызов, вопрос Рылеева: «Но где, скажи, когда была//Без жертв искуплена свобода?» И в ее стихах звучит высокая надежда:

Быть может... вам и нам настанет час блаженный
Паденья варварства, деспóтства и царей,
И нам торжествовать придется пир священный
Свободы россиян и мщенья за друзей!

Это стихотворение внутренне перекликается со знаменитым посланием Пушкина «Во глубине сибирских руд...» (его список сохранился в альбоме поэтессы). Строки из пушкинского послания «К Чаадаеву» она поставила эпиграфом к другому стихотворению из «заветной тетради» — «Мечта»,— очень созвучному декабристской поэзии. Стихотворение начинается с патетической ноты:

Когда настанет день паденья для тирана,
Свободы светлый день, день мести роковой,
Когда на родине, у ног царей попранной,
Промчится шум войны, как бури грозный вой...

Эти стихи говорят не только о свободолюбивых порывах, столь часто свойственных молодости, но и о восприимчивой натуре, незаурядном уме Евдокии Сушковой. И о ее смелости и гражданском темпераменте. (Позднее, особенно в последнее десятилетие ее жизни, этот темперамент чаще

всего выражался в неглубоких ура-патриотических, а то и, увы, вполне ретроградных стихах.) Стихотворения «Мечта» и «К страдальцам» были опубликованы только в советское время и существенно изменили расхожие представления о Ростопчиной как о поэтессе «камерной», «салонной». Они сделали довольно убедительным такое, к примеру, свидетельство современника: «Мы хорошо помним, что, в свое время, ходило по рукам немало рукописных произведений этой писательницы, которые, по условиям цензурным, не могли сделаться достоянием печати»[1].

Свободолюбивые строки поэтессы, звучавшие открытой крамолой, соседствовали в ее тетради со строками о любви, в них она тоже восставала против «мнений света», хотя делала это чаще всего с позиций возвышенных романтических идеалов. Понятно, что не могла она уйти и от всех условностей общества, в котором воспитывалась. И та идеальная любовь, что представлялась Додо Сушковой по романам, обернулась если не трагедией, то драмой. Судьба ее сложилась так, что драма эта сказалась на всей ее трудной, несчастливой жизни. Мы теперь можем только догадываться, как все произошло на самом деле, но известно, что увлечена она была князем Алексеем Голицыным, что и тот к ней был вроде бы неравнодушен, а замуж вышла за А. Ф. Ростопчина. Е. А. Сушкова вспоминала в своих «Записках»: «Свадьба эта сладилась совершенно неожиданно для всех нас... Кузина за неделю до решения своей свадьбы писала мне и с отчаяньем говорила о своей пламенной и неизменной любви к другому...» Но что предшествовало этому шагу: дала ли Евдокия Петровна себя уговорить небескорыстным родным выйти за графа, носившего известную в России фамилию, за одного из самых богатых, самых завидных московских женихов, сама ли легкомысленно согласилась на лестное предложение,— мы не знаем. Вот что она говорила в стихах за два года до замужества:

Любя его... принадлежать другому!
И мне в удел сей тяжкий долг избрать...
Жестокие! Они не понимают,
Что буду я, их воле покорясь!
Судьбой моей они располагают,
Со мною, с бедным сердцем не спросясь.

[1] Исторический вестник, 1885, т. XX, № 5, с. 495.

«Любя его... принадлежать другому!» — в этой строчке она как бы предсказывала свою участь, и эта трагическая коллизия, в те времена столь типичная, проходит через многие ее стихотворения, через ее прозу.

А. Ф. Ростопчин, сын знаменитого московского главнокомандующего времен Отечественной войны, был человеком непростым. Стройный и ловкий, очень неглупый, Андрей Федорович при желании умел понравиться. Преждевременно начавший лысеть, в свои девятнадцать лет он выглядел мужчиной пожившим и казался чуть не вдвое старше жены (а был моложе ее на два года!). Граф любил редкостные книги и породистых лошадей, и в том и в другом зная толк. А еще — открыл в Москве первую картинную галерею, доступную публике, имел недюжинный талант проживать наследство «безрассудно и незаметно». «Муж мой, до женитьбы уже избалованный и испорченный безграничною свободою холостой жизни, решившийся жениться не по призванию к строгому счастью семьянина, а по безрассудному капризу повесы...» — эти слова одной из своих героинь Ростопчина без большой натяжки могла отнести к собственному мужу. Одна из родственниц А. Ф. Ростопчина впоследствии вспоминала, что он «ухитрился в продолжение тридцати лет промотать огромное состояние, оставленное ему отцом. Дом в Москве, великолепные имения в лучших губерниях, картинная галерея, библиотека, знаменитый Ростопчинский конский завод,— все исчезнуло, как дым...»[1]

После венчания, состоявшегося 28 мая 1833 года, молодожены едут в воронежское имение, село Анну, затем живут в Москве, весной 1836 года отправляются на кавказские воды, а осенью переселяются в Петербург. В сентябре 1837 года у Ростопчиных родилась дочь Ольга, ровно через год Лидия, а еще через год, в декабре, сын Виктор. Но эти же годы были для Евдокии Петровны и годами достаточно серьезных литературных занятий. С 1834 года ее стихи начинают появляться в альманахах, журналах. До 1838 года она печатается то под псевдонимами, то подписываясь инициалами, то вовсе без подписи. Но круг посвященных, и не такой уж узкий, знал, чьи это стихи. В те годы женские голоса в поэзии, как и в прозе, звучали редко, и совсем еще не миновали времена, в кои даже пушкинская Татьяна

---

[1] Русский библиофил, 1915, № 4, с. 63.

...по русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном...

И. В. Киреевский в 1833 году писал, что «большая часть наших дам-поэтов пишет мало и либо совсем не печатает, либо печатает без имени». В этой же статье «О русских писательницах» мы находим один из первых отзывов, еще без упоминания имени, о Ростопчиной: «...без сомнения, вы слыхали об одном из самых блестящих украшений нашего общества, о поэте, которой имя, несмотря на решительный талант, еще не известно в нашей литературе». Но имя Ростопчиной быстро становится известным, ее стихотворения появляются в «Московском наблюдателе», в «Библиотеке для чтения», в «Современнике».

Переехав в Петербург, Ростопчина зажила оживленною жизнью столицы, посещая балы, маскарады, шумные светские гостиные. Но гораздо больше аристократического Петербурга ее занимал Петербург литературный, артистический, музыкальный, который, конечно, был почти неотделим от «света». Брат поэтессы, С. П. Сушков, свидетельствовал: «От зимы с 1836 на 1837 г. сохранились в моей памяти неизгладимые воспоминания о происходивших нередко у Ростопчиных обедах, на которые собирались Жуковский, Пушкин, князь Вяземский, А. И. Тургенев, князь Одоевский, Плетнев, графы Вильегорские, Мятлев, Соболевский, граф Соллогуб и еще некоторые другие лица, принадлежащие по своим близким связям к этому высокоинтеллигентному и даровитому кружку...» Не известно, как часто бывал у Ростопчиных Пушкин, но вот П. И. Бартенев сообщал, что «Пушкин за день до своего смертельного поединка обедал у графини и, как рассказывал ее муж, гр. А. Ф. Ростопчин, неоднократно убегал мочить себе голову, до того она у него горела»[1]. Два стихотворения Ростопчиной — «Эльбрус и я» и «Месть» — были опубликованы в пушкинском «Современнике». По крайней мере у нас нет оснований не верить ее строчкам из посвящения к драме в стихах «Дочь Дон-Жуана»:

---

[1] Русский архив, 1905, кн. III, № 10, с. 212.

Песнь женская была ему забавой,
Как новизна... О, не забуду я,
Что Пушкина улыбкой вдохновенной
Был награжден мой простодушный стих...

В конце тридцатых — начале сороковых годов имя Ростопчиной популярно, ее стихи широко читаются, переписываются (в особенности дамами), запоминаются. В начале 1838 года в журнале «Сын отечества и Северный архив» под псевдонимом «Ясновидящая» одна за другой появляются ее повести «Чины и деньги» и «Поединок». В следующем году они выходят книгой под названием «Очерки большого света». В те годы русская романтическая проза была в расцвете, повести являлись чуть не в каждом номере лучших журналов. Критика на первые прозаические опыты Ростопчиной почти не откликнулась. И все же среди так называемых «светских» повестей того времени ее повести не терялись, имели свое собственное лицо. Хотя в «Очерках большого света» и разрабатывались привычные романтические штампы, но сквозь них звучал своеобразный живой голос. Знакомое противопоставление героя или героини обществу, их трагический разлад с миром, в котором вместе с имущественным неравенством слишком много регламентирующих жизнь условностей,— вот главная тема ее повестей. Рассудочному лицемерию света Ростопчина противопоставляет непосредственность настоящего чувства, идеализм молодости, открытую человеческую душу. Она по-своему смело, хотя и в рамках, определенных «предрассудками века», отстаивает право женщины быть личностью, жить чувством, искренне и наполненно. Конфликт между личностью, стремящейся к личной свободе, к жизни естественной, раскрепощенной, и обществом, которое зиждется на сословных и прочих установлениях,— эта проблема, поставленная романтизмом, видимо, еще долго будет занимать литературу. Она же определяла и главные лирические темы первой книги стихотворений Евдокии Ростопчиной, которая вышла к весне 1841 года и включала в себя стихи 1829—1839 годов. При всей многочисленности похвал, вызванных появлением книги, вчитавшись в журнальные рецензии, обнаружим, что и большинство недостатков ее музы было отмечено тогда же. Одной из самых критических и вместе с тем вполне благосклонных была рецензия В. Г. Белинского в «Отечественных записках». Критик говорил о «поэтической

прелести и высоком таланте, которыми запечатлены ее прекрасные стихотворения», но отмечал их рефлексию, рассудочность, называл ее музу «светскою»... А. В. Никитенко в «Сыне отечества» был щедрее на похвалы: «Мы думаем, что таких благородных, гармонических, легких и живых стихов вообще не много в нашей современной литературе, а в женской — это, решительно, лучшие стихи из всех, какие когда-либо выпархивали на бумагу из-под милых дамских пальчиков». Но и Никитенко замечал «шероховатые стихи, выражения неточные и прочая...». Самым восторженным оказался отклик П. А. Плетнева в «Современнике»: «...тут десять лет цветущего возраста женщины, тут история прекраснейшего существа в его прекраснейшую эпоху. Как не сказать, что это явление, какого еще не бывало в нашей литературе...» С. П. Шевырев на страницах «Москвитянина» замечал, что вообще «женщина в поэзии всегда гораздо более размышляет, нежели чувствует», и в стихотворениях Ростопчиной, по его мнению, также «всякое чувство, всякая страсть, всякое созерцание переведены на мысль и умерены строгою, важною думою». Интересно, что и Каролину Павлову, современницу и соперницу Ростопчиной в поэзии, обвиняли в том же. Но критики отмечали «энергию чувства» лучших стихотворений Ростопчиной, ее непосредственность, ее «грустные порывы». Тогда же, в дарственной надписи на книге своих стихотворений, Ростопчина дает довольно верную характеристику собственным стихам, как отметил В. Ходасевич, приведя в своей статье 1915 года о творчестве поэтессы французский текст надписи. Ростопчина писала: «Это не книга — это исповедание, совершенно искреннее и совершенно женское, впечатлений, воспоминаний, восторгов сердца молодой девушки и женщины, ее мыслей и мечтаний, всего, что оно, видимо, чувствовало, поняло — наконец, эти страницы — одно из тех интимных повествований, которые осмелишься доверить только душе близкой...» Поэзия Ростопчиной — лирический дневник. Поэтому так тщательно ставится под каждым стихотворением дата и обозначается место, где оно написано. И стихи Ростопчиной, не выходящие за лирический круг ее обыденных впечатлений, наполнены проникновенным чувством, трогательны и выразительны. Но в дневник вместе со значительными событиями автор заносит и такое, что может заинтересовать только его ближайшего адресата, что имеет лишь сиюминутное значение. Но тут же, через весь дневник, проходят лейтмотивом лирические, почти музыкально звучащие темы, все время

видоизменяющиеся, по разному «оркестрованные». И за поэтически условным, романтическим языком, за каждой вроде бы общей формулой стоит конкретный смысл, полнокровное чувство. А. А. Потебня заметил, что «у искренних поэтов даже, по-видимому, случайный образ имеет глубокое основание в личной жизни». И романтическая условность, некоторая экзальтированность лирического высказывания находят естественное выражение в стихах, близких романсу:

Прощай!.. Роковая разлука
  Настала... О сердце мое!..
Поплатимся долгою мукой
  За краткое счастье свое!..

Многие стихотворения Ростопчиной, ее проза писались вдалеке от суетной светской жизни, под ними мы часто встречаем помету: вначале — село Анна, а позднее — Вороново, подмосковное имение. Близкая подруга поэтессы А. О. Смирнова-Россет писала ей в Анну 3 апреля 1839 года: «...если подумать, что ты теряешь в таком одиночестве годá, два лучших года в жизни женщины, то становится понятным чувство меланхолии, заставляющее тебя писать»[1]. Видимо, в ответ на это письмо Ростопчина написала посвященное Смирновой стихотворение «Воспоминанье», где, рисуя романтический портрет своей подруги, она говорила и о себе, о своей женской горечи, говорила привычным возвышенным языком, прерывисто и искренне:

Но вам являлась ли она,
Раздумья томного полна,
В тоске тревожной и смятенной,
Когда хулою вдохновенной,
В разуверенья горький час
Она клянет тщету земную,
Обманы сердца, жизнь пустую,
И женщин долю роковую,
И все, и всех... себя и вас?..

[1] Русский архив, 1905, № 10, с. 216.

Несчастливая любовь, невозможность простого человеческого счастья, жажда открытости, душевного участья, столь редкого в окружающем ее обществе, порождают мотивы разочарования, протеста в ее поэзии.

В стихах Ростопчиной мы находим немало перекличек с поэзией Лермонтова, и дело тут не только во влиянии гениального поэта на свою современницу, но и в некоторой общности духовного склада. В стихотворениях Ростопчиной, конечно, есть и прямые реминисценции из Лермонтова, но есть и такие переклички, которые трудно объяснить одним лишь влиянием, как, например, близость ее стихотворения «Поклонникам Наполеона...» (1840) лермонтовскому «Последнему новоселью» (1841).

Лермонтов близко сошелся с Евдокией Петровной зимой 1841 года. После почти двухлетнего пребывания в Анне, откуда Ростопчины в 1839 году ездили на Кавказ, поэтесса вместе с детьми осенью 1840 перебралась в Петербург. Лермонтов приехал туда 5 февраля 1841 года. По свидетельству С. П. Сушкова, «они сошлись в одном общем им дружеском семействе — Екатерины Андреевны Карамзиной... где они встречались по вечерам почти ежедневно. Весьма скоро они сблизились между собою, потому что между ними было много общего и сочувственного». Тогда же, в стихотворении, посвященном Ростопчиной, М. Ю. Лермонтов писал:

Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.

Ростопчина и Лермонтов принадлежали почти к одному поколению, к одному обществу, был сходен круг их чтения, было много общих знакомых. Е. А. Карамзиной, у которой она так часто встречалась с Лермонтовым, Ростопчина посвятила стихотворение, где так писала о «дружеском семействе»:

Там говорят и думают по-русски,
Там чувством родины проникнуты сердца,
Там чинность модная своею цепью узкой
Не душит, не теснит. Там памятью отца
Великого и славного все дышит...

Салон Карамзиных, семьи Н. М. Карамзина, четверть века играл заметную роль в духовной жизни столицы. Здесь бывали Жуковский, Пушкин, В. Ф. Одоевский, Брюллов, Глинка... По свидетельству современника, вечера Карамзиных были «единственные в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски». Часто бывал Лермонтов и у Ростопчиных. Связывало ли поэтессу и Лермонтова нечто большее, чем дружеская приязнь? Лермонтововедами такие предположения, правда, очень осторожные, делались. Но то, что Ростопчина, как немногие, чувствовала и понимала своеобразие и обаяние личности поэта,— несомненно. Это сказалось и в ее стихах, посвященных Лермонтову, и в ее заметке о Лермонтове, написанной перед самой смертью. Известием о гибели Лермонтова рождены ее возвышенные строки о трагической участи русских поэтов:

Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой!..

Весной 1845 года Ростопчины всей семьей отправились за границу. Их путешествие, по воспоминаниям дочери поэтессы, напоминало «странствие каравана в пустыне». «Наши родители,— пишет она,— ехали в «дормезе»... За дормезом следовала громадная шестиместная карета, в которой помещались мы... Таким образом мы объехали Германию, Италию, Швейцарию, Францию, проведя одну зиму в Риме и две в Париже»[1]. Евдокия Петровна увидела Италию, которой она когда-то грезила.

Италия... страна воспоминаний,
Страна гармонии, поэзии, любви,
Отчизна гения, возвышенных деяний...
О! древний край чудес, издавна мной любимый,
Узрю ли я тебя...—

так она писала в 1831 году, еще не видя Италии. Потом писала о ней, живя в Неаполе и Риме, писала, вспоминая ее. В Неаполе происходит действие ее повести «Палаццо Форли», в лазурной Италии умирает героиня ее романа «Счастливая женщина». В «Счастливой женщине» Ростопчина вдохновенно рассказывает о Генуе и Ницце, о крутых дорогах над сверкающим под высоким солнцем морем, о древних палаццо, об ули-

[1] Ростопчина Л. Семейная хроника. М., <1912>, с. 189—190.

цах, на которых стук колясок, пыль, шум, «раздирающие вопли ослов», перебранка торговок и ремесленников. Любовь поэтессы к Италии пришла вначале из книг; итальянская тема в те годы все чаще звучала в русской литературе.

Смирнова-Россет в письме к Ростопчиной в Италию писала: «Я надеюсь, что Гоголь будет ангелом-хранителем твоих художественных впечатлений: он поразительно чувствует искусство»[1]. Гоголю Ростопчина читала в Риме свои новые стихи и среди них балладу «Насильный брак». Н. В. Берг в своих воспоминаниях о Ростопчиной так передает этот эпизод, по его уверениям, со слов самой поэтессы: «Гоголь попросил прочесть еще раз и потом сказал: «Пошлите в Петербург: не поймут и напечатают. Чем хотите ручаюсь! <...> Пошлите! Вы не знаете тупости нашей цензуры, а я знаю»[2]. Гоголь оказался прав. Ф. В. Булгарин, коему «Насильный брак» вместе с другими стихотворениями был послан, несколько удивившись, что известная поэтесса обратилась к нему, поскольку та принадлежала совсем к иному литературному лагерю, не заметил никакого подвоха. И в декабре 1846 года баллада, в которой намекалось на угнетенную царизмом Польшу, появилась в верноподданнической «Северной пчеле». Никитенко в своем дневнике записал: «И цензура и публика сначала поняли так, что графиня Ростопчина говорит о своих собственных отношениях к мужу, которые, как всем известно, неприязненны. Удивлялись только смелости, с какою она отдавала на суд публике свои семейные дела, и тому, что она связалась с «Северной пчелою». Но теперь оказывается, что барон — Россия, а насильно взятая жена — Польша. Стихи действительно удивительно подходят к отношениям той и другой и, как они очень хороши, то их все твердят наизусть... Булгарина призывали уже к графу Орлову. Цензура ждет грозы...»[3] Гроза грянула. Царь разгневался не на шутку. Номер «Северной пчелы» с балладой было приказано изымать и уничтожать. У Булгарина и Греча, издателей газеты, требовали объяснений. Вернувшаяся в сентябре 1847 года из-за границы Ростопчина, по свидетельству современников, была выслана из столицы. В стихотворении «Песнь возврата», написанном по приезде в Петербург, она говорила:

---

[1] Русский архив, 1905, № 10, с. 228—229.

[2] Исторический вестник, 1893, № 3, с. 691.

[3] Никитенко А. В. Дневник, т. 1. Л., 1955, с. 299—300.

Теперь — я дома... в городе, бывало,
Любимом мной и полном для меня,
Где пусто мне и неприютно стало,
Где, как пришлица, оглянулась я
Болезненно и робко...

В конце октября этого же года Ростопчины переселились в Москву. Поначалу они разместились на Ново-Басманной, в доме матери графа — Екатерины Петровны — старухи властной, неуживчивой, приверженной католицизму, отличавшейся большими странностями. Жизнь опять поворачивалась к поэтессе совсем не светлой стороной, а той «существенностью», от которой трудно было найти прибежище в идеальном вымышленном мире. И она грустно признавалась в стихотворении «Моим двум приятельницам», возражая тем, кто видел в ней светскую женщину, львицу, вдохновенную Коринну:

Нет, не Коринна перед вами
С ее торжественным венцом...
А сердце, полное слезами,
Кому страданьем мир знаком!..

Теперь с каждым годом Евдокия Ростопчина все меньше пишет лирических стихотворений, хотя вообще пишет все больше. Но теперь это проза, драмы, написанные большей частью белыми стихами, небольшие комедии, наспех сочиняемые для бенефисов знакомых актеров. В 1850 году в «Москвитянине» печатается ее роман в стихах «Поэзия и проза жизни. Дневник девушки». В явно неудавшемся, очень затянутом, написанном в основном прозаичным белым стихом романе главная мысль та же, что и в ее лирике: живое чувство в лицемерном, расчетливом обществе — обречено. Ростопчина пытается передать в романе самые разнообразные оттенки внутреннего мира молодой девушки, ее переживания и будничные треволнения, атмосферу ее духовной жизни, но впадает в многословную описательность. О чем бы ни писала Ростопчина, она прежде всего пишет о себе, как почти всякий лирический поэт, хотя сама она протестовала, когда с ней отождествляли ее героинь. Однако и брат поэтессы, С. П. Сушков, замечает, что в стихотворном романе она «описала некоторые эпизоды из своей первой молодости во время пребывания ее в семействе Пашковых». Не случайно в его главы она включает

свои ранние стихотворения, начиная с «Талисмана», выдавая их за стихи героини романа — Зинаиды. Много надежд Ростопчина возлагала на свою драму «Нелюдимка». Ее героиня, разочаровавшись в свете, уезжает в деревню и там пытается помогать мужикам, собирается устроить школу рукоделия и богадельню. Но драма успеха не имела. Плетнев писал Жуковскому в феврале 1850 года: «Ростопчина расписалась. Недавно напечатана ее драма: «Нелюдимка». Тут много хороших мест, но драмы совсем нет». А в мартовском письме сообщает: «Ростопчина очень хлопочет, чтоб драма ее... была поставлена на театре. Еще она прислала мне комедию какого-то Островского, под заглавием «Свои люди — сочтемся»[1].

Евдокия Петровна присутствовала на вечере у М. П. Погодина, где Островский читал свою первую пьесу «Банкрот», позднее переименованную в «Свои люди — сочтемся», и тогда же писала: «Что за прелесть «Банкротство»! Это наш русский «Тартюф», и он не уступит своему старшему брату в достоинстве правды, силы и энергии. Ура! у нас рождается своя театральная Литература, и нынешний год был для нее благодатно плодовит»[2]. Ростопчина поддерживала молодого драматурга со всей горячностью порывистого характера, оценив его самобытный талант, и потому-то спешит послать его пьесу своему влиятельному в литературных кругах Петербурга знакомому. Поселившись через год после переезда в Москву на Садово-Кудринской в двухэтажном особняке, находившемся в глубине довольно большого сада, Ростопчина по субботам в своей гостиной принимала литераторов, и одним из ее посетителей стал А. Н. Островский. По свидетельству частого гостя графини Берга, «субботы» вначале были посещаемы «весьма небольшим кружком литераторов и артистов, но потом стало являться их больше и больше, как местных, так и приезжих. Завязь кружка составляли: Островский, Мей, Филиппов, Эдельсон, до некоторой степени скульптор Рамазанов, артисты сцены Щепкин и Самарин». К этому перечню можно добавить появлявшихся на «субботах» Григоровича, И. С. Тургенева, Майкова, Щербину, Павлова, Хомякова... Бывало, что у Ростопчиной сходилось довольно пестрое общество, об одном из таких собраний она заметила:

Какая смесь стихов и прозы!
Различных мнений и начал!

[1] Плетнев П. Сочинения и переписка. Спб., 1885 т. III, с. 626. 641.
[2] Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. II. Спб., 1897, с. 69.

В пятидесятые годы Ростопчина действительно чувствовала себя растерянной среди чуждых и непонятных ей «мнений и начал». Разойдясь и с западниками и со славянофилами, чуждая входившим в литературу демократам-разночинцам, поэтесса невольно оказывалась на консервативных позициях. В стихотворении «Моим критикам» (1856) она вполне искренне говорит о себе:

Я разошлася с новым поколеньем,
Прочь от него идет стезя моя,
Понятьями, душой и убежденьем
Принадлежу другому миру я!..
Иных богов я чту и призываю,
И говорю иным я языком...
Я им чужда, смешна, я это знаю...

В пятидесятые годы Е. П. Ростопчина пишет роман «Счастливая женщина» (1851—1852), повесть «Палаццо Форли» (1854), роман в письмах «У пристани» (1857). Ее романтическая проза является не ко времени и встречается смущенным молчанием друзей и недоброжелательными отзывами критики. Особенно неудачен был чрезмерно затянутый и во многом надуманный роман «У пристани». С уничтожающей оценкой его выступил в «Современнике» Н. А. Добролюбов. Видя в равнодушии к своему творчеству, в резкой критике происки «кружков и групп», Ростопчина не могла не вылить накопившееся раздражение на бумагу. В 1856 году она пишет комедию «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки». Изображая московское общество середины пятидесятых годов, собравшееся в доме изрядно постаревшего Фамусова, Ростопчина зло высмеивает карикатурно нарисованных славянофилов и западников и в то же время обличает общество, в котором многие, следуя моде, разглагольствуют на тот или иной лад, а ведут по большей части пустую барскую жизнь, наполненную мелкими своекорыстными интересами. Чацкий в пьесе Ростопчиной, так же как и она сама, далек от передовых общественных течений, он резонерствует, говорит о практической деятельности, о занятиях наукой и, обличая, вместе с автором, «прогрессистов», остается как бы сторонним наблюдателем с очень неопределенными взглядами. Не обошлась Ростопчина и без выпадов против некрасовского «Современника». Коме-

дию цензура не допустила ни на сцену, ни в печать, и опубликована она была лишь после смерти поэтессы, в 1865 году. Осталась неопубликованной, да и вряд ли предназначалась для печати автором и написанная Ростопчиной в последний год жизни и, быть может, не вполне законченная сатира «Дом сумасшедших в Москве в 1858 году». Используя форму известного «Дома сумасшедших» А. Ф. Воейкова, она создает галерею хлестких карикатурных портретов своих современников от А. С. Хомякова и А. И. Кошелева до М. Н. Каткова, задевает Герцена. Иные строфы сатиры звучат с незаурядной силой и выразительностью. В ней, ополчаясь против прогрессивных деятелей, Ростопчина в то же время с большой меткостью рисует таких «либералов», как М. Н. Катков или «полицмейстер-либерал» П. К. Щебальский.

Последний год жизни Е. П. Ростопчиной был отмечен не только сатирой, но и элегическими воспоминаниями. Неприятие настоящего делало прошлое более светлым, желанным. По просьбе посетившего ее в Москве Александра Дюма, с которым Ростопчина переписывалась, смертельно больная поэтесса пишет проникновенные воспоминания о М. Ю. Лермонтове. Посылая их Дюма, в своем письме она писала: «Когда вы получите его, я буду или мертва, или очень близка к смерти». И действительно, когда французский писатель читал ее письмо, Ростопчиной на свете уже не было. Она умерла в доме на Ново-Басманной 3 декабря 1858 года если и не забытая современниками, то все реже и реже ими вспоминаемая. Уже после смерти Ростопчиной вышли третий и четвертый тома ее собрания стихотворений.

Евдокия Ростопчина писала много и зачастую слишком легко, обладая счастливым даром импровизации. В четырех томах, подводивших итог всей ее поэтической деятельности, проникновенная лирика соседствует со стихами на случай, с вялыми, многословными поэмами. Ее собрание стихотворений — пестрый женский дневник, в котором любовное признание сменяется горьким разочарованием, рассуждение соседствует с романсом, воспоминание о музыкальном вечере — с письмом близкой подруге. Страницы этого дневника доносят до нас мимолетные отражения той жизни, которая давным-давно минула, стала историей, причудливым видением далекой и не всегда понятной старины. Но эта старина живет в нашем сознании, потому что с ней связан и яркий мир русской классики — «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Война и мир»... Сти-

хи Ростопчиной передают нам в форме романтически возвышенной, несколько условной, а иногда, на наш сегодняшний вкус, и немного манерной чувства и мысли русской образованной женщины первой половины прошлого века, которая живет жизнью живой, но полной условностей, даже предрассудков. Открытая душа поэтессы протестует против иных из них, а другие живут в ней самой... А. В. Дружинин в 1856 году, размышляя о творчестве Ростопчиной, писал: «...поэт с беспредельными, но неясными стремлениями, романтик двадцатых годов, она не могла не платить дани обычаям того общества, из которого вышла»[1].

Внутренняя противоречивость, живая неоднозначность лирического «я», исповедальность и психологизм в выражении чувства, яркое женское начало отличают лирику Ростопчиной, занимающую пусть скромное, но особенное место в поэзии тридцатых-сороковых годов. Пожалуй, главная тема многих стихотворений Ростопчиной, если ее обозначать самыми общими словами, это — изображенная романтическими красками жизнь женской души, для которой один из главных смыслов существования — любовь. Современный ей критик отмечал, что в ее стихах «выражается душа самой женщины во всех ее радужных оттенках». Но ее поэзия не ограничивается этим, в ней, особенно в ранний период, звучат мотивы свободомыслия и протеста, звучат как отголоски движения декабристов и звучат с искренностью, непосредственностью молодости. Е. П. Ростопчина принадлежала к младшему поколению поэтов пушкинской плеяды, но постоянные мотивы разочарования, романтическая рефлексия сближают ее творчество с ранней лирикой Лермонтова.

Нельзя забывать того, что Ростопчина была одной из первых русских поэтесс, что она учила «женщин говорить» в то время, когда образованное русское дворянство изъяснялось большей частью по-французски, когда женщина-литератор была в диковинку. Сама Ростопчина признавалась:

Поэт в кисейном платье и в венке
На бале — есть явление смешное
Для гордых, светских дам, для модных львиц...

Ростопчина очень любила музыку, музицировала сама, была знакома

---

[1] Дружинин А. В. Соч., т. VII. Спб., 1866, с. 159.

со многими выдающимися певцами, исполнителями, композиторами. В ее стихотворениях сильно мелодическое начало, часто в них звучит возвышенная красивость романса. А иные ее стихи и предназначались для музыки. И немало стихотворений Ростопчиной положено на музыку, на ее слова писали романсы Глинка, Даргомыжский, А. Рубинштейн, Чайковский...

Романтическая небрежность стиха сочетается в лирике Ростопчиной с внятной энергией выражения и подлинностью поэтического чувства, простодушие — с взволнованным размышлением. В одном из своих стихотворений она писала, сомневаясь как всякий подлинный поэт в возможности «высказать себя», выразить в слове чувство:

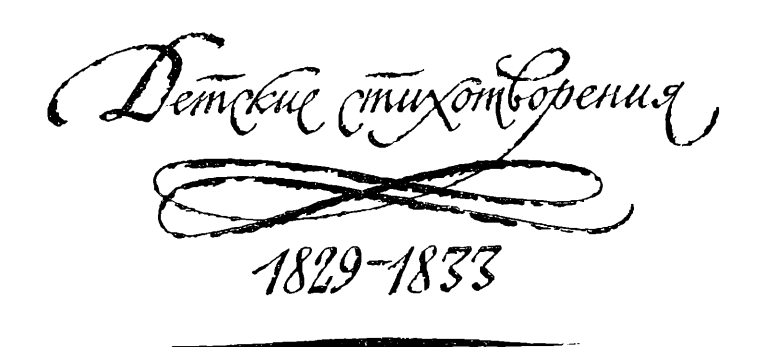
Начну, и мой лепет безумный,
Бессвязный, прервется тотчас;
И речи неловкой стыдясь,
Молчу я... а сердце так шумно
Забьется от тайной мечты,
Что жизни святой полноты
Не выразит лепет безумный...

Лучшие строки Евдокии Ростопчиной не могут не тронуть и сегодняшнего чуткого читателя. Ее стихотворения рисуют перед нами образ незаурядной женщины, современницы Пушкина и Лермонтова, с ее светлыми порывами и искренними заблуждениями, с ее внешне обычной, а в сущности, трагичной женской судьбой. Лирическую повесть об этой судьбе она и писала в меру своих сил всю жизнь.

Борис Романов

Стихотворения





МОЛОДОЙ МЕСЯЦ

Doux reflet d'un globe de flamme,
Charmant rayon, que me veux-tu?..
L a m a r t i n e. Meditation*

Какое смутное волненье
В душе рождается моей?
Младого месяца явленье
Все чувства пробудило в ней.

Былое, прошлое теснится
Мне в память с прелестью былой;
В заглохшем сердце шевелится
Воспоминание с тоской.

Я вижу ясно пред собою
Забытый образ старины,
И мне волшебницей мечтою
На миг дни детства вновь даны.

* Нежный отблеск пылающего шара, прелестный луч, что ты мне желаешь? — Л а м а р т и н. Раздумья *(фр.)*.

Дни детства, полные страданья,
Неконченных, неясных дум,
Когда в тревожном ожиданье
Мой юный оперялся ум.

Когда в тиши, в уединеньи,
Событьем были для меня
Небес вечерние явленья,
И ночи мрак, и прелесть дня.

Когда с боязнью безотчетной
Взирала я на небосклон,
И каждой тучкой мимолетной
Мой робкий дух был омрачен.

Я помню, как я восхищалась
Сребристым отблеском луны,
Когда нежданная являлась
Она средь темной синевы.

И все, чем сердце прежде жило,
Чем жизни утро льстило мне,
Что в оны дни душа любила,
Теперь я помню, как во сне.

Но ненадолго пробужденье,
Мечта не долго погостит...
Оно пройдет, мое волненье,
Воспоминанье улетит!..

Апрель 1829
Москва

ТАЛИСМАН

Есть талисман священный у меня.
Храню его: в нем сердца все именье,
В нем цель надежд, в нем узел бытия,
Грядущего залог, дней прошлых упоенье.
Он не браслет с таинственным замком,
Он не кольцо с заветными словами,
Он не письмо с признаньем и мольбами,
Не милым именем наполненный альбом,
И не перо из белого султана,
И не портрет под крышею двойной...
Но не назвать вам талисмана,
Не отгадать вам тайны роковой.
Мне талисман дороже упованья,
Я за него отдам и жизнь, и кровь:
    Мой талисман — воспоминанье
    И неизменная любовь!

<1830>

КОГДА Б ОН ЗНАЛ!

Подражание г-же Деборд-Вальмор

Для Елизаветы Петровны Пашковой

Когда б он знал, что пламенной душою
С его душой сливаюсь тайно я!
Когда б он знал, что горькою тоскою
Отравлена младая жизнь моя!
Когда б он знал, как страстно и как нежно
Он, мой кумир, рабой своей любим...
Когда б он знал, что в грусти безнадежной
Увяну я, не понятая им!..
Когда б он знал!

Когда б он знал, как дорого мне стоит,
Как тяжело мне с ним притворной быть!
Когда б он знал, как томно сердце ноет,
Когда велит мне гордость страсть таить!..
Когда б он знал, какое испытанье
Приносит мне спокойный взор его,
Когда взамен немого обожанья
Я тщетно жду улыбки от него.
Когда б он знал!

Когда б он знал... в душе его убитой
Любви бы вновь язык заговорил,
И юности восторг полузабытый
Его бы вновь согрел и оживил!
И я тогда, счастливица!.. любима...
Любима им была бы, может быть!
Надежда льстит тоске неутолимой;
Не любит он... а мог бы полюбить!
Когда б он знал!

Февраль 1830
Москва

РАВНОДУШНОЙ

Будет время, и ты скажешь:
«Дано сердце, чтоб любить!»

Старая песня

Скажи, красавица жестокая моя,
Ужель всю жизнь свою ты обрекла бесстрастью?..
Ужель, презрением полна к земному счастью,
К небесной радости парит душа твоя?
Иль клятву ты дала в борьбе тяжелой, вечной,
С очарованием, с надеждой, с чувством быть,
Не знать волшебных уз взаимности сердечной
И человеческой любовью не любить?..
Из благочестия ты сердце молодое
Мгновенно обмануть могла своей мечтой...
Страшись, чтоб некогда раскаянье живое
Вдруг не разрушило непрочный твой покой!
Мой друг, мне жаль тебя, ты молода, прекрасна,
С душой чувствительной, ты дышишь для любви,
Тебе ль во цвете лет, ошибкою ужасной
Безжалостно, навек убить права свои,
Проститься с счастием... погибнуть для земли?..
Нет!.. верь, бог милости, бог пламенных молений
Не принял робкого обета твоего!
Верь, жертва слез твоих, постов и треволнений
Противна благости вселюбящей его!..
Не он ли создал нас, чтоб кротостью, терпеньем
Посланье ангелов в быту земном свершать?..
Не он ли нам велел быть миру утешеньем,
Мужчине гордому путь трудный облегчать
И от житейских смут в нем сердце охранять?..
Не он ли одарил нас пламенной душою,
Нам сердце, чувство дал, явил в нас благодать,
И в ум нам дар вложил, как верой и мольбою
Отступников ума с святыней примирять?..

Так!.. мы посредницы меж божеством и светом,
Нам цель творить добро, нам велено любить,
И женщина, любовь отвергнувши обетом,
Не вправе более сестрою нашей быть!..
Ей темный монастырь!.. Ей жребий закелейный!..
Ей гроб, но с думами, с тревогою, с тоской!..
И горе, горе ей, коль образ чародейный
Под черным клобуком сдружен с ее мечтой,
Под черной мантией волнует ум младой!..

Но ты!.. нет, тот удел не будет твой, друг милый,
Сроднишься с нами ты, придешь убеждена,
От сердца руку дашь, и этот лед унылый,
Нас разделяющий, ты разобьешь сама!..
Теперь, признаться ли?.. я от тебя скрываю
Что́ мыслю, что люблю неопытной душой;
Боюсь упрек твой внять, судью в тебе встречаю,
Излишней пылкости стыжусь перед тобой,
О! как мне высказать тебе свой сон любимый?
Как чувства жаркие бесчувственной открыть?
Как перелить огонь души неукротимой
В ту грудь, где нет огня... нет сердца, может быть?..
Когда, собравшись в круг, мы бредим и мечтаем,
Когда мы разговор заводим о страстях,
Иль огненный роман втроем тайком читаем,
Иль ищем отклика себе в чужих стихах,
И перед нами ты, с усмешкою укора,
Вдруг явишься,— горда холодностью своей,—
Как страшны нам тогда презрительные взоры
И приговор немой потупленных очей!..
И вот, мы вдруг молчим, ты царствуешь над нами
Примером, мнением, влиянием своим,
И тишиной лица, и строгими речами!
Как православный гнев пристал чертам твоим!..
Но знай: в душе твоей таится искра чувства...

И вспыхнет, загорит, и поздно, может быть,
Заметишь ты пожар!.. Его не потушить
Ни силой разума, ни властию искусства!..
Страшись: придет твой час, и будешь ты любить!

Май 1830
Москва

МЕЧТА

Поверь, мой друг,— взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Запишут наши имена!

А. Пушкин

Когда настанет день паденья для тирана,
Свободы светлый день, день мести роковой,
Когда на родине, у ног царей попранной,
Промчится шум войны, как бури грозный вой;
Когда в сердцах славян плач братьев притесненных
Зажжет священный гнев и ненависть к врагу,
Когда они пойдут на выкуп угнетенных,
На правый божий суд, на кровную борьбу;
Когда защитники свободы соберутся,
Чтоб самовластия ярмо навек разбить,
Когда со всех сторон в России раздадутся
Обеты грозные «погибнуть иль сгубить!» —
Тогда в воинственный наряд *он* облачится,
Тогда каратель меч в руке его сверкнет,
Тогда ретивый конь с ним гордо в бой помчится,
Тогда трехцветный шарф на сердце он прижмет,—
И в пламенных глазах зардеет огнь небесный,
Огнь славолюбия, геройства, чувств святых...
Всю душу выскажет взор строгий, но прелестный,
Он будет страх врагам и ангел для своих,
Он смело поведет дружину удалую,
Он клятву даст, и жизнь и кровь не пощадит
За дело правое, за честь, за Русь святую...
И полетит вперед — «погибнуть иль сгубить!».

А я? Сокрытая во мгле уединенья,
Я буду слезы, страх и грусть от всех таить,

Томимая грозой душевного волненья,
Без способа, без прав опасность с ним делить.
В пылу отчаянья, в терзаньях беспокойства
Я буду за него всечасно трепетать
И в своенравии <безмолвного> расстройства
Грустить, надеяться, бояться, ожидать.
Я буду дни считать, рассчитывать мгновенья,
Я буду вести ждать, ждать утром, в час ночной
И, тысячи смертей перенося мученья,
Везде его искать с желаньем и тоской!..
Или во храм святой войдя с толпой холодной.
Среди веселых лиц печальна и мрачна,
Порывам горести предамся я свободно,
Никем не видима, мольбой ограждена...
Но там, но даже там вдруг образ незабвенный,
Нежданный явится меж алтарей и мной...
И я забуду храм, мольбу, обряд священный
И вновь займусь своей любимою мечтой!

Но если грозный рок, отмщая за гоненья,
Победу нашим даст, неравный бой сравнить,
С деспóтством сокрушить клевретов притесненья
И к обновлению Россию воскресить;
Когда, покрытые трофеями и славой,
Восстановители прав вольности святой
Войдут в родимый град спокойно, величаво,
При кликах радости общественной, живой,
И *он* меж витязей яви́тся перед строем,
Весь в пыли и крови, с <зазубренным> мечом,
Покрытый лаврами и признанный героем,
Но прост, без гордости в величии своем,
И имя вдруг его в народе пронесется,
И загремит ему хвала от всех сторон,
Хвала от согражда́н!.. Как сердце в нем забьется,
Как весел, как велик, как славен будет он!..

И я услышу все, всем буду наслаждаться!..
Невидима в толпе, деля восторг его,
Я буду медленно блаженством упиваться,
Им налюбуюся... и скроюсь от него!

Июль 1830

К СТРАДАЛЬЦАМ

Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Кондратий Рылеев

Соотчичи мои, заступники свободы,
О вы, изгнанники за правду и закон,
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен!
Пусть вас гнетет, казнит отмщенье самовластья,
Пусть смеют вас винить тирановы рабы,—
Но ваш тернистый путь, ваш крест — он стоит счастья,
Он выше всех даров изменчивой судьбы.
Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И рабства иго снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой.
Удел ваш — не позор, а слава, уваженье,
Благословения правдивых сограждáн,
Спокойной совести, Европы одобренье
И благодарный храм от будущих славян!
Ах, может быть, теперь, в горах Сибири диких
Увяли многие из вас, в плену, в цепях...
И воздух ссылочный, сей яд для душ великих,
Убил цвет бытия в изнывших их сердцах!..
Ни эпитафии, ни пышность мавзолеев
Их прах страдальческий, их память не почтут;
За гробом сторожит их зоркий глаз злодеев
И нам не даст убрать последний их приют...
Но да утешатся священные их тени!
Их памятник — в сердцах отечества сынов,
В неподкупны́х хвалах высоких песнопений,
В молитвах праведных, в почтеньях всех веков!
Мир им!.. А вы, друзья сподвижников несчастных,
Несите с мужеством ярмо судеб крутых!
Быть может, вам не век в плену, в горах ужасных

Терпеть ругательства гонителей своих...
Быть может... вам и нам настанет час блаженный
Паденья варварства, деспо́тства и царей,
И нам торжествовать придется пир священный
Свободы россиян и мщенья за друзей!
Тогда дойдут до вас восторженные клики
России, вспрянувшей от рабственного сна,
Тогда вас выручит, окончив бой великий,
Младых сообщников восставшая толпа;
Тогда в честь павших жертв, жертв чистых, благородных,
Мы тризну братскую достойно совершим,
И слезы сограждáн ликующих, свободных
Наградой славною да будут вечно им!

1831

ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР

И богатства не возьмем
За свою свободу!..

Цыганская песня

Дика гармония полдикого народа,
И мрачен и криклив звук громких голосов;
Но дышат в песнях их отвага и свобода,
Наследье кровное их дедов и отцов!

Когда веселием, восторгом вдохновенный,
Вдруг удалую песнь весь табор запоет,
И громкий плеск похвал, повсюду пробужденный,
Беспечные умы цыганов увлечет,
На смуглых лицах их вдруг радость заиграет,
В глазах полуденных веселье загорит,
И все в них пламенно и ясно выражает,
Что чувство сильное их души шевелит:
Нельзя, нельзя тогда внимать без восхищенья
Напеву чудному взволнованных страстей!
Нельзя не чувствовать музыки упоенья,
Не откликаться ей всей силою своей!
Поют... и им душа внушает эти звуки;
То страшно бешены, то жалобны они;
В них все, и резвый смех, и голос томной муки,
И ревность грозная, и ворожба любви,
И брани смелый вопль, и буйное раздолье,
И жизни без забот похмельное приволье!..
Их табор сборище Алмей и удальцов,
Концерт их оргия, вой ада с песнью рая,
Востока дивного поэзия живая,
Гимн фантастический Шекспировых духов!
Но вот гремящий хор внезапно умолкает...
И Таня томная одна теперь слышна:
Ее песнь грустная до сердца проникает,
И страстную тоску в нем шевелит она...

Бледна, задумчива, страдальчески-прекрасна,
Она измучена сердечною грозой.
На ней видна печаль любови нежной, страстной,
И все черты ее искажены тоской.
О! как она мила!.. Как чудным выраженьем
Волнует, трогает и нравится она!..
Душа внимает ей с тревожным наслажденьем,
Как бы предчувствием мучительным полна!
Но если ж песнь ее с восторгом южной страсти
Поет вам о любви, о незнакомом счастьи,
О, сердцу женскому напевы те беда!
Не избежит оно заразы их и власти,
Не смоет слёзами их жгучего следа!..

Дика гармония полдикого народа,
И мрачен и криклив звук громких голосов;
Но дышат в песнях их отвага и свобода,
Наследье кровное их дедов и отцов!

Август 1831
Петровское

ПРОСТОНАРОДНАЯ ПЕСНЯ

1

Тучи черные собираются,
И затмилося солнце красное;
Думы мрачные крушат девицу
И волнуют в ней сердце страстное.

Скучно девице одиночество,
Она с радостью распростилася,
Ей без милого опостылел свет,
И тоска в душе вкоренилася.

Тучи черные разгуляются,
Засияет вновь солнце красное;
Не осушатся слезы девицы,
Не воскреснет в ней сердце страстное!

2

Темно-русые кудри милого,
Не достанется вами мне играть!
Очи светлые, очи ясные,
Я привета в вас не должна искать!

Взоры нежные, взоры страстные,
Не при мне огнем вы пылаете!
Уста милые, сладкогласные,
Вы не мне *«люблю»* восклицаете!

Ловкий молодец, ненаглядный мой,
Не видать тебя горемычной мне!
Разлучили нас бури лютые,
Ты один теперь на чужой стране!..

3

Дайте крылья мне перелетные,
Дайте волю мне, волю сладкую!
Полечу в страну чужеземную!
К другу милому я украдкою!

Не страшит меня путь томительный,
Я помчусь к нему, где бы ни был он.
Чутьем сердца я доберусь к нему
И найду его, где б ни скрылся он!

В воду кану я, в пламя брошусь я!
Одолею все, чтоб узреть его,
Отдохну при нем от кручины злой,
Расцвету душой от любви его!..

Август 1831
Петровское

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

De la dépouille de nos bois
L'autômne avait jonché la terre.
Millevoye*

Ветер свищет, ветер воет,
Ночь темна и холодна;
Сердце тяжко, тяжко ноет,
И томит его тоска.

Грустно осени мертвящей
Предугадывать приход;
Грустен вид природы спящей
В пору вьюг и непогод!..

Вся природа обновится,
Воскресит ее весна,
Светлым Маем озарится
Вновь подлунная страна.

Но когда в борьбе с судьбою
Сердце рано отцветет,
Впредь вторичною весною
Уж оно не оживет!..

Сентябрь 1831
Петровское

*Одеяньем наших лесов осень устлала землю.— Мильвуа *(фр.)*.

ОТРИНУТОМУ ПОЭТУ

Нет! Ты не поняла поэта...
И не понять тебе его!
Н. Павлов

Она не поняла поэта!..
Но он зачем ее избрал?
Зачем, безумец, в вихре света
Подруги пó сердцу искал?

Зачем он так неосторожно
Был красотою соблазнен?
Зачем надеждою тревожной
Он упивался, ослеплен?

И как не знать ему заранее,
Что все кокетки холодны,
Что их могущество в обмане,
Что им поклонники нужны?..

И как с душою, полной чувства,
Ответа в суетных искать?
В них все наука, все искусство,
Любви прямой им не понять!

Он сравнивал ее с картиной:
Он прав! Бездушно весела,
Кумир всех мотыльков гостиной,
Она лишь слепок божества!..

В ней огнь возвышенный, небесный
Красу земную не живит...
И вряд ли мрамор сей прелестный
Пигмалион одушевит!..

Она кружится и пленяет,
Довольна роком и собой;

Она чужой тоской играет,
В ней мысли пóлны суетой.

В ней спит душа и не проснется,
Покуда молода она,
Покуда жизнь ее несется,
Резва, блестяща и шумна!..

Когда же юность с красотою
Начнут несчастной изменять,
Когда поклонники толпою
Уйдут других оков искать,—

Тогда, покинув сцену света,
И одинока и грустна,
Воспомнит верного поэта
С слезой раскаянья она!..

Февраль 1832
Москва



РУССКАЯ ПЕСНЯ

Что́ ты, молодость моя,
Молодость напрасная,
Гаснешь, меркнешь, ясная,
Не порадуешь меня?..
Что́ ты, молодость моя,
Молодость напрасная?..

Что́ мне в девичей красе,
Расхваленной по́ свету,
Омраченной до́ цвету?..
Что́ мне в шелковой косе?..
Прока нет в моей красе,
Расхваленной по́ свету!..

Что́ мне алые уста,
Брови соболиные,
Очи соколиные,
Белой груди полнота?..
Замирайте вы, уста,
Очи соколиные!..

Нет в светлице огонька,
Нет в душе зазнобушки,
Дорогой заботушки!..
Нет у девицы дружка!..
Пропадай же, жизнь-тоска,
Без родной зазнобушки!..

Март 1834
Москва

ИЗМЕНННИЦЕ

Стансы для музыки Н. И. Бахметева

Не мне, не мне уж говорят
Восторгом страсти полны очи,
Не для меня, как звезды ночи,
Они сверкают и горят!..

Не для меня своих речей
Ты тратишь мед, моя Цирцея,
И не меня поишь, краснея,
Отравой нежности своей!..

Но помнишь ли, пора была,—
И на любовное свиданье,
Меня, всей силой заклинанья,
Ты заманила, ты звала?..

Но помнишь ли,— пора была,—
В моих объятьях ежедневно
Ты предавалась мне безгневно,
Как страсть доверчиво смела?..

И по сей день в лесу густом,
Куда с зарей ты прибегала,
Трава измятая не встала,
Улегшись на пути твоем...

И до сих пор еще звучит
Условный знак в долине спящей,
Твой поцелуй, на мне горящий,
Еще уста мне пепелит...

А ты,— тебя похитил свет...
А ты, ты чуждою мне стала!..

Любви твоей как не бывало,
Ее уж и в помине нет!..

А ты!.. твои мечты живут
Забвеньем, лестью, суетою...
И если встретимся с тобою,—
То спросишь: как меня зовут?

Март 1834
Москва

ОСЕННИЕ ЛИСТЫ

Один увядший лист несчастному милее,
Чем все блестящие весенние цветы!

Андрей Тургенев

Сухие, желтые листы,
Предвестники поры печальной,
Вы любы мне!.. Мои мечты
Привыкли к думе погребальной,
Сдружились с мыслью неземной;
И есть родство, родство святое
Меж всем тоскующим и мной —
Неизгладимо роковое
Клеймо дней прежних над душой!..

Люблю я колокол унылый
В вечерний час, вдали сует;
Мое любимое светило
Не солнце пышное, о нет!..
Нет! То луна под покрывалом
Прозрачно-сизых облаков!...
Я в храме древнем, обветшалом
Молюсь теплей; среди лесов
Ищу не тополей красивых,
Не лип роскошных, горделивых,—
Но громом сломанных дубов!..
Златого утра блеск роскошный
Встречаю хладным оком я,
Но бури шум, но ветр полночный —
Вот, вот поэзия моя!..
И я отдам весну младую
Со всею жатвой гордых роз
За осень бледную, нагую
Иль за порывы летних гроз!..

Но вы, разметанные роком
Любимцы блеклые мои,

На лоно матери-земли
Вы, принесенные оброком
С родимых ветвей и вершин,—
Как много дум и откровений,
Как много горестных явлений
И занимательных судьбин
Я вижу в низкой вашей доле!..
Не много будущности в вас,
Но всё ж, на жизненной юдоли,
Переживете вы не раз
И рано скошенную младость,
И сон любви, и красоту,
И сердца пламенного радость,
И вдохновенную мечту!..

Быть может, вихрь своим дыханьем
Вас на могилу нанесет?
Быть может, вас волна возьмет
И вас последним призываньем
Младой утопленник почтет?..
Быть может, вам и мне судьбою
Уделы равные даны
И вы, как я, обречены
Увянуть здесь перед зимою?..
И я, как вы, осуждена
Не покидать степи́ печальной,
В ней изнывать, тоски полна,
Вотще душой стремясь в путь дальний?..
Не вместе ль рок велел страдать,
И век отжить, и умирать
В своем углу непросвещенном,
Под небом, вечно омраченным,
И стран желанных не видать?..
Быть может, вас со мной зароют
Снега родные в саван свой

И вьюги русские завоют
Над нами песнью гробовой!..

И горе, если уцелеет
Один из вас!.. Весна придет,
Весна поляны отогреет
И их цветами уберет,—
А он, иссохший, одинокий,
Он не истлеет на лугах,
Но путника ногой жестокой
Растоптан будет в пыль и прах!..
Так память первых впечатлений,
Былых надежд, былых волнений
Душа и гонит и клянет,
Когда рой скучных сожалений
Любовь другая изженет!..

22 августа 1834
Село Анна

ПРЕЖНЕЙ НАПЕРСНИЦЕ

Дитя,— вопросами своими,
Молю, мне сердца не пытай!..
Боюсь, что, соблазнившись ими,
Проговорюсь я невзначай!..

Боюсь, что для тебя нарушу
Я тайну грустную свою,—
Как в старину,— больную душу
Перед тобой в слезах пролью...

Нет! нет! я гордого молчанья
Навек дала благой обет...
Не лучше ль утаить страданья,
Которым исцеленья нет?..

Не лучше ль смело любопытных
И посторонних обмануть,
Тоску и боль мучений скрытных
Запрятать в ноющую грудь?..

Не лучше ли предстать на бале
С улыбкой, в полном торжестве,
Чем жертвою прослыть печали
И на зубок попасть молве?..

Увидя раннее крушенье
Своей надежды и мечты,
Поверь,— умно искать забвенья
В чаду и шуме суеты!..

Для женщины с душой и сердцем
Он не опасен, свет большой!..
Она ль откроет иноверцам
Святилище души младой?..

Она ль найдет в толпе холодной
Призыву страстному ответ?
Или меж молодежью модной
Для тайных дум своих предмет?..

Меж старцев, в обществе пристойном,
Удастся ей хоть помечтать
И снам о счастьи беспокойном
Пытливый ум свой открывать...

Венок душистый, цвет убора,
О разных вздорах болтовня,
Да скучных чичизбеев взоры —
Знак их нечистого огня,—

Все это ей не в искушенье!..
Но вот что гибель для нея,—
В дому пустом уединенье
И скука праздного житья!..

В ней чувство будит лишь молитва
Перед киотом золотым,
Да нескончаемая битва
С мечтой и сердцем молодым...

Да откровенное шептанье
С подругой детства, милой ей,
О жизни робкое гаданье
И память девичьих затей!..

Так дай же, дай мне позабыться,—
В замкнутом сердце не читай!
Хочу кружиться, веселиться...
О горе мне не вспоминай!..

Под хитрым словом у мужчины
Мысль часто в речи не видна;
Чтоб скрыть немой тоски причины,
Улыбка женщине дана!..

31 декабря 1834
Москва

НАДЕВАЯ АЛБАНСКИЙ КОСТЮМ

Наряд чужой, наряд восточный,
Хоть ты бы счастье мне принес,
Меня от стужи полуночной
Под солнце юга перенес!..

Под красной фескою албанки
Когда б забыть могла я вдруг
Бал, светский шум, плен горожанки,
Молву и тесный жизни круг!..

Когда б хоть нá день птичкой вольной,
Свободной дочерью лесов,
Могла бы я дышать раздольно
У Ионийских берегов!..

Разбивши цепь приличий скучных,
Поправ у ног устав людей,
Идти часов благополучных
Искать меж гордых дикарей!..

Как знать?.. Далеко за горами
Нашла б я в хижине простой
Друзей с горячими сердцами,
Привет радушный и родной!

Нашла бы счастия прямого
Удел, не знаемый в дворцах,
И паликара молодого
Со страстью пламенной в очах!..

6 января 1835
Москва

НА ПРОЩАНЬЕ...

As we two parted...
Byron*

Вот видишь, мой друг,— ненапрасно
Предчувствиям верила я:
Недаром так грустно, так страстно
Душа тосковала моя!..

Пришел он, день скучной разлуки...
Обоих врасплох нас застал,
Друг другу холодные руки
Пожать нам, прощаясь, не дал...

Немые души сожаленья
Глубоко в груди затая,
О скором твоем удаленьи
Известье прослушала я...

И не было даже слезинки
В моих опущённых глазах...
Я речь завела без запинки
О балах, о всех пустяках...

А люди смотрели лукаво,
Качали, смеясь, головой;
Завистливой, тайной отравы
Был полон их умысел злой.

Пускай они рядят и судят.
Хотят нас с тобой разгадать!
Не бойся!.. Меня не принудят
Им сердце мое показать!..

Я знаю, они уж решили
В премудром сужденьи своем,

* Когда мы расставались...— Байрон *(англ.)*.

Что слишком мы пылко любили
И часто видались вдвоем...

Я знаю, они не поверят
Сближенью двух чистых сердец!..
Ведь сами ж они лицемерят,—
Им в страсти один лишь конец!..

И вот почему их насмешка
Позорит чужую любовь!..
Зачем пред их грубой усмешкой
В лицо мне бросается кровь!..

А мы-то,— мы помним, мы знаем,
Как чист был союз наш святой!
А мы о былом вспоминаем
Без страха, с спокойной душой.

Меж нами так много созвучий!
Сочувствий нас цепь обвила,
И та же мечта нас в мир лучший,
В мир грез и чудес унесла.

В поэзии, в музыке оба
Мы ищем отрады живой;
Душой близнецы мы... Ах, что бы
Нам встретиться раньше с тобой?..

Но нет, никогда здесь на свете
Попарно сердцам не сойтись!..
Безумцы с тобой мы... мы дети...
Что дружбой своей увлеклись!..

Прощай!.. Роковая разлука
Настала... О сердце мое!..
Поплатимся долгою мукой
За краткое счастье свое!..

Январь 1835
Москва

ЧЕРНАЯ НЕМОЧЬ

Mich friert es hier!..
Mignon*

Снег, вьюга и мороз... ночь страшно холодна...
Дрожу!.. Мой край родной,— зимы и бурь страна,
Мой бедный край родной, зачем власть мирозданья
В день гнева своего тебя произвела
И, свету даруя свои благодеянья,
Лишь одного тебя забыла, обошла?..
Зачем так холодно на севере туманном?..
Зачем светило дня не хочет нас согреть,
Спеша с любовию к странам своим избранным,—
Странам, где сладко жить, где грустно умереть?..
О солнце пышное,— скажи, каким заветом
Возбранено тебе нас благотворным светом
Лучей спасительных роскошно наделить
И нас из хладных рук Борея искупить?.
Зачем позволено крещенскому морозу
И степи и умы сковать трескучим льдом,—
И с русским именем и с русским бытием
Срастись на век веков, другим краям в угрозу?..
Зачем он к нам примерз, как роковой упрек?..
Чем виноваты мы, что нам враждебный рок
Велел полгода жить, и замирать полгода,
И света божьего почти что не видать,
И мыслью и душой болезненно дремать,
Дрожа от холода, томясь от непогоды?..

А я, рожденная для солнца и весны,
Перенесенная из южной стороны
Ошибкою судьбы на стужу полуночи,
Монгольских ханов дочь на берегах Москвы,
Я вяну, я скорблю,— и всё мне снитесь вы —

* Я замерзаю здесь!..— Миньон *(нем.)*.

Полудня жаркого пленительные ночи...
И всё в уме моем и всё в моих мечтах
Тот теплый небосклон, тот небосклон чудесный,
Лазурью блещущий в счастливейших странах,
Который так давно красою неизвестной
Манит меня туда... далеко... на восток,—
Или в Италию!.. Я вижу в сновиденьи
Ночь, море, дивный край... И берег не далек,
И веет мне душистый ветерок
От померанцевых лесов... и в упоеньи
На небо звездное гляжу,— и предо мной
Оно сливается с серебряной волной,
Бегущей вдоль сплошной резных дворцов фасады...
Под окнами палат, у мраморных колонн...
Вот дверь стрельчатая... решетчатый балкон,—
Оттуда песнь звучит... о боже! серенада!..
Нет! только бред души,— больного сердца сон!..
Я дома — и твержу с тоскою и моленьем:
«Ах! дайте, дайте мне желанье утолить,
Восторга жизнию неведомой пожить!..
Ах! дайте подышать свободным вдохновеньем,
И душу зрелищем чудесным упоить!..»
Здесь взор мой ослеплен снегов бесцветной тканью;
Здесь страждущую грудь сжимает бури вой;
Мороз схватил меня и давит льдистой дланью,
И были страшные в час полночи глухой
Мне свищет буйный вихрь, старинный недруг мой...
Здесь слабый мой талант замрет, зимой сраженный,
Не разгуляться здесь окованным мечтам!
Здесь в суетном быту уснув душой стесненной,
Бессмертью имени и песней не предам!
Обетованная!.. Отчизна Алигьери...
Отчизна Тассова!.. о край желанный мой!
К тебе мои мечты,— как думы страстной Пери
К эдему тайному,— летят, бегут волной —
Волной кипучею неукротимой лавы!..

Когда ж, перед тобой колена преклоня,
Устами жадными тебя, праматерь славы,
В безумной радости облобызаю я?..
А ты,— наш редкий гость, наш гость лишь по ошибке,—
А ты, родных небес мгновенная улыбка,—
Весна желанная, пора! приди скорей!
Недуг томит меня... отвей его, отвей
От головы больной!.. И робко оживая
С былинкой полевой под милым солнцем Мая,
Благословлю тебя в час благости твоей!
И средь родных степей, в надежде исцеленья,
Еще дней несколько спокойно проведу,—
А там, как ласточка умчусь я и пойду
Искать весны другой и думам исполненья!..

Март 1835
Село Анна

КТО ПОЭТ

Sein Auge weilt auf dieser Erde kaum,
Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur,
Und sein Gefühl das Unbelebte.

Goethe. Torquato Tasso*

Не тот Поэт, кто в очерке обычном,
Кто в обществе людей спокойно взрос;
Кто вскормлен был рассеяньем столичным,
Кто крест тоски на раменах не нес!..

Не тот Поэт, кто роскошью и счастьем
Взлелеян был от колыбельных дней,
Кто не знавал бушующих страстей
С их промежуточным бесстрастьем!..
Кто с бального паркета не сходил,
Кого любовь в гостиных отыскала,
Кто суетой жену сует пленил,
Кто в области святого идеала
Страданьями гражданства не купил!..

Не тот Поэт, кто слова правды резкой,
Кто мощный стих отвагой молодецкой,
Бесстрашием своим не заклеймил!..
Кто истины не высказал пред светом,
Чей слабый дух пороку был клевретом,
Кто потакал греху и сильным льстил!..
Не тот Поэт, кто с странничьей клюкою
Изгнанья путь терновый не прошел;
Кто, прислонясь о камень головою,
Ночь бурную в чужбине не провел!..
Не тот Поэт, кто с смертью не братался,
Кто звук меча, свист пули не слыхал!..

---

* Его взор не задерживается на этой земле, его слух внемлет звукам природы, его чувства одушевляют неживое.— Гете. Торквато Тассо (*нем.*).

3 Заказ 1086

Кто синевой небес не восхищался,
Кто глубь морей мечтой не пожирал!..

Поэт прямой, кто с ранних лет обжился
С грозой небес и бурею души!..
Кто чистому кумиру поклонился,
Но одинок, в убийственной глуши,
Младые дни свои сгубил в тиши...
Кто выгорел возвышенной любовью,
Кто выплакал свой вдохновенный стих;
Кто призывал к ночному изголовью
Рой светлых снов и чувств неподкупных;
Кто был не скуп младой и жаркой кровью
За край родной и за друзей своих!..
Поэт прямой, кто с детской простотою
Взмужалость дум и мыслей сочетал,
Кто понял свет догадливой мечтою,
Кто сердце прочь от света оторвал
И от него, как от змеи бежал!..
Кто глух и слеп для дольных искушений,
Ни почестьми, ни златом не прельщен;
Кто в пламени житейских треволнений,
Как штык стальной, на веки закален!..

Поэт прямой, кто вышнему избранью
Не изменил,— в борьбе с судьбой не пал;
Кто обречен душевному изгнанью,
Кто каждый день терял по упованью,
Кто каждый шаг утратой измерял!..

Пусть он поет! Пусть вещими струнами
Расскажет быль души своей живой!..
Пусть для толпы он облечет словами
Нетленных дум, видений мир святой!..
Пусть, как пророк, торжественно-грозящий
Он вопиет на наш преступный свет,

Пусть восстает он песнею гремящей
На чад земли и на рабов сует!..

Ему, ему наградой многоценной
Пусть загорит восторг в сердцах младых!..
Пусть заблестит слеза в глазах живых!..
И пусть в ответ он встретит, вдохновенный,
Сочувственной души созвучный стих!..
Его поймут, его оценят в свете
Немногие,— но вправду, всей душой;
И он найдет в их взоре и привете
Святого братства жар святой!..

Апрель 1835
Село Анна

ПОСЛЕДНИЙ ЦВЕТОК

«J'avais pourtant quelque chose là» —
dit-il en se frappant le front...
Mort d'André Chénier*

Не дам тебе увянуть одиноким,
Последний цвет облистанных полей!
Не пропадет в безмерности степей
Твой аромат; тебя крылом жестоким
Не унесет холодный вихрь ночей!

Я напою с заботливым стараньем
Тебя, мой гость, студеною водой;
И нагляжусь, нарадуюсь с тобой,
Ты отцветешь — и с нежным состраданьем
Вложу тебя в молитвенник святой.

Чрез много лет, в час тихого мечтанья,
Я книги той переберу листы;
Засохший мне тогда предстанешь ты...
Но оживешь в моем воспоминаньи,
Как прежде, полн душистой красоты.

А я цветок, в безвестности пустыни
Увяну я... и мысли тщетный дар,
И смелый дух, и вдохновенья жар —
Кто их поймет?.. В поэте луч святыни
Кто разглядит сквозь дум неясных пар?..

Поэзия,— она благоуханье
И фимиам восторженной души...
Но должно ей гореть и цвесть в тиши,
Но не дано на языке изгнанья
Ей высказать все таинства свои!..

---

* «А все-таки у меня здесь кое-что было!» — сказал он, стукнув себя по лбу...— «Смерть Андре Шенье» *(фр.)*.

И много дум, и много чувств прекрасных
Не имут слов, глагола не найдут,
И на душу обратно западут...
И больно мне, что в проблесках напрасных
Порывы их навек со мной умрут!

Мне суждено, под схимою молчанья,
Святой мечты все лучшее стаить,
Знать свет в душе... и мрак в очах носить!
Цветок полей, забытый без вниманья,
Себя с тобой могу ли не сравнить?..

Октябрь 1835
Село Анна

СОНЕТ

Là haut est un nid pour nos ailes,
Une terre, un lieu de repos.
Lamartine*

Когда непогода в лесу забушует
И ветер ломает вершины дубов,
Зачем голубица так жалко воркует,
Зачем притаилась под лиственный кров?..

Борьба против бури ее утомила,
И белые перья измяты грозой;
Головушку томно крылом приютила
Она,— и вкушает желанный покой.

Когда в шуме света, в его треволненьи,
Гонясь за весельем, прося наслаждений,
Умается сердце, душа упадет:

Тогда в думе чистой приюта ищу я,
Тогда я мечтаю,— и, душу врачуя,
Поэзия крылья и мощь ей дает!..

Октябрь 1835
Село Анна

---

* Туда стремишься, где единственное гнездо, единственная земля, дающие отдых для наших крыльев.— Ламартин *(фр.)*.

СОНЕТ

The languor of a soul too richly blest...
Thomas Moore*

Бывают дни,— я чую: вдохновенье
Вокруг меня витает и горит,
То песнею сердечной прозвучит,
То проскользнет, как райское виденье.

В те дни,— гляжу,— и солнце ярче блещет,
Прислушаюсь,— и в воздухе журчит;
Мой шаг смелей, и выше взор парит;
На все, на всех приязнью сердце мещет.

В те дни мечты и горды и прекрасны;
Что мысль — то стих; в душе светло и ясно,
И жизнь моя поэзией тепла.

И в немощи обресть им выраженья,
Я пламенем одела б вдохновенья,
В гармонию мечты бы облекла!

Ноябрь 1835
Село Анна

---

* Усталость души, одаренной слишком щедро...— Томас Мур (*англ.*).

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

My heart took the hue of the hour.
Thomas Moore*

Когда, порой зимы, так рано вечереет,
И солнце без лучей на западе тускнеет,
Зачем, зачем так грустно мне?
Когда природы день так молод умирает,
И день подложный наш его переживает,
Зачем печаль встает в душе?

Смотрю, как стелются туманы черной мглою,
Внимаю птиц ночных пронзительному вою,—
И, мысли грезой заменя,
Виденья мрачные, тоскующие думы
Тревожат мой покой беседою угрюмой,
Унылым веют на меня.

Зачем?.. Какая связь меж сердцем беспокойным,
Кипящим жизнию, и этим дивно стройным,
Но хладным, мертвым естеством?..
Зачем мечты мои цвет неба отражают?
Зачем сочувствия мир видимый сдружают
С неосязаемым умом?..

Иль перст зиждительный всему дает значенье?..
Иль все окрестное есть притча и сравненье,
Прообраз нашего житья?
Иль это таинство созвучий сокровенных
В мир посвещения, в час сумерк вдохновенных
Чутьем души постигла я?..

И, может быть, затем так сердце приуныло,
Что есть и у него закатное светило
И безотрадная зима...

---

* Мое сердце приняло оттенок часа.— Томас Мур *(англ.)*.

Что полдень радости и утро упованья
Не долго нам блестят, что всякое сиянье
Неверно, как мечта сама?

Не раз младую жизнь страданья облекали
Могильным саваном, нередко ночь печали
Сменяет счастья красный день...
И жертвы тайные скорбей неизлечимых
Живут, живут свой век, но в их сердцах томимых
Всё холод, пустота и тень...

Когда, порой зимы, так рано вечереет,
И солнце без лучей на западе тускнеет,
Мне жаль, мне жаль младого дня...
Когда с отцветшею душою я встречаюсь,
Я за нее грущу, участьем с ней сливаюсь,—
Мне страшно, страшно за себя!..

Январь 1836
Село Анна

МЕСТЬ

Female voice sings:

By thy cold breast, and serpent smile,
By thy unfathom'd gulfs of guile,
By that most seeming sincere eye.
By thy shut soul's hypocrisy.
I call upon thee!.. and compel
Thyself to be thy proper hell!..

Manfred*

Есть злая страсть... есть чувство проклятое...
Все земнородное им страждет и болит;
Им сердце у людей трепещет ретивое,
Им бессловесных кровь губительно кипит.
Недуг,— ему во исцеленье
Чужая скорбь и токи слез чужих;
Глад ненасытимый, в терзаньи жертв своих,
В предсмертной муке их он ищет утоленья...
От падших ангелов та страсть наследство есть...
Та страсть,— ей имя *Месть!..*

* * *

Месть чует змей, как ненароком
Наступит путник на него,—
И смерть из жала своего
Вонзит беспечному упреком
В пыли ползущий враг его.

---

* Женский голос поет:

Твоей холодной грудью и змеиной улыбкой,
Твоими непостижимыми безднами вероломства,
Взглядом, который кажется искреннее всех,
Лицемерием твоей закрытой души...
Я проклинаю тебя!.. и принуждаю
Быть тебя своим собственным адом!..

«Манфред» *(англ.)*

В груди мохнатой львицы смелой
Бушует месть,— и перед ней
Дрожит пришлец оторопелый,
Тропой забредший опустелой
К убежищу ея детей.

У львицы когти, когти злые,
У львицы зуб, как меч стальной,—
И вот остыли под травой
Густой крови следы живые...
Пришлец погиб в глуши лесной.

Когда полуденною местью
Дитя Италии горит,
Он весь вражда... он дорожит
Своей враждой... душой и честью
Он с нею связан, с нею слит.

Кинжал в руке его сверкает,
Кинжалом бредит он во сне...
Он в вражью грудь удар во тьме
Один,— но меткий,— направляет,—
Живущим меньше на земле!..

Сыну набегов и хищений,
Черкесу, месть уж врождена;
Ему коранских повелений,
Ему эдемских упоений
Милей, заманчивей она.

Коня, красавицу и злато
На шашку променяет он:
Нещадный гнев ему вожатый,—
Ему сопутник звук булата,—
Он делу крови обречен!..

В ущельях гор, в степи безбрежной,
Скитаясь тенью день и ночь,
Иссохнет в злобе он мятежной,
Пока врагу булат надежный
С плеч головы не сбросит прочь!..

* * *

Всё мстит!.. Но женщине безгласной, безоружной,
Чем ей воздать обидам клеветы?..
Что делать женщине, когда, кумир ненужный,—
Развенчанный кумир забывчивой мечты,—
Она с подножия мгновенных поклонений
Изменой свержена? . Когда, без сожалений,
Слепой досадою ничтожной суеты
Она вдруг брошена на суд хмельных суждений,
На смех язвительный бездушной остроты?..
Что может женщина, когда из уст порока
Хула нечистая ей издали шипит?..
Неправду дерзкую она ли обличит?..
Она ль унизится до пошлого упрека?..
Нет! совесть за нее! Она везде, всегда
Верна самой себе, спокойна и горда!..
Пусть на злоречие в ней сердце негодует,
Пусть душу ей измена омрачит:
Дух милости ей сердце уврачует,
Дух мудрости ей душу освежит!..
Она презреньем наказует,
Она забвением карает и казнит.

Август 1836
Село Анна

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Вставать, чтоб целый день провесть наедине
С напрасными и грустными мечтами,
В безжизненной степи, в безмолвной тишине
Считать года потерянными днями,
Не видеть пред собой ни цели, ни пути,
Отвыкнув ждать, забыть надежды сладость
И молодость губить в деревне, взаперти,—
Вот жребий мой, вот жизнь моя и радость!

Когда ровесницам моим в удел даны
Все общества и света развлеченья,
И царствуют они, всегда окружены
Толпой друзей, к ним полных снисхожденья;
Когда их женский слух ласкает шум похвал,
Их занят ум, их сердце бьется шибко,—
Меня враждебный рок здесь к степи приковал,
И жизнь моя лишь горькая ошибка!..

Напрасно я в себе стараюсь заглушить
Живой души желанья и стремленья...
Напрасно зрелых лет хочу к себе привить
Холодные, сухие размышленья...
Напрасно, чтоб купить себе навек покой,
Состариться сейчас бы я готова...
Вперед, вперед и вдаль я рвусь моей мечтой,—
И жить с людьми стремится сердце снова!..

Октябрь 1836
Село Анна

ЭЛЬБРУС И Я

There can be no farewell to scene like thine!
Childe-Harold. Byron*

Мне говорили: «Чуден снежный!»
Мне говорили: «Он могуч,
Двуглав и горд, и с небом смежный,
Он равен лёту божьих туч!»

Мне говорили: «Умиленье,
Восторг на душу он нашлет,
И с пылкой думы вдохновенье
Он словно пошлину возьмет!..»

Мне говорили: «Ежедневно,
Ежеминутно стих живой,
Как страстный зов, как гимн хвалебный,
В груди раздастся молодой!..»

Но я,— я слушала, сердилась,
Трясла упрямо головой,
Молчала, мненьем не делилась
Своим с бессмысленной толпой...

Но я,— *напутным впечатленьям*
Презрительно смеялась я;
И заказным их вдохновеньям
Чужда была душа моя!..

Но жалким, низким я считала,
Пройдя назначенную грань,
Вдруг, как наемный запевала,
Петь и мечтать природе в дань.

* Нельзя проститься навеки с таким краем! — Байрон. Чайльд-Гарольд *(англ.)*.

И зареклась я пред собою,
И клятву я дала себе
Кавказа дикой красотою
Дышать без слов, наедине.

Эльбрус предстал... я любовалась,
Молчанья клятву сохраня;
Благоговела, восхищалась,—
Но песней не слагала я!

Как пред красавицей надменной
Поклонник страсть свою таит,
Так пред тобой, Эльбрус священный,
Весь мой восторг остался скрыт!..

Эльбрус, Эльбрус мой ненаглядный,
Тебя привет мой не почтил,—
Зато как пламенно, как жадно
Мой взор искал тебя, ловил!..

Зато твоим воспоминаньем
Как я богата, как горжусь!..
Зато вдали моим мечтаньям
Все снишься ты, гигант Эльбрус!..

Октябрь 1836
Село Анна

РАЗГОВОР ВО ВРЕМЯ МАЗУРКИ

Il disait qu'il m'aimait, et qu'il me trouvait belle,
Et qu'à moi pour toujours son coeur s'était donné.
Rességuier*

Смеетесь вы?.. Чему?.. Тому ль, что в двадцать лет
Разумно я смотрю без грез на жизнь и свет,
Что свято верую я в долг и в добродетель?..
Что совести боюсь, что мне она свидетель
Всех чувств и помыслов, всех тайн моей души?
Что сохранить себя в покое и тиши
Я искренно хочу, гнушаяся порока,
Чтоб век мой женщиной остаться без упрека?..
Тому ль смеетесь вы, что сердцу волю дать,
Что участью моей бессмысленно играть
Я не намерена, страшась волнений страсти;
Что перестала я давно гадать о счастьи,
Мне не назначенном,— и, голову склоня,
Сказала я себе: «Нет счастья для меня!..»
Так это вам смешно?!. Бог с вами!.. Смейтесь, смейтесь!..
Но только, я прошу, напрасно не надейтесь
Лукавой речию мой разум омрачить
И сердце женское увлечь и победить
Хитросплетенными софизмами своими!..
Я знаю — мастер вы искусно сыпать ими!..
Оно в привычку вам, и уж не в первый раз...
И хоть вы молоды, уж не одна из нас
Вам слепо вверилась, забывши честь и клятвы...
Но я не такова!.. Но с ними вместе в ряд вы
Не ставьте и меня!.. Я не шучу собой,
Я сердцем дорожу; восторженной душой
Я слишком высоко ценю любовь прямую,
Любовь безмолвную, безгрешную, святую,

---

* Он говорил, что любит меня, что находит меня прекрасной и что мне навсегда отдано его сердце.— Рессегье *(фр.)*.

Какой нам не найти здесь, в обществе своем!..
Иной я не хочу!.. Друг друга не поймем
Мы с вами никогда!.. Так лучше нам расстаться...
Лишь редко, издали, без лишних слов встречаться!..
Хоть я и говорю: «*никто* и *никогда!*» —
Я так неопытна, пылка и молода,
Что, право, за себя едва ли поручусь я!..
Мне страшно слышать вас... смотреть на вас боюсь я!..
Подите!.. Много здесь найдете вы других,
Блистательней меня, милей, смелей, таких,
Каких вам надобно для шутки, для игрушки!..
Кокеток много здесь... Есть также и вертушки,
И львицы модные... подите их пленять
И легкой клятвою их легкость искушать!..
А я... Безрадостной судьбе моей послушна,
Я буду век одна... век грустно-равнодушна...

11 ноября 1837
Петербург

ССОРА

...и сей свиданья час
печален, молчалив и утомляет нас!
Озеров. Дмитрий Донской

Все кончено навеки между нами...
И врозь сердца, и врозь шаги...
Хоть оба любим мы, но, встретившись друзьями,
Мы разошлися как враги!

Он наступил, тот вечер долгожданный,
Пробил свиданья краткий час,
Столь страшный мне и вместе столь желанный,
Который свел и сблизил нас.

Мы встретились средь залы освещенной,
Где свет в свои сто глаз глядел;
Жизнь замерла в груди моей стесненной,
От страха голос онемел...

Недаром страх!.. Заранее я знала,
Что с *ним* должна я иль молчать,
Иль изменить себе!.. Заранеи приучала
Язык, лицо и сердце лгать.

Он подошел, он протянул мне руку...
Своей руки я не дала...
Я с ним была, скрывая сердца муку,
И холодна, и весела.

Он говорил все о любви возможной,
О счастье в связи двух сердец;
Он говорил так сладко, так тревожно,
Что я смутилась наконец.

И кто б, ему внимая, не смутился?
Он ждал ответа моего:

Он на меня смотрел, он ближе наклонился,—
Я отвернулась от него!

Я шуткою ответила небрежной...
Он встал... во взорах гнев пылал...
В душе, в груди моей был плач и стон мятежный...
Он ничего не угадал!

Он не видал, как сердце билось больно
Под платьем дымковым моим,
Он не слыхал страданья вопль невольный
Под женским смехом заказным!

Не понял он, как страстно, как безумно,
Как искренно любила я!
Он отошел!.. А бал кружился шумный
И бесновался вкруг меня!

Верна себе, не выдала я тайны
Любви запретной, но святой,—
Меня кокеткой он зовет необычайной,
Считает куклою пустой.

Все кончено навеки между нами!
И врозь сердца, и врозь шаги!
Все кончено навек!.. Мы встретились друзьями,
А разошлися как враги!

10 марта 1838
Петербург

ВЫ ВСПОМНИТЕ МЕНЯ

Et sur vous si grondait l'orage,
Rappelez-moi, je reviendrais!..
Simple histoire*

Вы вспомните меня когда-нибудь... но поздно!
Когда в своих степях далёко буду я,
Когда надолго мы, навеки будем розно —
Тогда поймете вы и вспомните меня!
Проехав иногда пред домом опустелым,
Где вас всегда встречал радушный мой привет,
Вы грустно спросите: «Так здесь ее уж нет?» —
И мимо торопясь, махнув султаном белым,
Вы вспомните меня!..

Вы вспомните меня не раз,— когда другая
Кокетством хитрым вас коварно увлечет
И не любя, в любви вас ложно уверяя,
Тщеславью своему вас в жертву принесет!
Когда уста ее, на клятвы тороваты,
Обеты льстивые вам станут расточать,
Чтоб скоро бросить вас и нагло осмеять...
С ней первый сердца цвет утратив без возврата,
Вы вспомните меня!..

Когда, избави бог! вы встретите иную,
Усердную рабу всех мелочных сует,
С полсердцем лишь в груди, с полудушой — такую,
Каких их создает себе в угодность свет,
И это существо вас на беду полюбит —
С жемчужною серьгой иль с перстнем наравне,
И вам любви узнать даст горести одне,
И вас, бесстрастная, измучит и погубит,—
Вы вспомните меня!..

---

* И если над вами грянет буря, позовите меня, и я вернусь!..— «Простая история» (фр.).

Вы вспомните меня, мечтая одиноко
Под вечер, в сумерки, в таинственной тиши,
И сердце вам шепнет: «Как жаль! *она* далёко,—
Здесь не с кем разделить ни мысли, ни души!..»
Когда гостиных мир вам станет пуст и тесен,
Наскучит вам острить средь модных львиц и львов,
И жаждать станете незаучённых слов,
И чувств не вычурных, и томных женских песен,—
    Вы вспомните меня!..

Апрель 1838
Петербург

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

If I should meet thee
After long years,
How should I greet thee?..
With silence and tears!..

Byron*

Сияет торжественно зала,
В ней сотни блестящих гостей;
Гордятся хозяева бала
Вельможной палатой своей.

С зеркальной сошелся стеною
Богатый лепной потолок;
А рамы резьбой золотою
Художник искусный облек.

Зеленых деревьев побеги
Вкруг мраморных вьются колонн...
И пир для услады и неги
Устроен, как сказочный сон...

А ночь-то... а ночь!.. что за диво!..
Тепла, ароматна она,—
В ней дышит уж Май торопливый,
В ней дышит младая весна...

Открыты широкие окна;
Весь Невский огнями горит;
И на небе облак волокна
Луна-чародей серебрит...

Алмазы, цветы и наряды
На девах и женах блестят;

* И если мне будет суждено встретить тебя после долгих лет разлуки, как мне приветствовать тебя?.. Молчанием и слезами!..— Байрон (*англ.*).

Все веселы, счастливы, рады...
Сердца наслажденьем кипят.

Одна, затаивши глубоко
Заветную думу мою,
Готовясь к разлуке далекой,
Печально в толпе я стою.

И все говорят: «Как вы бледны!..
Что с вами?.. Рассмейтесь скорей!..
Вот вальс загремел уж победный,
Звучит все призывней, живей!..

Вам любы его упоенья?..
Спешите!..— он вылечит вас!..»
Но тщетно!.. на все приглашенья
Ответ мой — бессменный отказ!..

И вот ко мне кто-то подходит...
И сердце забилось скорей...
Он речь о стороннем заводит,—
Но смысл есть таинственный в ней.

В ней слышится скорбь расставанья...
И вечный, напрасный упрек...
А что ж я скажу в оправданье?..
Меж нами и совесть, и рок!..

И наше последнее слово
Все тот же обман, та же ложь...
Признаться хоть оба готовы,—
Но поздно теперь,— и на что ж?..

Ни тот ни другой не решились
Мы высказать тайны своей!..
Мы холодно, сухо простились...
Кто знает, на много ли дней?..

И где-то сойдемся мы снова?..
Сойдемся ли даже когда?..
И будет ли первое слово
От сердца меж нами тогда?..

Развяжет ли радость свиданья
И души и речь заодно?..
О грустное слово прощанья,
Последним ли будет оно?..

24 апреля 1838
Петербург

В СТЕПИ

And then, I am in the world alone!..
Childe-Harold*

Расстались мы!.. В степи далекой
Течет безмолвно жизнь моя...
В деревне, скуке одинокой
Обречена надолго я...

Томит безрадостная доля
Стесненный ум, больную грудь;
Хочу рассеять грусть неволи
Хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь!

Боюсь, сердечная тревога
Здесь развлеченья не найдет,—
А в праздной голове так много,
Так много страстных грез живет!..

Вдали от городского шума
Здесь ропот сердца мне слышней,
Свободней пламенная дума,
Мечта отважней и сильней...

Не сдержит здесь порыв желаний
Приличий, предрассудков цепь,
Не заглушит воспоминаний
Затишьем мертвым эта степь!..

Живую в душную могилу
Пусть схоронили в двадцать лет,—
В ней не убьют ни страсть, ни силу!..
Ей мил и люб, ей нужен свет!..

* И тогда я был один в целом мире!..— «Чайльд-Гарольд» *(англ.)*.

Там всё, чем сердце тайно билось,
Чем полон мир, чем жизнь светла,
И тот, к кому душа стремилась,
Кого в кумиры избрала...

А *он*?.. Минуты увлеченья
Давно забыл, быть может, он,
Как промелькнувшее виденье,
Как прерванный, неясный сон?..

Где ж помнить, что в пустыне дальной
О нем тоскуют и грустят...
Что думы женщины печальной
Его зовут... к нему летят?..

Ему ль знать горечь сожалений
И об уехавшей мечтать,
Когда так много искушений
Его готово утешать?..

Кого теперь в блестящих залах
Его пытливый ищет взгляд?..
Кого на многолюдных балах
Он тайно ждет... кому он рад?..

Кому твердит *он*, с пылом страстным,
Любви привет, любви слова,
И для кого теперь опасным
Его прославила молва?..

Чье сердце робкое волнует
Полупризнаньем *он* теперь?..
Кого, прельщенный, очарует?
Кому твердит: «Люби и верь!..»

Хочу, хочу в тоске мятежной
Все знать я,— кем *он* дорожит,
И на кого *он* смотрит нежно,
И с кем всех дольше говорит...

Май 1838
Село Анна



ЧЕРНОВАЯ КНИГА ПУШКИНА*

Василию Андреевичу Жуковскому

Sic transit gloria mundi!..
Devise de Louis XIV**

Смотрю с волнением, с тоскою умиленной
На книгу-сироту, на белые листы,
Куда усопший наш рукою вдохновенной
Сбирался вписывать и песни и мечты;
Куда фантазии созревшей, в полной силе,
Созданья дивные он собирать хотел...
И где, доставшийся безвременно могиле,—
Он начертать ни слова не успел!..
Смотрю и думаю: судьбою легконравной
Какой удел благой, возвышенный и славный
Страницам сим пустым назначен прежде был!

* Пушкин заказал себе черновую книгу. Она, после его смерти, перешла к В. А. Жуковскому, который написал в ней несколько недоконченных стихотворений и потом подарил ее мне, с наказом дополнить и докончить ее.— *Примеч. Е. П. Ростопчиной.*

** Так проходит земная слава!..— Девиз Людовика XIV *(лат., фр.)*.

Как много творческих высоких помышлений,
Как много светлых дум, бесценных откровений
Он им поверил бы... И гроб все истребил!!.
Приняв наследие утраченного друга,
Свидетель горестный предсмертного недуга,
Другой, восторженный, мечтательный поэт
Болезненно взирал на сей немой завет,
    И сердце в нем стеснялось от испуга...

«Давно ли,— думал он,— давно ли предо мной
Он, в полном цвете лет, здоровый, молодой,
Мечтал о будущем, загадывал, трудился?..
И вот он навсегда от глаз моих сокрылся!..
Нет! Полно вдаль смотреть!.. Не под моим пером
Ты, книга, оживешь духовным бытием!..»

И мне, и мне сей дар! Мне, слабой, недостойной,
Мой сердца духовник пришел ее вручить,
Мне песнью робкою, неопытной, нестройной
Стих чудный Пушкина велел он заменить!..
Но не исполнить мне такого назначенья,
Но не достигнуть мне желанной вышины!
Не все источники живого песнопенья,
Не все предметы мне доступны и даны:
Я женщина!.. Во мне и мысль и вдохновенье
Смиренной скромностью быть скованы должны!

Апрель 1838
Петербург

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Петру Александровичу Плетневу

Es gibt im Menschenleben ewige Minuten...
Bouterwek*

I.

Я помню, на гульбище шумном,
Дыша веселием безумным,
И говорлива и жива,
Толпилась некогда Москва,
Как в старину любя качели,
Веселый дар Святой недели.
Ни светлый праздник, ни весна
Не любы ей, когда она
Не насладится Подновинским,
Своим гуляньем исполинским!
Пестро и пышно убрана,
В одежде праздничной, она
Слила, смешала без вниманья
Сословья все, все состоянья.
На день один, на краткий час
Сошлись, друг другу напоказ,
Хмельной разгул простолюдина
С степенным хладом знати чинной,
Мир черни с миром богачей
И старость с резвостью детей.
И я, ребенок боязливый,
Смотрела с робостью стыдливой
На этот незнакомый свет,
Еще на много, много лет
Мне недоступный... Я мечтала,
Приподымая покрывало
С грядущих дней, о той весне,

* Есть в человеческой жизни вечные минуты...— Бутервек *(нем.)*.

Когда достанется и мне
Вкусить забавы жизни светской,—
И с нетерпеньем думы детской
Желала время ускорить,
Чтоб видеть, слышать, знать и жить!..

Народа волны протекали,
Одни других они сменяли...
Но я не замечала их,
Предавшись лёту грез своих.
Вдруг все стеснилось, и с волненьем,
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «*Он** идет:
Он, наш поэт, *он*, наша слава,
Любимец общий!..» Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел *он* быстро предо мной...
И глубоко в воображенье
Напечатлелось выраженье
Его высокого чела.
Я отгадала, поняла
На нем и гения сиянье,
И тайну высшего призванья,
И пламенных страстей порыв,
И смелость дум, наперерыв
Всегда волнующих поэта,—
Смесь жизни, правды, силы, света!
В его неправильных чертах,
В его полуденных глазах,
В его измученной улыбке
Я прочитала без ошибки,
Что много, горько сердцем жил

* Александр Сергеевич Пушкин.— *Примеч. Е. П. Ростопчиной.*

Наш вдохновенный,— и любил,
И презирал, и ненавидел,
Что свет не раз его обидел,
Что рок не раз уж уязвил
Больное сердце, что манил
Его напрасно сон лукавый
Надежд обманчивых, что слава
Досталася ему ценой
И роковой и дорогой!..
Уж он прошел, а я в волненьи
Мечтала о своем виденьи,—
И долго, долго в грезах сна
Им мысль моя была полна!..
Мне образ памятный являлся,
Арапский профиль рисовался,
Блистал молниеносный взор,
Взор, выражающий укор
И пени раны затаенной!..
И часто девочке смиренной,
Сияньем чудным озарен,
Всё представал, всё снился *он*!..

II

Я помню, я помню другое свиданье:
На бале блестящем, в кипящем собранье,
Гордясь кавалером и об руку с ним,
Вмешалась я в танцы... и счастьем моим
В тот вечер прекрасный весь мир озлащался.
Он с нежным приветом ко мне обращался,
Он дружбой без лести меня ободрял,
Он дум моих тайну разведать желал...
Ему рассказала молва городская,
Что, душу небесною пищей питая,
Поэзии чары постигла и я,
И *он* с любопытством смотрел на меня,—

Песнь женского сердца, песнь женских страданий,
Всю повесть простую младых упований
Из уст моих робких услышать хотел...
Он выманить скоро признанье успел
У девочки, мало знакомой с участьем,
Но свыкшейся рано с тоской и несчастьем...
И тайны не стало в душе для него!
Мне было не страшно, не стыдно его...
В душе гениальной есть братство святое:
Она обещает участье родное,
И с нею сойтись нам отрадно, легко;
Над нами парит она так высоко,
Что ей неизвестны, в ее возвышенье,
Взыскательных дольных умов осужденья...
Вниманьем поэта в душе дорожа,
Под говор музы́ки, украдкой, дрожа,
Стихи без искусства *ему* я шептала
И взор снисхожденья с восторгом встречала.
Но *он*, вдохновенный, с какой простотой
Он исповедь слушал души молодой!
Как с кротким участьем, с улыбкою друга,
От ранних страданий, от злого недуга,
От мрачных предчувствий он сердце лечил
И жить его в мире с судьбою учил!
Он пылкостью прежней тогда оживлялся,
Он к юности знойной своей возвращался,
О ней говорил мне, ее вспоминал.
Со мной молодея, *он* снова мечтал.
Жалел он, что прежде, в разгульные годы
Его одинокой и буйной свободы,
Судьба не свела нас, что раньше меня
Он отжил, что поздно родилася я...
Жалел он, что песни девической страсти
Другому поются, что тайные власти
Велели любить мне, любить не *его*,—
Другого!.. И много сказал он всего!..

Слова *его* в душу свою принимая,
Ему благодарна всем сердцем была я...
И много минуло годов с того дня,
И много узнала, изведала я,—
Но живо и ныне о *нем* вспоминанье;
Но речи поэта, его предвещанье
Я в памяти сердца храню как завет
И ими горжусь... хоть *его* уже нет!..
Но эти две первые, чудные встречи
Безоблачной дружбы мне были предтечи,—
И каждое слово *его*, каждый взгляд
В мечтах моих светлою точкой горят!..

Декабрь 1838, 1839
Село Анна

ИСКУШЕНЬЕ

J'aime l'ivresse d'une fête...
Le comte de Rességuier*

Двенадцать бьет, двенадцать бьет!..
О, балов час блестящий,—
Как незаметен твой приход
Среди природы спящей!
Как здесь, в безлюдной тишине,
В светлице безмятежной,
Ты прозвучал протяжно мне,
Беззывно, безнадежно!

Бывало, только ты пробьешь,
Я в полном упоеньи,
И ты мне радостно несешь
Все света обольщенья.
Теперь находишь ты меня
За книгой, за работой...
Двух люлек шорох слышу я
С улыбкой и заботой.

И светел, сладок мой покой,
И дома мне не тесно...
Но ты смутил ум слабый мой
Тревогою безвестной;
Но ты внезапно оживил
Мои воспоминанья,
В безумном сердце пробудил
Безумные желанья!

И мне представилось: теперь танцуют там,
На дальней родине, навек избранной мною...
Рисуются в толпе наряды наших дам,

* Я люблю опьянение праздника...— Граф де Рессегье *(фр.)*.

Их ткани легкие с отделкой щегольскою;
Ярчей наследственных алмазов там блестят
Глаза бессчетные, весельем разгоревшись;
Опередив весну, до время разогревшись,
Там свежие цветы свой сыплют аромат...
Красавицы летят, красавицы порхают,
Их вальсы Ланнера и Штрауса увлекают
Неодолимою игривостью своей...
И все шумнее бал, и танцы все живей!

И мне все чудится!.. Но, ах! в одном мечтанье!
Меня *там* нет! Меня *там* нет!
И может быть, мое существованье
Давно забыл беспамятный сей свет!
В тот час, когда меня волнует искушенье,
Когда к утраченным утехам я стремлюсь,
Я сердцем мнительным боюсь,
Что всякое о мне умолкло сожаленье...
Что если бы теперь меж них предстала я,
Они спросили бы, минутные друзья:
«Кто это новое явленье?..»

О, пусть сокроются навек мои мечты,
Мое пристрастие и к обществу и к свету
От вас, гонители невинной суеты!
Неумолимые, вы женщине-поэту
Велите мыслию и вдохновеньем жить,
Живую молодость лишь песням посвятить,
От всех блистательных игрушек отказаться,
Всем нам врожденное надменно истребить,
От резвых прихотей раздумьем ограждаться...
Вам, судьи строгие, вам недоступен он,
Ребяческий восторг на праздниках веселых!
Вы не поймете нас,— ваш ум предубежден,
Ваш ум привык коснеть в мышлениях тяжелых.
Чтоб обаяние средь света находить,

Быть надо женщиной иль юношей беспечным,
Бесспорно следовать влечениям сердечным,
Не мудрствовать вотще, радушный смех любить...
А я, я женщина во всем значенье слова,
Всем женским склонностям покорна я вполне;
Я только женщина,— гордиться тем готова,
Я бал люблю!.. отдайте балы мне!

Февраль 1839
Село Анна

ВОСПОМИНАНЬЕ

Александре Осиповне Смирновой

В веселой резвости мила,
В тоске задумчивой милее...
Козлов. Чернец

Нет, вы не знаете ее,
Кто ей лишь в свете поклонялись,
Куренье страстное свое,
Восторг и жар боготворений
И пафос пышных всесожжений
В дань принося смиренно ей!..
Вы все, кто удивлялись в ней
Уму блистательно-живому,
Непринужденной простоте,
И своенравной красоте,
И глазок взору огневому,—
Нет!.. Вы не знаете ее!..
Вы, кто слыхали, кто делили
Ее беседу, кто забыли
На миг заботное житье,
Внимая ей в гостиных светских!..
Кто суетно ее любил,
Кто в ней лишь внешний блеск ценил;
Кто первый пыл мечтаний детских
Ей без сознанья посвятил,—
Поверьте, вы ее не знали,—
Нет!.. Вы ее не понимали,—
Вы искру нежности святой,
Вы светлый луч любви живой
В ее душе не угадали!..

А вы, степенные друзья,
Вы тесный круг ее избранных,
Вы, разум в ней боготворя,

Любя в ней волю мыслей странных,
Вы мните знать ее вполне?..
Вы мните, в дальней глубине
Ее души необъясненной
Для вас нет тайны сокровенной?
Но вам являлась ли она,
Раздумья томного полна,
В тоске тревожной и смятенной,
Когда хулою вдохновенной,
В разуверенья горький час,
Она клянет тщету земную,
Обманы сердца, жизнь пустую,
И женщин долю роковую,
И все, и всех... себя и вас?..
Когда с прелестных черных глаз
Слеза жемчужная струится...
Когда змеею вороной
Коса от плеч к ногам ложится...
Когда мечта ее стремится
В мир лучший, в мир ее родной,
Где обретет она покой,
Иль в тесный гроб, иль в склеп могильный,
Где объяснится наконец
Души больной, души бессильной
Начало, тайна и конец,
Где мнится ей, что остов пыльный
Почиет в мраке гробовом
Ничтожества спокойным сном...
Ее я помню в дни такие:
Как хороша она была!..
Как дружба к ней меня влекла...
Как сердца взрывы роковые
Я сердцем чутким стерегла!..
Нет, не улыбки к ней пристали,
Но вздох возвышенной печали,
Но буря, страсть, тоска, борьба,

То бред унынья, то мольба,
То смелость гордых упований,
То слабость женских восставаний!..
Нет, не на сборищах людских
И не в нарядах дорогих
Она сама собой бывает;
И нрав и дух свой проявляет.
Кто хочет сердце видеть в ней,
Кто хочет знать всю цену ей,
Тот изучай ее в страданьи,
Когда душа ее болит,
И рвется в ней, и в ней горит,
Тоскуя в жизни, как в изганньи!..

Апрель 1839
Село Анна

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НОЧЬЮ

Those evening bells, those evening bells!
How many a tale their music tells
Of youth and home!..

Thomas Moore*

Он томно загудел, торжественный, нежданный,
В необычайный час;
Он мой покой прервал, и мигом сон желанный
Прогнал от жарких глаз.

Мне сладко грезилось... волшебные виденья
Носились надо мной.
Сменив дня знойного тревоги и волненья
Отрадной тишиной.

Мне сладко грезилось, и вдруг вот он раздался,
Неумолимый звон...
Как жалобный набат, он в сердце отзывался,
Как близкой смерти стон...

Невольный, чудный страх мне душу обдал хладом,
Мне мысли взволновал,
Земные бедствия в картинах мрачных рядом
Мне живо рисовал.

Я вспомнила, что здесь, при церкви одинокой,
Одна и та же медь
Гласит все вести зла и над людьми высоко
С людьми должна скорбеть.

Что к отходящему таинственное миро
Сопутствует она,

---

* Вечерний звон, вечерний звон! Сколько историй рассказывает его музыка о молодости и доме!.. — Томас Мур *(анг.)*.

И над усопшими плач сродников, песнь клира,
Все вторит, чуть слышна;

Что гибельный пожар трезвонистым набатом
Ей должно возвещать
И горцев яростных с арканом и булатом
Стеречь и упреждать...

И долго я потом внимала в удивленье
Взывающей меди...
И долго маялось унылое смятенье
В измученной груди.

Боязнью и тоской я долго трепетала,
Мой дух был омрачен;
Больная голова горела и пылала...
Не возвращался сон!

Луны волшебный свет над садом ароматным,
Полуденная ночь,
И вам не удалось влияньем благодатным
Дум грустных превозмочь!..

Меня предчувствие зловещее томило,
Как будто пред бедой...
Как будто облако всю будущность затмило
Пред гибельной грозой.

20 июля 1839
Пятигорск

ПРОСТИ, КАВКАЗ!

Fair clime, farewell!
Byron*

Прости, волшебный край, где несколько счастливых
Я провела часов под небом голубым!
Где нежилась душа в покое грез ленивых;
Где южной теплотой и солнцем огневым,
Давно желанными, вполне я насладилась;
Где с горним воздухом я свыклась и сроднилась,
Как с односвойственной землей привозный цвет;
Где, вечно убрана в улыбку и привет,
Всей прелестью своей природа облачилась
Гостям издалека как будто на показ,—
Прости, прости, Кавказ!..

Ты породил во мне восторг и удивленье,
Ты взоры тешил мне, мечты мои питал,
Ты чудным зрелищем возвышенных явлений
Воображение бессменно поражал.
Хоть мысль, кипя во мне, в лад песни не клеилась,
Хоть дума в мерный стих и в звук не обратилась,
Но много, много их мне в душу залегло...
Их много в памяти и сердце расцвело!..
Я жить и чувствовать всечасно торопилась,—
Я уношу с собой и чувств и дум запас...
Прости, прости, Кавказ!

Пора в обратный путь, к своим степям засохшим,
В страну несносных бурь, туманов и снегов,
В однообразный край, где по тропам заглохшим
Ковылью порастет и тень моих следов;
Где мертвой тишиной, унылым запустеньем
Полны и мысль и взор; где скучным отдаленьем

---

* Прекрасный край, прощай! — Байрон (*англ.*).

От света и людей почти отчуждена,
Я одинокому мечтанью предана!!!
Пора в обратный путь!.. С напрасным сожаленьем
На всё окрестное гляжу в последний раз...
        Прости, прости, Кавказ!

11 августа 1839
Кисловодск

ОДНИМ МЕНЬШЕ!

На смерть партизана Дениса В. Давыдова

> Наш боец чернокудрявый,
> С белым локоном во лбу...
>
> **Языков**

Где ты, наш воин-стихотворец,
Вдвойне отчизне милый сын,
Ее певец и ратоборец,
Куда ты скрылся?.. Ты один
Не пробужден еще призывом,
Собравшим тысячи полков;
Один всеобщим войск приливом,
Единодушным их порывом
Не привлечен на пир штыков.
Проснись!.. Все русские дружины
Шлют представителей своих
На Бородинские равнины,
Свершить поминки битв святых.
Проснись!.. там все уж *остальные*,
Все однокашники твои,—
С кем ты делил труды былые,
С кем ты, в торжественные дни,
За наши рубежи родные,
За Русь, за веру в бой летал;
Пред кем губительной стрелою
Кровавый путь ты пролагал;
Кого, как молнья пред грозою,
С своей ватагой удалою
Врагам ты смертью предвещал...
Все там!.. Вожди уж с удивленьем
Тебя искали меж собой;
Солдаты наши с нетерпеньем
Уже справлялись: «Где ж лихой?..»
И *Он*, Хозяин Вседержавный,

Кто храбрых царски угощал,
И *Он*, быть может, вопрошал:
«Где званый гость?.. где ратник славный?..»
И вот, на смотр весь стан спешит;
Вот выстрел заревой раздался...
Грохочет пушка, штык блестит...
И поле стонет и дрожит...
Как будто б снова разгорался
На жизнь и смерть Европы бой,
Как будто б год наш роковой
Двунадесятый возвращался!..
Но до тебя не достигал
Ни шумный гул, ни зов почетный!
Твой стих замолк; твой меч упал;
Ты сам, как призрак мимолетный,
Вмиг из среды живых пропал...
Так! без тебя торжествовала
Россия день Бородина,
И в час молебствия Она,
Когда защитников считала,—
«Еще *одним* их меньше стало!..» —
Сказала, горести полна.

Сентябрь 1839
Село Анна

ПАДУЧАЯ ЗВЕЗДА

«Quand une étoile tombe, il faut se hâter de lui dire ce qu'on souhaite,— et ce souhait sera exaucé sans faute!»
Superstition populaire*

Она катилась... я смотрела
С участьем тайным ей вослед,
И дошептать ей не успела
Свое желанье, свой обет...

Она скатилась и пропала!..
Зачем падучею звездой
Бог не судил быть?— я мечтала,—
Мне не дал воли с быстротой?..

Подобно ей, и я ушла бы,
Покинув недойденный путь!..
Подобно ей, и я могла бы
Лететь, умчаться, ускользнуть!..

Сентябрь 1839
Село Анна

* «Когда падает звезда, нужно успеть сказать ей свое заветное желание, и тогда это желание непременно исполнится!» — Народное поверье *(фр.)*.

ДВОЙНЫЕ РАМЫ

Ich aber lieb' euch all;
Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl,
Abendstern und Nachtigall!
H. Heine*

Примета скучных зимних дней,
Снегов, морозов предвещанье,
Двойные рамы здесь!.. Скорей
Пошлю я лету взор прощанья!

Теперь в окно издалека
Не слышу шум реки ленивой,
Лесные звуки, песнь рожка
И листьев шорох торопливый.

Двойные рамы вложены!..
И одиночества страданья
Еще живей средь тишины
Ненарушимого молчанья.

Отныне слеп и глух наш дом,
Нет с жизнью внешней сообщенья...
Он загражден — как будто в нем
Кто дал обет уединенья.

Под мертвой тяжестью зимы,
Без воздуха, в глуши печальной,
Мне веет сыростью тюрьмы,
Затвором кельи погребальной.

И как здесь мрачно, как темно!..
Хоть солнце в небе загорится,

* Но я люблю вас всех: розу, бабочку, солнечный луч, вечернюю звезду и соловья! — Г. Гейне *(нем.)*.

Сквозь стекла тусклые оно
Ко мне лучом не заронится.

Хоть улыбнется ясный день,
Гость мимолетный, запоздалый,
Он не рассеет мглу и тень
В моей светлице одичалой.

Ни щебетанье воробья,
Ни песни иволги пустынной
Достичь не могут до меня,
Чтоб сократить мне вечер длинный.

Со всей природою разрыв
Мне на полгода уготован;
И только дум моих порыв
Не замедлён и не окован.

Октябрь 1839
Село Анна

НЕДОКОНЧЕННОЕ ШИТЬЕ

Freudvoll
Und leidvoll,
Gedankenvoll sein...
Klarens Lied, aus Egmont*

Нет! прочь с работою!.. нет! более ни шва!..
Нигде и никогда мой коврик не дошьется,
Трудолюбивая игла не прикоснется
К работе прерванной, и белая канва
Шитьем узорчатым вовек не облечется!..
Затейливый развод, блестящие цветы,
В иное время мной вы были начаты...
И много сладостных, живых воспоминаний
  Ваш вид наводит на меня,
  И много дум, событий, упований,
  С отделкой пестрой этой ткани
Во дни минувшие слила душа моя!..

  Для женщины час скромных рукоделий
Есть часть спокойствия, молчанья, дум святых,
Самопознанья час вдали сует мирских;
То промежуток ей меж выездов, веселий,
То отдых от забот, от света, от людей,
Досуг, чтоб прозревать, читать в душе своей.
Когда над пяльцами, за столиком богатым,
Она склоняется, работой занята,—
Поверьте, тайная, любимая мечта
То тенью робкою, то призраком крылатым
Мелькает перед ней, зовет ее, манит...
Быть может, той порой в ней чувство говорит...
Быть может, сердце в ней волнуется тревожно,
  И сон надежды невозможной

* Быть полным радости, и печали, и мыслей...— Песня Клары из «Эгмонта» *(нем.)*.

Она на дне души голубит и хранит...
Заветных тайн ее свидетель безопасный,
    Наперсник верный и безгласный,
Жизнь задушевную шитье проводит с ней,
    И дорого и любо ей.

Былого памятник, мой коврик недошитый,
Когда тебе досуг я посвящала свой,—
Тогда видаемы бывали часто мной
Минуты светлые; и верною душой
    Они теперь еще не позабыты!..
Но их блестящая, счастливая чреда,—
    Увы!.. она навеки миновала!
    Былых тревог, былых надежд не стало,
И думы милые не придут никогда
Мне в голову опять с их прелестью бывалой.
Теперь, работая, о радостном *вчера*
С волненьем и тоской уж я не вспоминаю...
Теперь, работая, о *завтра* не мечтаю,
Не жду; и мне пришла бесцветных дней пора!..
С холодною душой, с напрасным сожаленьем
Свой труд неконченный брать в руки не хочу,
Его, блестящего, вотще не омрачу
Отливом мрачных дум!.. Тех дней поминовеньем
Пусть он останется!.. и глядя на него,
Забыв ход времени, вновь сердца своего
Услышу исповедь с унылым наслажденьем!..

Октябрь 1839
Село Анна

ВИКТОРУ ГЮГО,

отверженному Французской Академиею

Поэт, не дорожи любовию народной!
Александр Пушкин

Не избран ты, отвержен ты, но слава
Своими лаврами осыпала тебя,
В тебе гонимого радушней полюбя!..
У ног твоих лежит с бессильною отравой
Ничтожной зависти презренная змея;
И вместо голосов той партии враждебной,
Взамен шестнадцати строптивых стариков,
Весь просвещенный мир принесть тебе готов
Рукоплесканий дань, восторга глас хвалебный.
Но кто ж они, ценители искусства,
Творений гения верховный суд?..— Меж них
Кто в свете знаменит?.. Где, где заслуги их?
В чем отразилися их ум, их вкус, их чувства?..
Что выкажут они в защиту прав своих?
Две-три трагедии снотворные, сухие,
Да консульских времен тяжелые стихи,
Да водевильный прах... вот всё!!. Вот их грехи
Перед поэзией — трофеи их былые!..
Им можно ли назвать тебя собратом?—
Трудом, успехами молва твоя гремит,
Тогда как праздность их немая вечно спит;
Пред мраком их имен, пред тусклым их закатом
Блестящий полдень твой светлее загорит.
И ты, трепещущий отвагою и силой,
Грядущим ты богат, надеждой ты живешь,
Всё далее, всё выше ты пойдешь,—
Тогда как их удел забвенье и могила!
Ты отомстишь завистникам безгласным,
Классическим гонителям своим,
Стремленьем к творчеству усердным и живым

И вдохновением возвышенно-прекрасным;
Ты новым торжеством себя напомнишь им!
Поэт,— в руках твоих три средства громкой славы:
Восторженная песнь, пленительный рассказ,
И драма,— чей устав ты пре́зрел столько раз,
Раскола смелый вождь, ере́тик величавый!..

22 марта 1840
Село Анна

НЕГОДОВАНЬЕ

> «Le colonel Fitz-Patrik est arrivé á St.-Marks avec 30 á 40 bloodhounds; (chiens de chasse); ce régiment carnassier et carnivore est destiné á combattre les Indiens seminoles».
>
> Gazette de France du 21 Mars 1840*

Свобода!!. Равенство!!.— Вот что кричат они,
Младой Америки богатые граждане,
Земель украденных владельцы искони,
Республиканцы, пуритане,
Народ торгующий, и мыслящий народ,
Благотворения придумавший науку,
Который гибнущим спасающую руку
В воскресный день не подает.

Свобода!!. Равенство!!.— И с этим громким кликом
Натравленных собак они на брань ведут
И хищности зверей, в своем свирепстве диком,
Людей на жертву отдают!..
Неистовой борьбы свидетели немые,
Они без ужаса глядят на смерть и кровь,
И к человечеству забыта их любовь,
Забыты чувства выказные!..

Их мудрость с толку сбил индейцев красный цвет;
Лесные племена гордыне их не братья;
Непросвещенному закрыты их объятья,
Для дикаря в них сердца нет.
Корысть и выгоды внушили их расчеты;
Им нужны реки, лес, и пажити, и степь;

---

* «Полковник Фитц-Патрик прибыл в Сент-Маркс, имея при себе от 30 до 40 bloodhounds (ищеек), этот хищный и плотоядный полк предназначается для борьбы с индейцами из племени семинолов» — «Газет де Франс» от 21 марта 1840 г. *(фр.)*.

Сосед помеха им,— соседу смерть иль цепь!!.
Пусть торжествуют обороты!

И вот как действует та мощная страна,
С кого пример берут народы вековые,
Кто шлет из-за морей законы, утопии,
Кто мещет в старый мир крамолов семена!..

* * *

О боже! где твой гром? И скоро ль осужденье
Мятежных выходцев достойно поразит?..
Но если с всяким злом дар просвещенья слит,
Пусть нас минует просвещенье!

Апрель 1840
Село Анна

И ОН ПОЭТ

Люби и пой, пой и люби!.. и только,
И больше ничего!..

И он поэт,— о, да!— и он поэт,
Мой чудный соловей, мой песенник унылый!..
Он любит тишину, и ночь, и лунный свет;
Ему зеленый лес и струй журчанье милы;
Он в полдень, средь толпы, робеет и молчит,
Он с хором птиц других свой голос не сливает,
С шумящим роем их не реет, не парит;
В уединении он сам собой бывает
И без свидетелей, для самого себя,
Волшебной песнию приветствует природу.
Не терпит клетки он: в ней райского житья
Он, гордый, не возьмет за гордую свободу;
И только раз в году, весной, когда его
Любовь одушевит, поет он, сладкогласный;
И только чтоб развлечь грусть сердца своего
В тоске восторженной, он гимн слагает страстный.
Жизнь сердца для него единственный предмет
Всех песней пламенных, всех томных вдохновений;
Жизнь сердца кончится,— в молчаньи и смиреньи
Он укрывается... о, да!— и он поэт!..

9 мая 1840
Село Анна

В МОСКВУ

O Patria!.. ti rivedrò!
Tancredi*

В Москву, в Москву!.. В тот город столь знакомый,
Где родилась, где вырастала я;
Откуда ум, надеждою влекомый,
Рвался вперед, навстречу бытия;
Где я постичь, где я узнать старалась
Земную жизнь, где с собственной душой
Свыкалась я, где сердце развивалось,
Где слезы первые пролиты были мной!

В Москву, в Москву!.. Но глушь уединенья
Найду я там, где сиротство мое
Взросло в семье большой... Но в запустенье
Превращено бывалое жилье...
Но нет следов минувших отношений...
Года прошли,— родные и друзья
Рассеяны; их разных направлений
Теперь не доищусь, не допытаюсь я!
В Москву! в Москву!.. Душа при этом слове
Не задрожит, не вспыхнет, не замрет;
И нет у ней привета наготове
Для родины; и сердце не поет
Возврата песнь: я чту и уважаю
Наш древний кремль и русской славы гул,
Я старину люблю и понимаю,—
Но город без друзей мне холод в грудь вдохнул.

Есть край другой... туда мои желанья,
Мои мечты всегда устремлены,
Там жизни блеск и все очарованья
Познала я, там сердцем скреплены,

---

* Отечество!.. тебя увижу! — «Танкред» (*ит.*).

По выбору, все узы дружбы сладкой,
Там несколько прожито светлых дней,
Там счастие заманчивой загадкой
Мерещится вдали душе моей...

Теперь в Москву! Могилам незабвенным
Свой долг отдать, усопших помянуть,
И о живых, по взморьям отдаленным
Разметанных, подумать и вздохнуть!..
И бог-то весть!— быть может, невзначайно
Судьба и там порадует меня,
И, счастлива свершеньем думы тайной,
На родине родное встречу я!..

6 июня 1840
На пути из села Анны в Воронеж

ПОКЛОННИКАМ НАПОЛЕОНА,

когда они вздумали перенести его гробницу в Париж

Tutto ei provò...
Due volte nella polvere,
Due volte sugli altar!
Manzoni, il 5 Maggio, oda*

Не трогайте костей Его!..
Он царь, *он* полубог в пустыне,
На дальнем острове!.. И ныне,
Когда исчезло без него
Все, что он создал, что прославил;
Когда ход века не оставил
Его следов в столице той,
Где он воздвиг престол чудесный
Своею волею одной,
Своею мощной головой;
Когда лежат в могиле тесной
Его сподвижники, когда
Непобедимых войск не стало
И их времен как не бывало;
Когда мещанских смут чреда
Крамольно Францию волнует.
И каждый день, и каждый час
Междоусобье там бушует,
О! что же делать среди вас,
Средь проповедников смятений,
Его великой грозной тени?..
Париж ваш поле мятежей.
Для баснословного героя
Уж веры нет там у людей!
Не сыщет исполин покоя
Там, где шумит толпа пигмей!..

Июнь 1840
Вороново

---

* Испытанный... Дважды ввергнутый в прах, дважды вознесенный! — Мандзони. 5 мая. Ода (*ит.*).

СЕЛО АННА

> Deserted is my own good hall,
> My hearth is desolate!..
>
> Childe-Harold. Canto I*

Зачем же сладкою тревогой сердце бьется
При имени твоем, пустынное село,
И ясной думою внезапно расцвело?
Зачем же мысль моя над дикой степью вьется,
Как пташка, что вдали средь облаков несется,
Но, в небе занята своим родным гнездом,
И пестует его и взором и крылом?..
Ведь прежде я тебя, край скучный, не любила,
Ведь прежде ссылкою несносной был ты мне:
Меня пугала жизнь в безлюдной тишине,
И вечных бурь твоих гуденье наводило
Унынье на меня; ведь прежде, средь степей,
С тоской боролась я, и там, в душе моей,
Невольно угасал жар пылких вдохновений,
Убитый немощью... Зачем же образ твой
Меня преследует, как будто сожалений
Ты хочешь от меня, приют далекий мой?..
Или в отсутствии немилое милее?
Иль всем, что кончено, и всем, чего уж нет,
В нас сердце дорожит? Иль самый мрак светлее,
Когда отлив его смягчит теченье лет?
Так память длинных дней, в изгнаньи проведенных,
Мне представляется, как радужная цепь
Дум ясных, грустных дум, мечтаний незабвенных,
Заветных, тайных грез... Безжизненная степь
Моею жизнию духовной наполнялась,
Воспоминаньями моими населялась.
Как тишь в волнах морских, как на пути привал,
Так деревенский быт в отшельнической келье

---

* Покинут мой прекрасный зал, пуст мой очаг!..— «Чайльд-Гарольд», песнь I (*англ.*).

Существование былое прерывал
И созерцанием столичное веселье,
Поэзией шум света заменял.
От развлечения, от внешних впечатлений
Тогда отвыкнувши, уж я в себе самой
Для сердца и души искала наслаждений,
И пищи, и огня. Там ум сдружился мой
С отрадой тихою спокойных размышлений
И с самобытностью. Там объяснилось мне
Призванье темное. В глуши и тишине
Бедна событьями, но чувствами богата,
Тянулась жизнь моя. Над головой моей
Любимых призраков носился рой крылатый,
В ушах моих звучал веселый смех детей;
И сокращали мне теченье длинных дней
Иголка, нитки, кисть, подчас за фортепьяном
Волненье томное,— когда былого сон,
Мелодией знакомой пробужден,
Опять меня смущал пленительным обманом...
И много счастливых, восторженных минут,
Сердечной радостью волшебно озаренных,
Прожито там, в степях... О, пусть они живут
Навеки в памяти и в мыслях сокровенных!..
А ты, затерянный, безвестный уголок,
Не многим памятный по моему изгнанью,—
Храни мой скромный след, храни о мне преданье,
Чтоб любящим меня чрез много лет ты мог
Еще напоминать мое существованье!

Июнь 1840
Вороново

ВИД МОСКВЫ

Que peu de temps suffit pour changer toute chose!
Tristesse d'Olympio, Victor Hugo*

О! как пуста, о! как мертва
Первопрестольная Москва!..
Ее напрасно украшают,
Ее напрасно наряжают...
Огромных зданий стройный вид,
Фонтаны, выдумка востока,
Везде чугун, везде гранит,
Сады, мосты, объем широкий
Несметных улиц,— всё блестит
Изящной роскошью, всё ново,
Всё жизни ждет, для ней готово,
Но жизни нет! Она мертва,
Первопрестольная Москва!..
С домов боярских герб старинный
Пропал, исчез, и с каждым днем
Расчетливым покупщиком
В слепом неведеньи, невинно
Стираются следы веков,
Следы событий позабытых,
Следы вельможей знаменитых.
Обычай, нравы, дух отцов,
Всё изменилось!.. Просвещенье
И подражанье новизне
Уж водворили пресыщенье
На православной стороне.
Гостеприимство, хлебосольство,
Накрытый стол и настежь дверь
Преданьем стали, и теперь
Витийствует многоглагольство
На скучных сходбищах, взамен

---

* Как мало нужно времени для того, чтобы все изменить!—Виктор Гюго. Печаль Олимпио *(фр.)*.

Веселья русского. Всё глухо,
Всё тихо вдоль кремлевских стен,
В церквах, в соборах; и для слуха
В Москве отрада лишь одна
Высокой прелести полна:
Один глагол всегда священный
Наследие былых времен,—
И как сердцам понятен он,
Понятен думе умиленной!..
То вещий звук колоколов!..
То гул торжественно-чудесный,
Взлетающий до облаков,
Когда все *сорок сороков*
Взывают к благости небесной!..
Знакомый звон, любимый звон,
Москвы наследие святое,
Ты всё былое, всё родное
Напомнил мне!.. Ты сопряжен
Навек в моем воспоминаньи
С годами детства моего,
С рожденьем пламенных мечтаний
В уме моем. Ты для него
Был первый вестник вдохновенья;
Ты в томный трепет, в упоенье
Меня вседневно приводил;
Ты поэтическое чувство
В ребенке чутком пробудил;
Ты страсть к гармонии, к искусству
Мне в душу пылкую вселил!..
И ныне, гостьей отчужденной
Когда в Москву вернулась я,—
Ты вновь приветствуешь меня
Своею песнию священной,
И лишь тобой еще жива
Осиротелая Москва!..

25 июня 1840
Москва

ЧАСЫ УЕДИНЕНЬЯ

Quand on est seul, on est plus que jamais
avec ceux qu'on aime.
Saadi,— poète Persau*

О! как люблю я быть одною!
О! как одной дышать легко,
Когда и сердцем и душою
Я уношуся высоко!
Когда вокруг меня все дремлет,
Живу и мыслю только я,
И слух обрадованный внемлет
Успокоенье бытия!..

Заботы жизни мелочные,
Нелепых празднословий шум,
И разговоры заказные,—
Все, в чем вольнолюбивый ум
Находит скуку и терзанье,
Все стихло, смолкло, я одна,
Беспечно сладкому мечтанью
И созерцанью предана!

Над изголовьем безмятежном
Младенцев спящих помолясь,
Улыбкой их в восторге нежном
Налюбовавшись, насладясь,
Я запираюсь. Томной лени
Полна безмолвной ночи тень,
Прошел день суетных волнений,
И настает духовный день.

С небес, осыпанных звездами,
Мне луч поэзии блеснул,

* Когда человек одинок, он более чем когда-либо с теми, кого он любит.— Саади, персидский поэт (*фр.*).

И убаюканный мечтами,
В их неге ум мой отдохнул;
И вдохновенье светлым током
Струится на главу мою;
В благоговении глубоком
Я пью живящую струю.

Воспоминаний говорящих,
Видений райских, райских снов,
И жарких дум, и грез блестящих
Уединенный полон кров.
Невольно в сердце умиленном
Поется песнь и гимн звучит...
И мнится, эхом отдаленным
Природы вечный гимн гремит.

Мечтанья, вызванные силой,
Мелькают тихо предо мной
Все те, кто дороги и милы,
Все те, кого люблю душой.
Я слышу памятные речи,
Я узнаю их голоса,
Как будто вымоленной встречи
День ускорили небеса!..

Так незаметно пролетают
Часы досуга и мечты,
Давно за полночь! исчезают
Уж звезды с горней высоты.
Средь тишины уединеньем
Душа моя освежена,
И забывает с восхищеньем
Весь мир существенный она.

Июль 1840
Село Вороново

5 Заказ 1086

ЗВЕЗДЫ ПОЛУНОЧИ

Ye stars, the poetry of Heaven!..
Childe-Harold*

Кому блестите вы, о звезды полуночи?..
Чей взор прикован к вам с участьем и мечтой?
Кто вами восхищен?.. Кто к вам подымет очи,
Незасоренные землей!

Не хладный астроном, упитанный наукой,
Не мистик-астролог вас могут понимать!..
Нет!.. для изящного их дума близорука.
Тот испытует вас, тот хочет разгадать.

Поэт, один поэт с восторженной душою,
С воображением, и страстным и живым,
Пусть наслаждается бессмертной красотою
И вдохновением пусть вас почтит своим!

Да женщина еще — мятежное созданье,
Рожденное мечтать, сочувствовать, любить —
На небеса глядит, чтоб свет иydованье
В душе пугливой пробудить.

Август 1840
Село Вороново

* Вы, звезды, поэзия небес!..— «Чайльд-Гарольд» *(англ.)*

ПОСЕЩАЯ МОСКОВСКУЮ ОРУЖЕЙНУЮ ПАЛАТУ

Да ныне имемся во едино сердце
и соблюдем Русскую землю.
Нестор, лет. 1034

Здесь много видим мы и редкостей и славы,
Доспехов и держав, престолов и венцов;
Здесь Русская земля скрижалью величавой
Почтила подвиги исчезнувших веков,
И доблесть воинов, и мудрость Государей,
И преданность граждан, и пастырей мольбу.
Здесь могут вопрошать преданья и судьбу
Историк мыслящий и страстный антикварий.
Владимир и Борис, Татары и Мстислав —
Все след оставили в таинственной палате;

. . . .

. . . .

Но больше всех венцов, престолов золотых,
Но больше всех кольчуг, доспехов позлащенных,
И кубков дедовских, и чарок вековых,
И всех сокровищ, тут веками взгроможденных,—
Мне люб здесь меч один, меч бедный и простой,
Без пышного герба, меч ратника стальной...
Но он один решил событья мировые;
Но в битву сотни он водил других мечей,
Победой искупил честь родины своей:
То меч Пожарского, спасителя России!!!
Смотри же на него, боярей русских сын,
Смотри, отечества слуга и гражданин!
Благоговей пред ним и помни: чистой славы
И доблести прямой свидетель величавый,
Сей меч нам к родине велит питать любовь,
Служить и делом ей, и словом, и советом!—
Склони главу пред ним и удались с обетом
За Русь не пощадить ни жизнь свою, ни кровь!..

27 августа 1840
Москва

У ОКНА, В ЛУННУЮ НОЧЬ

Dieu a mis en l'homme la passion;
la nature y met la rêverie:
de la passion mêlée a la
reverie naît la poésie.
Victor Hugo*

Светло и ясно там, вокруг дерев шумящих,
Светло и ясно здесь, в чуть дышащей груди;
И чудный лунный свет мирьядой искр блестящих
Рассыпал предо мной все волшебства свои.

Над сердцем дремлющим скрестя лениво руки,
Без мысли думаю, без грез мечтаю я;
Теперь мне кажется, что нет ни слез, ни муки,
Ни треволнения в грядущем для меня.

Мне весело, легко! В покое безмятежном
Я сладко предаюсь воспоминаньям нежным,
Я улыбаюся надежде молодой.

О! боже... точно ли теперь я существую,
Иль сон умчал меня в страну и жизнь иную?..
Ах! если это сон,— пусть он навек со мной!..

30 августа 1840
Москва

---

* Бог дал человеку страсть; природа — мечтательность; из страсти, соединенной с мечтательностью, родилась поэзия.— Виктор Гюго *(фр.)*.

КАК ДОЛЖНЫ ПИСАТЬ ЖЕНЩИНЫ

. . . . de celles
Qui gardent dans leurs douces étincelles,
Qui cachent en marchant la trace de leurs pas,
Qui soupirent dans l'ombre, et que l'on n'éntend pas...
Joseph Delorme*

Как я люблю читать стихи чужие,
В них за развитием мечты певца следить,
То соглашаться с ним, то разбирать, судить
И отрицать его!.. Фантазии живые,
И думы смелые, и знойный пыл страстей —
Все вопрошаю я с внимательным участьем,
Все испытую я; и всей душой моей
Делю восторг певца, дружусь с его несчастьем,
Любовию его люблю и верю ей.
Но женские стихи особенной усладой
Мне привлекательны; но каждый женский стих
Волнует сердце мне, и в море дум моих
Он отражается тоскою и отрадой.
Но только я люблю, чтоб лучших снов своих
Певица робкая вполне не выдавала,
Чтоб имя призрака ее невольных грез,
Чтоб повесть милую любви и сладких слез
Она, стыдливая, таила и скрывала;
Чтоб только изредка и в проблесках она
Умела намекать о чувствах слишком нежных...
Чтобы туманная догадок пелена
Всегда над ропотом сомнений безнадежных,
Всегда над песнию надежды золотой
Вилось таинственно; чтоб эхо страсти томной
Звучало трепетно под ризой мысли скромной;

* О тех, кто хранит в груди нежные искры, кто скрывает следы своих шагов, кто вздыхает в тени и кого не слышно...— Жозеф Делорм *(фр.)*.

Чтоб сердца жар и блеск подернут был золой,
Как лавою волкан; чтоб глубью необъятной
Ее заветная казалась нам мечта;
И как для ней самой, для нас была свята;
Чтоб речь неполная улыбкою понятной,
Слезою теплою дополнена была;
Чтоб внутренний порыв был скован выраженьем,
Чтобы приличие боролось с увлеченьем
И слово каждое чтоб мудрость стерегла.
Да, женская душа должна в тени светиться,
Как в урне мраморной лампады скрытой луч,
Как в сумерки луна сквозь оболочку туч,
И, согревая жизнь, незримая, теплиться.

22 сентября 1840
Москва

ОГОНЬ В СВЕТЛИЦЕ

Дорожная дума

Ах! ты душечка, красная-девица,
Не сиди ты в ночь под окошечком,
Ты не жги свечи воску ярого...

Барон Дельвиг

Дорóгой, ночью, любо мне
Проехать город неизвестный
И при таинственной луне
Окинуть взглядом вид окрестный,
Дома, с их кровлею смешной,
С убранством странным, запоздалым,
И церкви с маковкой златой
В богатстве ныне обветшалом,
И хаты низкие мещан
Архитектуры произвольной,
Где русской лени богом дан
Насущный хлеб да сон привольный.
Но если вдруг передо мной
Вдали блеснет, как луч денницы,
Огонь ночной в окне светлицы,—
Туда я взор вперяю свой
И долго с любопытной думой
Гляжу на светлое окно,
И мне сдается,— вот оно
Сейчас отворится без шума...
И я увижу: там сидит,
Склонившись томной головою,
Над тонкой прядью кружевною,
С румянцем пламенных ланит
И с светло-русою косою
Краса-девица! — И она,
Как незабвенная Светлана,
Под простотою сарафана
Свежа и прелести полна.

И верно, заданным уроком
Спешит бедняжка в поздний час?..
И верно, из прелестных глаз
От скуки, в бденьи одиноком,
Или, быть может, от мечты,
Мечты заветной, сокровенной,
Струятся слезы?.. И смятенно
Она глядит: средь темноты
Не наблюдает ли за нею
Взор строгой матери тайком?
С улыбкой хитрою своею
Не спрятана ли за углом
Ее коварная подруга,
Чтобы подметить, чтоб прочесть
В глазах ее, что в сердце есть
У ней зазноба, что без друга
Она и плачет и грустит?..
Но тихо все!.. Но все молчит!..
Она одна,— и вот уныло
Она запела. Голос милый
И страхом и тоской дрожит;
И сердца нежного волненье,
И сердца томного печаль
Находят в песне утоленье
И с песнью той стремятся в даль.

«Потуши очей сияние...
Погаси огонь ланит...
Тщетно, тщетно упование
Счастье близкое сулит!..

Тщетно смотришь ты в два зеркала
И на картах ворожишь;
Тщетно ходишь по обителям,
И постишься, и грустишь;

Нет, не скоро сны исполнятся,
Сны заветные твои,
И сменятся думы черные
Сладким трепетом любви!

Нет, не скоро рок обрадует
Встречей жданною тебя,
И настанет сердцу бедному
Дней безоблачных заря!..

Но храни в душе терпение,
Верь и жди... Люби и пой!
Знай, есть в небе провидение,
Здесь есть друг... и мир с тобой!..»

28 сентября 1840,
подъезжая к С.-Петербургу

АРАБСКОЕ ПРЕДАНИЕ О РОЗЕ

Le Rossignol était le mieux chantant
des oiseaux, la Rose était la plus belle
des fleurs; et le Rossignol aima la Rose.
Conte Arabe*

Она по-прежнему прекрасна и мила,
Она по-прежнему как роза расцветает,
Ее румяная улыбка весела,
И светлый взор горит, и нас она пленяет!

Она перенесла губительный удар,
Она пережила годину слез и скуки;
В уединении тоски заветной муки
Она лелеяла, как замогильный дар...

Она почившего воспоминаньем чтила...
Она любившего за прошлое любила...
Душевной тризною святила много дней...

И вот по-прежнему всех нас она пленяет,
И вот она опять как роза расцветает...
Но где ж певец ее?.. где он, наш соловей?..

27 октября 1840
Петербург

* Соловей был лучшим певцом среди птиц, Роза была самой красивой среди цветов, и Соловей полюбил Розу.— Арабская сказка *(фр.)*.

ПОТЕРЯННОЕ КОЛЬЦО

T'was bright, t'was heavenly... but't'is past!..
Thomas Moore. Lalla Rookh*

Блестело... искрилось... сияло...
И взорам нравилось оно,—
И вдруг как сон оно пропало,
Бог весть куда занесено!..

Резвяся, фея ль утащила
Его незримою рукой?..
Ворожея ль заговорила?..
Иль спрятал старый домовой?..

Нечистой силы наважденье
Его, быть может, унесло,
В знаменованье и значенье,
Что в будущем грозится зло?

Что также скроется и сгинет
Та, кем кольцо подарено...
Что срок блаженства скоро минет,
И превратится в прах оно?..

Что все, что дорого и мило,
Что все, что светит и горит,
Во мрак ничтожности, в могилу
Судьба безжалостно умчит?..

26 ноября 1840
Петербург

---

* Это было ярко, это было божественно... но это прошло!..— Томас Мур. Лалла Рук *(англ.)*.

БЫЛЫЕ СЛЕЗЫ

Слезы былые, слезы чужие,
В душу вы льетесь жгучею лавой,
В сердце впились вы тайной отравой,
Больно от вас мне, слезы былые!..

След ваш изглажен; даже забыта
Ваша причина — рана живая,
Горькая дума: рана закрыта,—
Думу сменила радость младая!

Я же ревную!.. Страсти порукой
Слезы не льются, мне дорогие...
Вас я купила б пыткой и мукой,
Вас мне завидно, слезы былые!..

5 января 1841
Петербург

Я НЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ РОЖДЕНА!

Mon Dieu, que voulez-vous donc faire de ces âmes de feu, qui se devorent elles-mêmes?..

M-me de Staël. Delphine*

Я не для радости беспечной,
Я не для счастья рождена,
Тоска во мне затаена
Болезнью сердца вековечной!..

Хоть солнце светит надо мной.
Хоть жизнь отрадно улыбнется,—
В душе вопль страха раздается
Как эхо горести былой.

И в час надежд, восторга полный,
И в сладостный блаженства час,
Я мыслю: «Дни текут, как волны,
Утраты день придет для нас!..»

Невольно сердце замирает,
Невольно грудь боязнь теснит,
Мой взор с вопросом вдаль глядит...
Мой ум о будущем гадает...

Как пестрой россыпью цветы
Мелькают в складках черной ткани —
Так, меж сомнений и страданий,
Блестят мне светлые мечты.

И жизнь моя судьбы рукою
Из черных нитей соткана;
С моей тревожною душою
Я не для счастья рождена!..

19 января 1841
Петербург

---

* Боже мой, ну что вы хотите поделать с этими пламенными душами, которые сами себя пожирают?..— Г-жа де Сталь. Дельфина *(фр.)*.

НА ДОРОГУ!

Михаилу Юрьевичу Лермонтову

Tu lascerai ogni cosa diletta
Più caramente.
Dante. Divina Commedia*

Есть длинный, скучный, трудный путь...
К горам ведет он, в край далекий;
Там сердцу в скорби одинокой
Нет где пристать, где отдохнуть!

Там к жизни дикой, к жизни странной
Поэт наш должен привыкать
И песнь и думу забывать
Под шум войны, в тревоге бранной!

Там блеск штыков и звук мечей
Ему заменят вдохновенье,
Любви и света обольщенья
И мирный круг его друзей.

Ему — поклоннику живому
И богомольцу красоты —
Там нет кумира для мечты,
В отраду сердцу молодому!

Ни женский взор, ни женский ум
Его лелеять там не станут;
Без счастья дни его увянут...
Он будет мрачен и угрюм!

Но есть заступница родная
С заслугою преклонных лет,—

---

* Ты бросишь все столь нежно любимое.— Данте. Божественная комедия *(ит.)*.

Она ему конец всех бед
У неба вымолит, рыдая!

Но заняты радушно им
Сердец приязненных желанья,—
И минет срок его изгнанья,
И он вернется невредим!

27 марта 1841
Петербург

ПОТЕРЯННАЯ ВЕСНА

Oh! l'air, des parfums, des fleurs
pour me nourrir!

M-me Desbordes Valmore*

Весна без соловья, весна без вдохновенья,
Весна без ландышей... средь города, в пыли,
В каком несносном заточеньи
Дни длинные твои прошли!..

Как ты скучна была!.. В какой тоске безгласной
Я выжидала срок затвору своему,
Как думой вдаль рвалась напрасно,
Как душную кляла тюрьму!

Как жаждала цветов, и солнца, и простора,
И воли средь степей!.. как старая Москва
Пуста для сердца и для взора!
Как в ней нема я и мертва!..

9 июня 1841
Москва, на Басманной

---

* Ах! воздух, ароматы, цветы, вливающие в меня силы! — Мадам Деборд-Вальмор *(фр.)*.

ОДИНОЧЕСТВО

J'ai besoin de vivre avec ceux que
j'aime et d'aimer ceux avec qui je vis.
X... X...*

Есть одиночество среди уединенья,
Под сводом сумрачным обителей святых:
Там дней рассчитанных заранее все мгновенья
Назначены для служб, молений, дум немых;
Там в мертвой тишине, в посте и послушаньи
Под схимой много лет отшельник проведет;
Но светлый рай вдали, но вера, упованье
Не расстаются с ним,— и ими он живет.

Есть одиночество в глуши степной и дикой,
Но просвещенному уму досужно там,
Вдали сует, молвы и городского крика,
Предаться отдыху, занятиям, мечтам.
Есть одиночество под кровом отдаленным,
Где в полночь скромная лампада зажжена,
Но там ученый труд товарищем бесценным,—
И жизнь мыслителя прекрасна и полна.

Вот одиночество, когда в толпе, средь света,
В гостиных золотых, в тревоге боевой,
Напрасно ищет взор сердечного привета,
Напрасно ждет душа взаимности святой...
Когда вблизи, в глазах, кругом, лишь всё чужие...
Из цепи прерванной отпадшее звено,
Когда один грустит, и далеко другие,
Вот одиночество! Как тягостно оно!

24 июля 1841
Село Анна

* Мне необходимо жить с теми, кого я люблю, и любить тех, с кем я живу.— X... X... *(фр.)*.

НАШИМ БУДУЩИМ ПОЭТАМ

A quoi servent vos vers de flamme et de lumière?
A faire quelque jour reluire vos tombeaux?

M-me Anaïs Ségalas*

Не трогайте ее,— зловещей сей цевницы!..
Она губительна... Она вам смерть дает!..
Как семимужняя библейская вдовица,
На избранных своих она грозу зовет!..
Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,
Но преждевременно, противника рукой —
Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой!..

Есть где-то дерево**, на дальних островах,
За океанами, где вечным зноем пышет
Экватор пламенный, где в вековых лесах,
В растеньях, в воздухе и в бессловесных дышит
Всесильный, острый яд — и горе пришлецу,
Когда под деревом он ищет, утомленный,
И отдых и покой! Сном смерти усыпленный,
Он близок к своему концу...

Он не отторгнется от места рокового,
Не встанет... не уйдет... ему спасенья нет!..
Убийца дерево не выпустит живого
Из-под ветвей своих!.. Так точно, о поэт,
И слава хищная неверным упоеньем
Тебя предательски издалека манит!

* Чему служат ваши стихи, полные пламени и света? Чтобы в один прекрасный день заставить светиться ваши могилы? — Мадам Анаис Сегала *(фр.)*.

** Манцинило, убивающее того, кто заснет под его тенью.— *Примеч. Е. П. Ростопчиной.*

Но ты не соблазнись — беги! Она дарит
Одним кровавым разрушеньем!

Смотри: существенный, торгующий наш век,
Столь положительный, насмешливый, холодный,
Поэзии, певцам и песням их изрек,
Зевая, приговор вражды неблагородной.
Он без внимания к рассказам и мечтам,
Он не сочувствует высоким вдохновеньям,—
Но зависть знает он... и мстит своим гоненьем
Венчанным лавром головам!..

21 августа 1841
Село Анна

ЗАПРЕТНЫЙ КУБОК

...Je veux une jeunesse,—
N'eût-elle qu'un seul jour!!.
Théophile Cautier*

«Не пей!— они сказали,—
Отравлен кубок сей:
В нем радость пеной блещет,—
На дне лежит печаль!..»

«Беги,— они сказали,—
Восторга и мечты!
Восторг — огонь болотный,
Мечта — предатель злой!»

Но я душою смелой
Отвергла их совет,
Влеченью повинуюсь
И предаюсь судьбе.

Пью в кубке заповедном
Волшебную струю,
С восторгом и мечтою
Не разлучаюсь я.

За каплю влаги дивной
Не жалко жизнь отдать...
А жизнь, что̀ нам согреет,
Как не восторг святой?..

Сентябрь 1841
Село Анна

---

* ...Я хочу молодости,— пусть всего лишь на один день!!.— Теофиль Готье (*фр.*).

ДОМАШНИЙ ДРУГ

Joyeux, il chantait toujours.
Charles Nodier, Trilby*

Есть в глуши далекой,
В сельской стороне,—
Словно у царевны
Дедовских времен,—
У меня потешник,
Сказочник-певец.

У царевен тоже
Были завсегда
Карлы выписные
Из заморских стран,
Птицы-щебетуньи
В клетках золотых.

Чем был карло меньше,
Тем дороже он
При дворе ценился;
Птиц любили тех,
Что всех чаще пели,
Летом и зимой.

Мой потешник крошка,—
Хоть и даровой,—
Просто невидимка,
Так он чудно мал.
Даже и с очками
Не сыскать его!

А поет он, бает,
Тешит здесь меня

* Веселый, он все время пел.— Шарль Нодье. Трильби *(фр.)*.

В всякую погоду
И во всякий час;
Он всегда радушен,
Весел, говорлив.

Солнце ли сияет
В красный, вешний день,
В вечер ли осенний
Буря загудит,—
Я знакомый голос
Слышу за углом!

Были-небылицы,
Сказки о чертях,
Сплетни о раздорах
Ведьм и домовых,—
Вот чем зимний вечер
Сокращает он.

Жизнеописанья
Роз и мотыльков,
Свадебные песни
Джиннов, резвых фей,—
Вот что в летний полдень
Мне лепечет он.

Все на свете знает
Постоялец мой;
Знает, как мне вторить,
Чем развлечь меня
В час воспоминанья,
Грусти иль хандры...

Он наперсник верный
Дум и грез моих,

И слезы невольной,
    И мечты святой...
Он свидетель жизни
    И души моей!..

Я к нему привыкла
    И люблю его;
Но у нас на свете
    Всем кто угодит?
Так и он, бедняжка,
    В доме мил не всем...

От врагов домашних,
    От беды и зла
Я ему защитой,
    Берегу его;
В нем примету счастья
    Вижу и храню!

Кто же мой любимец,
    Баловень и друг?..
Ах, смеяться станут,—
    Я боюсь сказать...
Он... кто угадает?..
    Он — простой сверчок!

11 сентября 1841
Село Анна

ПУСТОЙ АЛЬБОМ

Посвящается Софье Николаевне Карамзиной*

...С собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений.
М. Лермонтов

Среди листов, и белых и порожних,
Дареного, заветного альбома
Есть лист один — один лишь носит он
Следы пера, слова и начертанья
Знакомой мне и дружеской руки...
И дорог мне сей лист красноречивый,
И памятен и свят его залог,
Его язык!!! Но где ж, но где ж она,
Та юная, та мощная рука,
Что лишь едва за полгода назад
Дарила мне с пожатьем задушевным
Пустой альбом... что начертала в нем
Прощанья песнь, слитую воедино
С приветной песнию души поэта
Душе-сестре при первой встрече их?..

* * *

Увы!.. Увы!.. Та жаркая рука,—
Она в гробу!.. она навек остыла

---

* Этот альбом был мне подарен *М. Ю. Лермонтовым*, перед отъездом его на Кавказ, в мае 1841 года, стало быть, незадолго перед его смертью. В нем написал он свое стихотворение ко мне: «Я знаю, под одной звездою Мы были с вами рождены».— *Примеч. Е. П. Ростопчиной.*

Там, далеко, под небом беспощадным,
Где столько их увяло и легло,
Блестящих юношей, умов высоких,
Поэтов, на молву не посягнувших,
Неведомых, знакомых лишь немногим!..
Увы!.. Увы!.. Та юная душа,—
Она с землей рассталась против воли,
Она оторвана в пылу страстей,
Во всем ее цветущем вдохновеньи,
От жизни, милой ей, от томных песней,
И от друзей, к кому всегда, везде
Влекло ее желанье и стремленье!..

* * *

Да! Он погиб,— поэт-надёжа наш,
Единый луч на небосклоне русском,
Единая отрадная заря
Меж редкими, закатными звездами,
Меж тех светил, что на конец пути
Сияют нам в просонье утомленном;
Едва горя и скупо грея нас
Поэзии огнем животворящим...
Да! Он погиб, и кто нам заменит,
Кто нам отдаст его из современных,
Из сверстников?.. В чьих песнях мы найдем
Отваги жар, и мысли сильной блеск,
И вопль болезненный, звучащий глухо
Под праздничным, восторженным напевом,
Как тайный стон измученного сердца,
Как вечная, невольная молитва,
След детских лет, священный отголосок
Другой мольбы, всечасно вопиющей
То над его сиротской колыбелью,
То над его воинским изголовьем...

Ах! та мольба, она еще теперь
Над раннею и дальною могилой
Немолчные поминки совершает!..*

* * *

О жаль Его!!. О! трижды жаль Его,—
Как юношу, как друга как поэта!!!
Как юношу: он мало, скоро жил,
И не насытился дарами жизни;
И все рвался вперед, все ждал, искал,
Все спрашивал загадки вечной слова
О счастии земном, о цели сердца,
Столь полного восторга и огня,
Но не ему загадка объяснится...
И может быть, в последний смертный час
Смущенный дух, взволнованная грудь
Снедающим горели любопытством?..

* * *

Как друга жаль Его!!. Он нас любил
Ребячески, невольно, без расчета,
Влекомый к нам сочувствием глубоким,
Доверием прямым и простодушным.
Среди толпы, на балах и в гостиных,
Он понимал отрады просвещенья,
Столичный шум; и чары красоты...
Вниманием прелестных женских глаз,
Улыбкою блестящих фей довольный
И славою младою упоен,—
Он свет любил — и сознавался в том,
Но лишь для нас, лишь в тесном круге нашем

---

* Бабушка поэта, воспитавшая его и служившая ему матерью.— *Примеч. Е. П. Ростопчиной.*

Самим собой, веселым, остроумным,
Мечтательным и искренним он был.
Лишь нам одним он речью, чувства полной,
Передавал всю бешеную повесть
Младых годов, ряд пестрых приключений
Бывалых дней и зреющие думы
Текущия поры... Но лишь меж нас,—
На ужинах заветных, при заре
(В приюте том, где лишь *немногим* рад
Разборчиво-приветливый хозяин),—
Он отдыхал в беседе не притворной,
Он находил свободу и простор,
И кров как будто свой, и быт семейный...
О! живо помню я тот грустный вечер,
Когда его мы вместе провожали,
Когда ему желали дружно мы
Счастливый путь, счастливейший возврат:
Как он тогда предчувствием невольным
Нас испугал! Как нехотя, как скорбно
Прощался он!.. Как верно сердце в нем
Недоброе, тоскуя, предвещало!

* * *

И жаль Его, как соловья весною,
Когда стрелок нещадною рукою
Певца любви рассеянно сразит!..
Как путнику жаль песни недопетой,
Подслушанной украдкой под окном
Красавицы!.. Как в детские года
Нам было жаль вечернего рассказа,
Несконченного нам неумолимой,
Полсонной нянею!.. Как жаль бывает
В семнадцать лет дрожащей внучке Евы,
Когда из рук ее поспешно вырвет

Мать строгая письмо с признаньем робким
Поклонника, неведомого ей!..
Так жаль Его!— так жаль его творений,
Неполных, прерванных, его мечты,
Погасшей с ним, и дум и снов его,
Не вылитых в могущественный стих,
Иль в сладкозвучный гимн, в живое слово
Правдивого на век негодованья!..
Он не успел для юного чела
Собрать, доплесть, скрепить венец лавровый,—
И сей венец... Увы!.. полуготовый
Упал на гроб!!. О! жаль, о! жаль певца.

Ноябрь 1841
Петербург

НЕ СКУЧНО, А ГРУСТНО

Ce n'est pas de ce qui est, que je suis
tourmenté, mais de ce qui aurait pu être.

X... X...*

Есть в жизни дни без солнца, без веселья,
Туманные, как в осень небосклон,
Когда досуг наш грустный посвящен
Раздумию в уединенной келье;

Когда в виду и в мысли цели нет,
И мы не там, где быть бы нам хотелось,
И трауром душа с тоски оделась,
Как свернутый в ненастье вешний цвет.

В такие дни всем встречным развлеченьям
Бесспорно мы мгновенья отдаем;
В такие дни мы для других живем,
Не для себя,— простившись с наслажденьем.

И может быть, увлечены порой
Занятием каким иль разговором,
Мы вкруг себя посмотрим светлым взором,
И в смех друзей мы смех вмешаем свой.

Не скучно нам, не тяготит нас время,
Часы летят... и сердце лишь одно,
Неясною тоскою стеснено,
Не сотряхнет воспоминаний бремя.

Не скучно нам, а грустно!.. Мы таим
Напрасные, немые сожаленья,
И всё вдали рисуют нам виденья,
Что б быть могло, чего не возвратим!..

18 февраля 1842
Петербург

---

* Не тем я мучаюсь, что есть, а тем, что могло бы быть.— X... X... *(фр.)*.

БЛИЗКА ВЕСНА

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви!..

«Онегин»

Близка, близка весна! Все радуется ей,
И птичка в воздухе, и ландыши под снегом,
И волны невские, готовые скорей,
Разбив ледяный гроб, могучим, грозным бегом
Разлиться, вольные... Весна, весна идет!
Усталый труженик от службы, от науки
Урвется зá город; от милой бальной муки
В чужбину, на воды красавица вспорхнет;
И рады, рады все. Но я, я весть разлуки
От солнца вешнего внимаю... Для меня
Вид розы молодой одно напоминанье
Всеобщих сборов в путь, всеобщего прощанья,
Отъезда скучного, томительного дня...
Мне жаль, что рушатся привычки, отношенья,
Весь быт общественный; жаль чайного стола,
Бесед заполночных, с друзьями сообщенья
Ежеминутного!.. Мне жаль, что как виденье
Из теплых жизни зим еще одна прошла!

30 апреля 1842
Петербург

ОТПЛЫВАЮЩИЙ ПАРОХОД

...and fair the light winds blew,
As glad to waft him from his native shore.
Byron*

К дальнему берегу древней, мудрой Германии,— морем,
Славным войной и торговлей в истории мира и страшным
Повестью бурь знаменитых в преданьях старинных и новых,
Завтра, прядая по волнам спокойным, без помощи ветра,
Собственной тайною силой кипя и стремяся, пойдешь ты,
Стройная дива-громада, вымысл и честь пред веками
Нашего века!.. Пойдешь ты, мерно и быстро шагая
Шагом гиганта, не зная препоны ни устали, разве
В недрах твоих невидимо вспыхнет враг лютый — пожар,
И междоусобною бранью огонь на огонь устремится...
Но боже спаси и помилуй от бедствия редкого путь твой!
Ах! без того, отплывая, ты много сердец здесь взволнуешь
Грустной тревожной заботой!.. От Невских брегов горделивых
Много умчишь ты скитальцев и много разлучишь любящих,
Коим вовеки, быть может, не свидеться вновь на земле!..
Кто развлечений, веселья едет искать по Европе,
Кто за здоровьем отправлен, кто по делам увлечен,—
Все они завтра толпою на палубу ступят, прощаясь
С северной нашей столицей, но все ли вернутся опять?..

7 мая 1842
Петербург

---

* ...и прекрасное легкое дыхание ветра, как радостное дуновение с его родного берега.— Байрон *(англ.)*.

ПОДАРЕННЫЙ БУКЕТ

Que j'admirais ces belles fleurs
Quand sa main les avait cueillies!..
Romance de Gonzalve de Cordove*

В день праздника сердца, любимой рукою,
Душистый букет, ты ко мне принесен,
И принят в восторге, с улыбкой, с слезою,
И нежной заботой моей охранен,
Цветешь, украшая приют мой заветный,
Мне теша и чувства, и душу, и взгляд!
Как радуга, листья твои разноцветны,
Как люди, живут они, дышат, дрожат;
И ведают радость, когда их лелеет
Луч солнца златого, и страждут, когда
Их стужа коснется... Но день вечереет,—
А завтра для них разрушенья чреда
Придет роковая!.. Поблекнут... увянут!..
Но прежде, в бессмертной душе, в краткий час,
О! сколько напрасных стремлений устанут!
И сколько надежд отцветут, совершась!..

26 мая 1842 года

* Как я восхищался этими прекрасными цветами, когда ее рука их собирала!..— Романс Гонзальва из Кордовы *(фр.)*.

НА ВЗМОРЬЕ

Das Wasser rauscht'... das Wasser schwoll...
Goethe*

Солнце на небе сияет,
Полдень дышит на земле;
Море блеск их отражает
И к гранитовой скале
Катит волны голубые,
Пену белую несет,
Сыплет искры дорогие,
Токи искр алмазных льет.

Как божественно-прекрасно
Это море в светлый миг!
Как мой ум под негой страстной
Силы тайну в нем постиг!
Как бездонною пучиной
Беспредельный дух прельщен!
Как сребрящейся равниной
Женский взор мой привлечен!

В упоенном созерцаньи,
На граниты опершись,
Я недвижна; все мечтанья,
Все желания слились
С дивной зыбью волн шумящих;
Мнится мне,— они зовут
В грот из раковин блестящих,
В недра мягкие влекут...

Там светло, свежо, привольно!
Там так звонок говор струй!

---

* Вода журчала... вода текла...— Гете *(нем.)*.

Там забота жизни дольной
Прочь,— и сердца не волнуй!
Там раздолье с ленью сладкой
Убаюкают меня,
Может быть, во сне, украдкой,
Брег иной увижу я...

О! завидую Ундинам,
Тайной, чудной жизни их!
Что ж?.. движением единым
Вмиг могу я быть у них...
Море душу соблазнило,
Море голову кружит;
Неизведанное мило,
Незнакомое манит!

Июль 1842
Гельсингфорс

БАЛ НА ФРЕГАТЕ

Командиру и офицерам «Мельпомены»

Oh! Who can tell, save he, whose heart hathtried,
And danced in triumph o'er the waters wide,
The exulting sense,— the pulse's maddening play,
That thrill the wanderer of that trackless way.
B y r o n, the Corsar*

Залива Финского лениво дремлют волны,
Уж вечер догорел, уж чайки улеглись;
Лес, скалы, берега молчаньем томным полны,
И звезды ранние на небесах зажглись.
Здесь северная ночь среди погоды ясной,
Как ночи южные, отрадна и прекрасна
И чудной негою пленительно блестит;
А море синее и плещет и шумит.

Фрегат воинственный, на якоре качаясь,
Средь зѐркальных зыбей красуется царем,
И флаги пестрые, роскошно развеваясь,
Над палубой его сошлись, сплелись шатром.
Он убран, он горит радушными огнями;
Дека унизаны веселыми гостями,
Живая музыка призывно нам гремит;
А море синее и плещет и шумит.

На «Мельпомене» бал!— Наряды дам блистают
Меж эполетами, пред строем моряков,
Их ножки легкие свободно попирают
Жилище бранных смут, опасностей, трудов.
Лафеты креслами им служат; завоеван

* О, кто поймет, кроме того, чье сердце уже испытало это и танцевало, торжествуя, над ширью вод ликующее ощущение — сумасшедшую горячку пульса, которое волнует путешественника на этом пути без дорог.— Б а й р о н. Корсар *(англ.)*.

Без боя весь фрегат,— и, вмиг преобразован,
Не вихрь морской по нем, а быстрый вальс летит;
А море синее и плещет и шумит.

Но женский ум пытлив: по переходам длинным,
По узким лестницам, по декам, по жильям
Попарно бал идет, и Польский тактом чинным
Вдали сопутствует гуляющим четам.
Вот тесных келий ряд вкруг офицерской залы,
Где много жизни лет у каждого пропало,
Где в вечных странствиях далекий свет забыт...
А море синее и плещет и шумит!

Вот в дальней комнате две пушки, и меж ними
Диван, часы и стол: здесь капитан живет,
Один, с заботами и думами своими,
И блага общего ответственность несет.
Здесь суд, закон и власть! Здесь участь подчиненных,
Их жизнь, их смерть, их честь в руках отягощенных,
Владыка на море, он держит и хранит,
И, с ним беседуя, волна под ним шумит.

О! Кто, кто здесь из нас, танцующих беспечно,
Постигнет подвиги и долю моряка?..
Как в одиночестве, без радости сердечной,
Томить его должна по родине тоска!
Как скучны дни его! Как однозвучны годы!
Как он всегда лишен простора и свободы!
Как вечно гибелью в глаза ему грозит
То море синее, что плещет и шумит!..

И здесь на палубе, где мы танцуем ныне,
Здесь был, иль может быть, кровопролитный бой,
Когда, метая гром по трепетной пучине
И сыпля молньями, фрегат летит грозой
На вражеский корабль; и вдруг они сойдутся,

И двух противных сил напоры размахнутся,
И битва жаркая меж ними закипит...
А море синее все плещет и шумит.

И много, может быть, здесь ляжет братьев наших,
И много женских слез вдали прольют по ним!!.
Танцуйте!.. Радуйтесь!.. Но я в забавах ваших
Уж не участница!.. К картинам роковым
Воображение влекло меня невольно,
И содрогнулась мысль, и сердцу стало больно...
С участьем горестным мой взор на все глядит,—
А море синее и плещет и шумит!

Гельсингфорс, в память праздника на море,
в субботу 20 июля 1842

IN-PACE*

И скрыта заживо под спуд,
И ждет ее кровавый суд.

Жуковский

Нет, мне не жаль ее — похороненной девы,
Обряда строгого сей жертвы роковой,
Зарытой заживо в склеп тесный и сырой,
Под шум анафемы, церковного напева,
И гул колоколов, и крик толпы густой...
Нет, мне не жаль ее! Не в скорби одинокой,
С участником вины сюда сошла она,
И над главами их как выросла стена,
Ей гроба ужасы, темницы мрак глубокий
Он верно озарил присутствием своим!
Для них уж не было разлуки, расставанья,
Для них последнее, недолгое прощанье
Лишь было переход к *«селениям иным»*,
К пределам вечности!.. Там бог судил — не люди,
И мука перед ним грех выкупить могла...
И слабость, может быть, прощение нашла...
Пусть строг был приговор немилосердных судий,
Пусть карою небес был назван их закон,
Пусть фарисейский сонм на падших бросил камень,—
Тем легче грешникам: они преступный пламень
В слезах раскаяньем омыли, и смягчен
Надеждой вечною был их предсмертный стон!
Легенде древних лет без ужаса внимая,
Я жалость спутников вотще хочу делить,—
«Не страшно умереть, а страшно пережить!» —
Мне говорит душа, и смолкла я, мечтая...

30 августа 1842
Катеринталь

---

* В миру (*лат.*).

АНДРЕ ШЕНЬЕ

> Comme un dernier rayon, comme un dernier sourire
> Anime la fin d'un beau jour,
> Au pied de l'échafaud j'essaye encore ma lyre,
> Peut-être est-ce bientôt mon tour?..
>
> André Chénier, le jour de sa mort,
> 7 Thermidor 1794*

Есть имя — от него издавна сердце билось,
Когда ребенком я несведущим была,
Однажды, меж больших, речь грустная зашла
Об юном узнике; я в страхе притаилась,
Вникала всей душой в несвязный их рассказ,
Столь темный для меня, жилицы новой света,—
Была растрогана страданьями поэта,
Темницей, смертию... Рекой из детских глаз
Впервые полились возвышенные слезы...
Я только поняла, что мученик младой,
Невинен и велик, пал гордо под враждой,
Презрев гонителей, их злобу и угрозы...
Я только поняла, что он прекрасен был,
Что плакали о нем, что страстно он любил...
И возгорелося мое воображенье,
И в память свежую он врезался навек,
И для мечты моей он был не человек,
А идеал, герой, предмет благоговенья!

Потом,— уж в девушку ребенок превращался,—
Стихов его при мне читали невзначай
Отрывки беглые, и мнилось, светлый рай,
Давно обещанный, передо мною разверзался!..

---

* Как последний луч, как последняя улыбка одухотворяет конец прекрасного дня, у подножия эшафота я вновь трогаю мою лиру, возможно, скоро мой черед?..— Андре Шенье. В день своей смерти, 7 термидора 1794 *(фр.)*.

Волшебно-сладостной гармонией его
Пленялся юный слух; весь жар, весь пыл кипучий
Его высоких чувств и мысли блеск могучий
Легко открыли путь до сердца моего,
Легко ответное в нем эхо пробудили.
Но скоро чтение и чад мой прекратили,
Напрасно раздразнив мой любопытный ум...
И тщетно, жаждущий, он рвался утолиться,
Дослышать чудные напевы, допроситься
Ключа к понятию певца тревожных дум,—
Мне книги не дали!..

Годов поток бежал,
Срок минул наконец завистливых запретов,
Шенье любимец мой меж всех других поэтов,
Меж прежних, нынешних!.. Сужденью он сдержал,
Что́ нетерпению, догадкам обещал!
Предубеждение в пристрастье превратилось.
Его судьбы, любви пленительный рассказ,
Как друга исповедь читая много раз,
Я с чувствами его и с мыслями сдружилась.
Камиллы ветреной измены я кляну,
И верность *Авеля* приемлю с умиленьем,
Как будто бы он мне был верен! С восхищеньем
Мечту моей души нашла я не одну
В мечтах восторженных ленивца молодого.
Да! я люблю его как брата дорогого,
О ком бы мать в слезах рассказывала мне,
Чтоб с памятью его, в сердечной глубине
Моей, сокрыть навек заветные преданья!
Да, я люблю его, как будто б мы должны
С ним где-то встретиться, и оба суждены
На дружбу долгую!.. Его существованье
Неиссякаемый предмет моей мечты.
Так молод!.. так хорош!.. Так жизнь и мир любивший,
Он утро дней воспел, до полдня не доживши!..

Он с древа жизни снял лишь ранние цветы!..
Он чувствовал в себе избыток свежей силы,
Невысказанных дум, священного огня,
Звал славу как венец трудов и бытия...
А слава лишь ему блеснула за могилой!!.

Октябрь 1842
Село Анна

«ОНА ВСЕ ДУМАЕТ!»

Plus rêver que penser!
Devise de femme*

«Она все думает!» — так говорят о мне,
И важной мудрости, приличной седине,
Хотят от головы моей черноволосой...
«Она все думает!» — Неправда! Разум мой
Не увлекается мышления тщетой,
Не углубляется в всемирные вопросы.

Нет, я не думаю,— *мечтаю!*.. Жизнь моя,
Заботы, помыслы тревожные тая,
Для беспристрастных дум досуга не имеет.
В слезах ли... в радости ль... собою занята,
Я знаю лишь себя,— и верная мечта
Лишь сердцу милое ласкает и лелеет.

Нет, я не думаю! я грежу наяву,
Воспоминаньями, догадками живу,
О завтра, о вчера в бессменном попеченьи.
Пока, волнуяся, душа моя кипит,
Пока надежда мне так сладко говорит,
Я думать не хочу!.. Зачем мне размышленья?..

Что дума?— Суд... расчет... внимательный разбор
Того, что чуждо нам... духовный, вещий взор...
Крыло, влекущее в пространство разум смелый...
Придет для дум пора в разуверенья дни,
Когда рассеются как прах мечты мои
Пред строгой правдою, пред хладом жизни зрелой!..

Ноябрь 1842
Дорогою

---

* Больше мечтать, чем думать! — Девиз женщины *(фр.)*.

В АЛЬБОМ СОФЬЕ Н<ИКОЛАЕВН>Е КАРАМЗИНОЙ

Que j'aime le coeur des gens d'esprit!
Alphonse Karr*

Что́ в милой женщине милее и дороже,
Ум или сердце?.. Что сильнее к ней влечет,
И рай вокруг нее ей близким создает,
И вечно ново в ней, хоть все несменно тоже?

Блестящий ум живит, одушевляет свет
И превращает в песнь шум жизни однозвучной;
А сердце нежное, с любовью неразлучно,
В терновый наш венец вплетает чувства цвет.

И оба любы нам, и оба ей пристали,
Созданья полного условия они:
Нам нужен светлый ум в златые счастья дни,
А к сердцу прибегать мы будем в дни печали!

Петербург
Апрель 1843

* Как я люблю сердца людей умных! — Альфонс Карр *(фр.)*.



Посвящается К. П. И. М.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Письмо к издателю журнала от г-на N. N.

Я получил недавно письмо от сестры моей, живущей постоянно в деревне, и при этом письме находились листки, исписанные бегло и беспорядочно мелким шрифтом, очевидно принадлежащим женской руке. Листки содержат отрывки в стихах и стихотворенья, по-видимому набросанные в разное время, без цели, но связанные вместе тесною нитью, развитием одной и той же мысли, или лучше сказать, одного и того же чувства. Это нечто в роде дневника; минутные порывы мечты, радости, молитвы, горя; полуясные, полутемные намеки на тайные, задушевные события, которых нельзя отгадать вполне, но предчувствовать можно и должно всякому, знающему хоть немного женское сердце,— эту странную смесь всего глубокого и святого со всем неуловимо-легким и мелко-суетливым, смесь любви, самоотверженья, пылкости, бессилья, восторга и боязни, надежды и страданья... Видно, что много всего того пребывало в душе и груди той, чья неведомая рука начертала отрывистые строфы чудной поэмы страсти. Видно, что бедное созданье долго и пламенно боролось против тысячевидных препон судьбы и света, то унывало в удушливых объятиях железной, непоколебимой существенности, то снова, на крыльях воображенья, желанья и упованья, улетало мгновенно из предела земных невозможностей, чтобы отдохнуть на

просторе в заоблачном мире исполненных желаний и совершающихся снов... (Я слыхал, что женщины охотно совершают такие прогулки, на которые у них много лишнего времени и лишних сил, неупотребленных заботами положительной жизни и полезных занятий.) Но главное для меня, видно по всему, натура страстная, сильная и в высшей степени искренняя. Эта женщина умела любить, страдать, зато умела и понимать бесконечное чрез откровение преходящих, но бессмертных минут жизни... Видно, что каждое, даже не значащее прозаическое событие ежедневной жизни отпечатлевалось на ней поэтическим пламенным следом, что сердце ее, созданное для высоких и пылких ощущений, принимало впечатления разных явлений жизни чрез призму собственного животворящего луча. Нужно ли более, чтоб возбудить в нас участие к неведомому, но по искренности чувств своих замечательному существу?.. Меня увлекло оно всей прелестью загадки и таинственности, признаюсь, я почувствовал сильное сочувствие к незнакомке. Полагаю, что и другие, подобно мне, найдут источник приятного ощущения в прилагаемых здесь страницах; полагаю, что некоторые читатели и в особенности многие читательницы будут заинтересованы новым, небывалым явлением,— женскими стихами без имени и подписи, без всякого притязанья на авторитет или известность. Вот почему, Милостивый Государь, я предаю известности бумаги неизвестной вместе с письмом моей сестры. Кажется, я не нарушу никакой тайны, не потревожу ничьей щекотливости: должно думать, что никто в целом мире не интересовался и не дорожил этими стихами, иначе они не попали бы в мои руки. В оправдание свое предлагаю письмо моей сестры.

«Пишу тебе, любезный брат, под влиянием грустного события, опечалившего и поразившего весь наш околоток. Недавно в нашем губернском городе продавали с аукциона меблированный дом овдовевшего помещика З..., который не хотел более обитать в том городе после смерти молодой, прекрасной жены, служившей украшением его дому и всему нашему обществу. Мы все знали покойную З..., мы все ее любили;

она была простодушна, приветлива, снисходительна, никому не завидовала, никого не старалась порочить или унижать,— что и у нас в провинции столь же редко теперь видно в женщинах, как и у вас, я думаю. По временам мы видали ее веселою и беззаботною; она выезжала охотно, наряжалась и танцевала, как и все мы грешные. Но если, бывало, застанешь ее дома, врасплох, то найдешь ее всегда унылою и бледною, и сквозь все ее старанья казаться спокойною мелькало какое-то грустное волненье, какая-то сердечная, томительная тревога, которой мы себе объяснить не умели. Говорили, правда, что у нее какое-то горе, прежняя любовь, рассказывали, что она когда-то была помолвлена и дело разошлось, что потом она встретилась с прежним женихом, и что любовь их возобновилась и продолжалась несколько лет... Говорили, что ее убивает горе разлуки... Да кто же бы этому поверил при ее роскоши и довольстве?.. какое горе устоит против таких всеуцеляющих лекарств?.. Покойная З... была очень образованна, получала иностранные книги, выписывала журналы, но никогда никто и не подозревал ее в стихотворстве, писательстве или чем-нибудь подобном. И говорить-то она была не мастерица, все больше молчала... Каково же было наше изумление, когда при переторжке вещей, ей принадлежавших, наш богатый откупщик В..., приобретший ее письменный стол, стоявший всегда в ее спальне, весь покрытый свежими цветами и разными безделками, вовсе не принадлежащими au dur métier de bas bleu* (извини употребление технического слова, которого перевести никак не умею!), когда, говорю, наш откупщик открыл в том столе секретный ящик, из которого вывалились листки, исписанные покойницей и содержащие... кто бы мог подумать?!. стихи, да, стихи! никому не известные, нигде не напечатанные и не читанные, и которые, по всем заключениям, сочинены самою покойницею?.. Мы все были тут,— Предводительница, Прокурорша, Советница, исключая Ее Превосходительство, которым натурально, по их высокому

* тяжелой профессии синего чулка (*фр.*).

губернаторскому званию, и неприлично показываться на аукционах, но которые изволили прислать своего дворецкого, чтобы купили им бархатное кресло, выписанное мужем З... для дня именин ее из Петербурга, от самого знаменитого Гамбса. Все бросились к владельцу неожиданной находки, все стали вырывать из рук его легкие бумажки, окаймленные золотом и живописью, стали разбирать, читать, декламировать... Посыпались догадки, толки, рассуждения, удивленья... говорили, кричали, шумели, да и разошлись, чтоб поехать по разным сторонам города и развозить чудную новость. Так как я довольно коротко знакома с женою откупщика, да и была очень дружна с бедною, милою З..., то мне доверили и даже подарили ее бумаги. Я наплакалась вдоволь, читая и перечитывая их. То-то была душа!— как она чувствовала, как она писала, а никто из нас и не подозревал того! Мы считали ее добренькой, да находили, что никто лучше ее не варил вишен с ванилью... Подлинно же правду говорит пословица: «в земле своей никто пророком не бывал, да еще, qu'il n'y a point de héros pour son valet de chambre»*. Не знаю, так ли я сужу, но мне кажется, что тут скрывается истинный талант, и что стихи нашей деревенской, скромной, таинственной писательницы могут вынести сравнение со стихами всех наших и чужестранных пишущих дам, не исключая г-жи Деборд-Вальмор, от которой все мы так плакали в свою молодость, и после которой уж никто не умел изобразить женское сердце. Прочитай мою присылку, милый брат, и прошу тебя, напиши мне откровенно и отчетливо твое мнение. Ты умен и чувствителен и недаром у нас в семье слывешь за доку, объясни мне глубокое впечатление, произведенное на мое сердце и ум мой этою рукописью, единственным отголоском прекрасной души, замолкшей, не высказавшись здесь никому. Прощай! обнимаю тебя; мы все здоровы, только нет ни мороза, ни санного пути, что нам по хозяйству крайне неудобно и неприятно.

Сего ноября 9-го 1847 года, деревни Михайловки, Пензенской губернии, Чембарского уезда».

* что нет героев перед своим камердинером (*фр.*).

I

РАЗДЕЛ

Я весела средь говора и смеха
В живом кругу знакомых и друзей;
Я весела... и светского успеха
Отраден блеск для гордости моей.

Но в тайный час мечты уединенной,
В раздумья час, в домашней тишине,
И страх и скорбь встают в душе смятенной,
И скорый путь на ум приходит мне...

Улыбки им — всем чуждым, проходящим,
Им всем, красно иль сладко говорящим,—
Улыбки им,— в отплату и ответ!..

Но для тебя, о сердца сон священный,
Но для тебя, мой спутник неизменный,—
Моя слеза — глубоких чувств завет!..

II

ТЕБЕ ОДНОМУ

Нет, не тогда бываю я счастлива,
Когда наряд, и ленты, и цветы
Блестят на мне, и свежестью красивой
Зажгут в тебе влюбленные мечты.

И не тогда, как об руку с тобою,
Увлечена разгулом молодым,
Припав к тебе вскруженной головою,—
Мы проскользнуть сквозь вальса вихрь спешим.

И не тогда, как оба мы беспечны,
Когда наш смех, наш длинный разговор
Оживлены веселостью сердечной,
И радостно горит наш светлый взор.

Счастлива я, когда рукою нежной
Я обовьюсь вкруг головы твоей,
И ты ко мне прислонишься небрежно,
И мы молчим, не разводя очей...

Счастлива я, когда любви высокой
Святую скорбь вдвоем почуем мы,
И думаем о вечности далекой,
И ждем ее, взамен житейской тьмы!..

Счастлива я наедине с тобою,
Когда забудем мы весь мир земной,—
Хранимые свободной тишиною
И заняты, ты мной, а я тобой!..

Счастлива я в часы благоговенья,
Когда, полна блаженства моего,
Я *о тебе* молюся провиденью
И *за тебя* благодарю его!..

III

НЕ ДЛЯ ТЕБЯ, ТАК ДЛЯ КОГО ЖЕ?..

Не для тебя, так для кого же
Наряды новые и свежие цветы,
Желанье нравиться, быть лучше и пригоже,
И сборы бальные, и бальные мечты?..

Не для тебя, так для кого же
И смоль блестящая рассыпанных кудрей?..

Зачем, как любишь ты, на мягкий шелк похожи
Завьются кольца их не под рукой твоей?..

Не для тебя, так для кого же
И вырезной рукав, и золотой браслет
На тех плечах, руках, что втайне носят тоже
И нежных ласк твоих и поцелуев след?..

Не для тебя, так для кого же
Я упоительный, мятежный вальс люблю
И меж младых подруг, душою всех моложе,
В безумной быстроте соперниц не терплю?..

Не для тебя, так для кого же
Успехи светские, вся лесть, вся сладость их?..
Что свет мне без тебя?.. Мне без тебя на что же
Вниманье, похвалы и взоры всех других?..

IV

ПОСЛЕ БАЛА

Бывало, плакала я в освещенных залах,
И я одна была на многолюдных балах...
Под цепью радужной алмазов дорогих,
Под розовым венком, бледна и молчалива,—
Дрожа,— таила я волненье чувств своих,
Отчаянье тоски ревнивой...

Я встречи радостной как казни избегала...
От цели дум моих я взоры отвращала,
Не смела танцевать, не смела говорить...
И вместо сладких снов, воспоминаний нежных,
Домой спешила я, в тиши и мраке скрыть
Борьбу души, ток слез мятежных...

Теперь!.. О! как светло под солнцем упованья!
Как бала блеск и шум полны очарованья!..
Теперь, легка, горда, улыбку и привет
На сладостный обмен без робости несу я;
И смысл в нарядах есть, и мне не страшен свет...
И не толпой в толпе живу я!..

V

ПОСЛЕ ДРУГОГО БАЛА

Мне бросят ли нежнее взгляд,
Улыбку лишнюю ль дарят,—
Счастлива я,— и сердце бьется
Легко, отрадно, все смеется
Во мне самой, вокруг меня;
Мечта свободнее моя,
Яснее взор, наряд милее,
И косы мягкие чернее,
И рада жизни молодой,
Благословляю жребий свой...

Но если смотрят на меня
Без увлеченья, если я
Привет рассеянный лишь встречу
Или восторга не замечу
В любимых взорах и речах,—
Тогда, тогда тоска и страх
Мне сердце слабое волнуют,
Сомненья мир преобразуют,
И день в слезах и ночь без сна
Я провожу, забот полна...

VI

ОЖИДАЯ ЕГО...

Зимний вечер на исходе,
Скоро полночь прозвучит,—
Все покой и тишь в природе,
Божий мир молчит и спит.
Но зато наш суетливый
Мир житейский, мир страстей
Ожил жизнию гульливой
И вольней и веселей.
В эту пору все стремится,
Едет, скачет и бежит,
Все о чем-то суетится,
И куда-то все спешит.
Кто на бал, а кто уж с бала;
Кто доволен, кто угрюм;
Никогда ты не слыхала,
Мать Нева, подобный шум!..
Богачам увеселенья
Предлагает пышный свет;
Есть и бедным наслажденье:
Теплый угол и привет!..
На условное свиданье
Пусть торопится иной,—
От любви, от ожиданья
Сердце бьется у другой...
Но меж всех,— скажу я смело,—
Сердца нет ни одного,
Чтоб любило, чтоб горело,
Билось больше моего!..

VII

ВМЕСТО УПРЕКА

Когда недавней старины
Мы переписку разбираем,
И удивления полны —
Так много страсти в ней читаем,
Так много чувства и тоски
В разлуке, столько слез страданья,
Молитв и просьб о дне свиданья,—
Мы в изумленьи: далеки
Те дни, те чувства!.. Холод света
Отравою дохнул на них!..
Его насмешек и навета,
Речей завистливых и злых
Рассудок подкрепил влиянье;
Разочаровано одно
Из двух сердец... Ему смешно
Любви недавней излиянье!..
Не узнает теперь оно
Ни слов своих, ни упований,
И утомленное борьбой,
Лишь ловит с жалостью немой
Забытый след воспоминаний...
Прочь, письма, прочь! Прошла она.
Пора восторга молодого.
Меж нас расчета рокового
Наука грозная слышна...
Прочь, память прежнего!.. Бессильна,
Докучна ты, как плач могильный
Вблизи пиров ушам гостей!..
Блаженства нежного скрижали,
Глашатаи минувших дней,
Простите!.. Вы нам чужды стали!..

Нам грех вас холодно читать,
Мы вас не можем понимать:
Иль вы, иль мы,— то богу знать,—
Вдруг устарели и отстали...

VIII

ЗАЧЕМ НАС ГОНЯТ ЛЮДИ

Завидно им, поверь, что счастливы мы оба,
Друг другу преданы, что их бессильна злоба,
Что ни поссорить нас, ни даже разлучить
Не удалося им, что нас нельзя прельстить
Блестящей мишурой тревожной жизни светской...
Что нет тщеславия, нет суетности детской
В сердцах, очищенных любовию святой!..
Ни прока им от нас, ни пользы никакой:
Мы не участвуем в их мелких треволненьях,
В их сплетнях, в их враждах, в их ложных примиреньях,
Не ищем в обществе, на людных вечерах,
Успехов и побед... Нам надоели страх,
Наряды, выезды, притворство, принужденье,
И мы, создав себе вдвоем уединенье —
Недосягаемый докучным уголок,—
Сокрылись в нем от всех!.. И наш приют далек
От шума внешнего, от толков суетливых,
Смиренномудрых дам, зоилов злоречивых...
В эдем наш знают путь один лишь друг иль два...
Так как же пощадит нас светская молва?..
Ты ровно в два часа по Невскому не ходишь,
На львиц и полульвиц лорнета не наводишь,
Ты за каретами и за санями их
Не мчишься, чтоб взглянуть украдкою на них...
У модной красоты тебя не видят в ложе,
Подобострастного, бессменно настороже,
Чтоб слово или взор кокетки уловить,

Ей шаль подать, флакон иль веер ей вручить...
Нет! Ты избавился от этой глупой роли!
А я,— меня уж бал не привлекает боле,
Меня наш высший свет не тешит, не манит!
Я отказалася от свиты волокит,
От робких новичков, от старых дипломатов,
Туземных, выписных, военных, статских фатов.
Моя гостиная уж не открыта им,
Не служит поприщем их сшибкам боевым,
Меж коих мир блюсти хозяйская забота...
Нет! я как от чумы спасаюсь от зевоты,
Во мне рождаемой бессвязной болтовней,
И пустословием, и пошлостью людской...
Безумно тратить жизнь и ум для скуки праздной!
С толпой, что общего у нас?.. и вкусы разны,
И мненья не одни... Идя своим путем,
Мы с нею разошлись, и в счастии своем
Нашли замен всему... Не просим мы от бога
Ни злата, ни чинов, ни благ житейских много!
Богатство наше в нас и в жизни молодой,
В чистосердечии, взаимности святой!
Наш праздник — тихий день, спокойно проведенный;
Наш мир — поэзия; в беседе оживленной,
За умной книгою, под звуки фортепьян
Вдвоем мы счастливы; какой-нибудь роман
Важнее света нам и больше нас волнует...
Так вот за что, мой друг, свет этот негодует,
И нас преследует, и жалит, и язвит,
И подлой клеветой обоих нас чернит.
Не оскорбляйся, друг, не уступи гоненью
И победить себя не дай предубежденью,
Будь тверд, не унывай, возьми пример с меня:
Смотри, тверда, сильна, невозмутима я!..
Пред бедной женщиной, созданием ничтожным,
Легко волнуемым, и страстным, и тревожным,
Себя мужчиною обязан ты явить,

Великодушней ты, смелее должен быть!..
Не слушай толк людской и вражьи пересуды!..
Пусть люди против нас,— сам бог за нас покуда!..

IX

ТРИЛОГИЯ

Небо синее, высокая трава горит цветами, лес звучит соловьями, которые из-за густой и пышной зелени дубов и платанов весело приветствуют весну... Как не любить Италии?..

Письмо из Рима, 14/26 мая 1837 г.
Х... Х...

I

Была весна. Под бархатистым сводом
Небес Италии природа расцвела
И нежилась. Полуденным народам
Не в диво блеск весны, но привела
Судьба на светлый праздник мимоходом
Младого путника: ему была
Неведома таинственная сила
Такой весны,— и все его манило,
Все тешило, всем восхищался он,
Восторженный и пылкий, с сердцем новым,
С душой могучею. Он был рожден
Далёко, там, на Севере суровом,
Наукою, поэзией вскормлен,
Любил изящное, пером и словом
Владеть умел, дух гордый слился в нем
С блестящим, образованным умом.

И так он чудным краем любовался,
Душистый ветра поцелуй вдыхал,
Под лаврами в былое увлекался,
О будущем, волнуемый, мечтал...

И наступала ночь, и раздавался
Вдруг голос соловья, и он внимал,
Трепещущий и томный, песни страстной
И находил, что жизнь и мир прекрасны!

Влюблен еще он не был, хоть порой
То личико, то ножка, то улыбка
В нем зажигали кровь,— но час-другой —
Он сознавал безгрешную ошибку,
Смеялся ей, остывши... Над главой
Мечтателя воздушно, бегло, шибко
Носились сны, разбросанные им
(И без конца), по мрежам путевым...

В досужный миг тянулись вереницей
Из роз и мотыльков в глазах его
Забытые им жены и девицы...
Но образа меж них ни одного
Не вызывал он! В тайную божницу
Высоких чувств — в храм сердца своего
Не допускал он легких привидений;
Он ждал!.. ждал новых, лучших впечатлений!..

Он не любил еще... но понимал,
Что есть любовь, как много в ней святого;
И потому он всей душой внимал
Напеву соловья, его родного
Томленья и призыва постигал
Сокрытый смысл... у путника младого
В груди запел тревожный, вещий глас:
«Когда ж?.. и где?.. Придет ли счастья час?..»

Младых надежд знакомое волненье,
Истома страстной сердца пустоты
Проснулись в нем. Предчувствия, виденья
Мелькают, веют сквозь туман мечты...

Он вслушивался в сладостное пенье,
И в светлый миг душевной полноты
Он восклицал: «Певец надежды милой,
Как много песнь твоя мне посулила!..»

II

Была опять весна... И миновало
Лет несколько с тех пор... В родном краю
Он был тогда, и не один! Настала,
Пришла ему пора сказать: «Люблю»,
Осуществить своей мечты бывалой
Любимый сон, и жизнь и страсть свою
Слить с жизнию другой и с страстью нежной,
И счастия узнать весь пыл мятежный...

Судьба, ему покорная, дала
Ему в удел простор уединенья
И тишину пустынного села,
Вдали людей, их вечного волненья,
Их злоязычия... Судьба была
С природой заодно, чтоб наслажденья
Он все имел,— и чары майских дней,
И солнце днем, и ночью соловей...

В полночный час, трепещущей рукою
Беззвучно он с дверей снимал затвор,
Шел, окружен предательскою мглою,
То шаг смирял, то напрягал свой взор,
И чуть дыша, к заветному покою
Он приходил... Но тайный разговор
Любовников стих робкий не опишет!..
Одни вдвоем! Пусть только бог их слышит!..

Кругом молчало все. Лишь соловьи
Бессчетные в лесу перекликались,

Сливали трели звонкие свои,
Раскатами протяжно заливались.
Все радости, все нежности любви
Так сильно в этих звуках выражались!
Им внемля, он шептал с улыбкой ей:
«Певец любви и счастья соловей!..»

III

И вновь когда-нибудь весна настанет...
И будет он по-прежнему один
Или *с другими*... Светский круг заманит
Его весельем, важный гражданин,
Блюстителем он пользы общей станет;
Иль будет просто мирный семьянин,
Обычаю и опыту послушный,
К мечтам тревожно-сладким равнодушный...

Но где бы ни был он,— наедине,
В семье, с людьми,— лишь только час полночный
Дня майского пробьет и в тишине
Подъемлет соловей свой гимн урочный,—
Вдруг сердце в нем забьется и во сне
Откликнется былому, и заочно
С подругою минувших счастья дней
Поделится он думою своей.

Он вспомнит все: заветное свиданье,
Далекий край, давнишнюю любовь,
Двухлетних, тщетных слез ее признанье
И тайну слез, пролитых ею вновь
От радости, при нем... В чаду мечтанья
Заблещет взор его, зажжется кровь...
И скажет он: «Певец воспоминанья,
Твой страстный гимн ее ли завещанье?..»

X

ПРОСТИ!

Прости!.. Разлукою невольной
Союз свой вольный разрешим!..
Как ни мучительно, ни больно
Расстаться с счастьем нам своим,—
Мы жертвовать должны собою!..
Давно наперекор судьбе
Стоим мы об руку с тобою
С предубеждением в борьбе!..
Но рок сильнее нас, но богу
Угодно так!.. Порознь идти
Должны теперь мы в путь-дорогу...
Ударил час!.. Прости! прости!..

Прости!.. Тревожно было счастье
И дорого досталось нам!..
Мы пили в чаше сладострастья
Восторги с горем пополам...
Все было против нас — и мненья,
И люди!.. Свет нас проклинал,
Обоих в пытке искушенья
То волновал, то соблазнял...
Но с честью вышли мы из битвы
И свято вынесли любовь!
И об одном мои молитвы,—
Чтоб бог привел сойтись нам вновь!..

Прости!.. Любовь не охладела,
Не вымерла у нас в сердцах,
И вечно б в нас она горела
И на земле и в небесах!..
Привычка цепью дорогою
Нас незаметно обвила;

Одна душа у нас с тобою,
Одна лишь жизнь для двух была!
Боязнь, надежда, ожиданье —
Все было общее у нас;
Сближало нас воспоминанье
И каждый день и каждый час.

И что ж?.. Под приговором тайным
Мы нынче голову склоня,
Простимся, спутником случайным
Отстанешь вдруг ты от меня!..
В чужбину, странницей печальной
Пойду я с плачем и тоской,—
А ты?.. а ты, в столице дальной
Один очнешься... Бог с тобой!..
Будь тверд, спокоен!.. Полный силы,
Меня на путь перекрести!..
О милый друг!.. о друг мой милый,
Прости!.. Но не навек прости!

XI

ПРИ СВИДАНЬИ

Я здесь опять... Я здесь с тобою снова...
Тяжелый сон разлуки миновал,
Судьба побеждена, и приговор суровый
Наш добрый гений разорвал!

Не еду я в безвестную чужбину,
Я не прощусь с страной своей родной,
Друзей, семью, тебя я не покину,
Мы не расстанемся с тобой!..

Я остаюсь,— утешься!.. Будь что будет,—
Я не уйду от участи своей!..

Бог милостив!.. Меня он не забудет,
Будь он за нас, я не боюсь людей!..

И до грозы, пусть идут дни за днями,
По-прежнему беспечно заживем
И станем жизнь считать блаженными часами,
Всегда одни, всегда вдвоем!..

XII

НОВОСЕЛЬЕ

Послушай,— живо помню это,—
Издалека везли меня,
И, убаюкана каретой,
Забылась сладкой дремой я.
Уж было за полночь, с дороги
Устав и телом и душой,
Вдруг слышу я, полна тревоги:
«Вот дом!.. приехали домой!»
Домой?!. Гляжу... здесь все так ново,
Все так мне дико в доме том...
И я жалеть была готова
О скромном уголке моем.
Где ты, таинственная келья,
Приют поэзии святой?..
Нет! Мне не любо новоселье
С убранством роскоши пустой!..
Боюсь, чтоб эти позолоты
Не испугали милых грез;
Где золото, там и заботы,
И часто много льется слез!..
Боюсь, чтоб мир и негу счастья
Не заменил удел другой...
Мне горе — смерть!.. Вся пыл и страсть я,
Я не снесу борьбы с судьбой!..

Мне воля — жизнь, дышу любовью,
Я жизни не хочу иной,
Иль к гробовому изголовью
Прильну свободной головой!..
Нет, не хочу я перемены
Ни в ком, ни в чем и никогда...
И пусть услышат эти стены
Обет мой: «Нынче и всегда!..»
В самосознаньи гордой силы
Над детским страхом посмеясь,
Я ободрилась — и ступила
Через порог, перекрестясь.

XIII

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Нынче солнце так светло, так ясно
В бирюзовом эфире горит,
Зимний день улыбнулся прекрасно,
Словно летом лучистым глядит.

Ночью сон добровещий мне снился,
На сегодня он радость сулил,
Добрый ангел мой мне появился,
Милый призрак меня посетил...

А по утру я только проснулась,
Дорогое письмо принесли...
Я губами к нему прикоснулась,
Слезы счастья из глаз потекли...

Сладким сердце забилось волненьем,
И письмо задрожало в руках...
Долго, долго я медлила чтеньем...
Чтó найду я в заветных словах?..

Прочитала!.. Хвала тебе, боже!..
(То мой первый был сердца порыв!)
«Пусть всегда и вовек будет то же!» —
Прошептала я, руки сложив.

Что мне пишут, того не скажу я,—
В душу друга запали слова,
И нежней и живее люблю я,
Сердце полно, легка голова!..

В ожиданьи желаемой встречи
Новой жизнью спешу я дохнуть,
И мечты, упоенья предтечи,
Мне волнуют заранее грудь.

Знаю, день нынче будет счастливый,
И я кончу его не одна!..
Все смотрю на часы торопливо,
Все гляжу в синю даль из окна!..

XIV

МОЛВА

Не верь им, друг мой!.. Люди, люди!..
Вы вечно, всюду таковы!..
Всегда непрошеные судьи,
Во имя суетной молвы,
Во имя общества и мненья,
Теснитесь вы меж двух сердец,
Как будто нужен для спасенья
Вам страстной их любви конец!..

Вам счастье ближнего завидно,
Чужая радость в тягость вам,—
И вот с насмешкою обидной,

С хулой и ложью пополам,
Вы все бросаетесь, как тигры,
На жертву ваших языков...
Отрадны, любы эти игры
Для душ пустых и злых умов!

Не верь им!.. Если нынче в свете
В любви к тебе меня винят
И в фарисейском их совете
За верность долгую бранят,—
Но только утомись от муки,
Но разлюби хоть завтра я,—
И нечестивые их руки
Посыплют камни на меня!..

Нет, не святая добродетель
Нас осуждает в их устах!
Нет!.. этот свет, как лжесвидетель,
На ложных взвесил нас весах
И ложной меркою нас мерит:
Он строг для истинной любви,
Разврату друг!.. Он лицемерит,
Чтоб лучше скрыть грехи свои!..

Неумолимо и жестоко
Меня преследуют они,
Чтоб уязвить тебя глубоко,
Чтоб отравить нам счастья дни,
Чтоб женским именем мужчину
Век безнаказанно терзать,
Чтоб против нас взбесить судьбину,
Нас друг от друга оторвать!..

7 Заказ 1086

XV

ОЖИДАНЬЕ

Я жду тебя!.. Уж спущены гардины,
Свечи горят на столике резном,
Часы пробили десять с половиной,
А я стою в волненьи за окном...
Готово все: вот твой диван любимый,
Вот трубка, самовар, душистый чай!..
Нам дорог день, нам дорог час... Незримо
Летят они, скорее приезжай!..

Стесненные условной жизнью светской,
Согбенные под роковым ярмом,
Хоть ропщем мы, но втайне, с блажью детской,
И редко лишь свободны и вдвоем.
Но сладко обмануть надзор ревнивый,
Завистливой молвы ехидный взор,—
И поцелуй страстнее торопливый,
Сто раз живей запретный разговор...

Спеши, я жду тебя!.. С душой покорной
Я встречу господина моего:
Хандрит ли он, взволнован думой черной?..
Мой женский смех рассеет грусть его!..
Он весел ли?.. Шутить, болтать я рада,
Ум, сердце, страсть — всё данию ему...
За пару слов, за светлый проблеск взгляда
Я жизнь отдам кумиру моему...

Приедет он, пушинки пыли снежной
С султана белого легко стряхнет,
Сам сядет близко так, с улыбкой нежной
Наклонится и за руку возьмет...

Он спросит, с кем вчера на бале танцевала?..
Кто говорил со мной и кто хвалил?..
И спать ложась, о нем ли я мечтала,
И все ли он по-прежнему мне мил?..

XVI

ССОРА

Прости меня!.. В волненьи и досаде
Вчера я прокляла тебя,
Я предалась мучительной отраде
В тебе терзать вдвойне себя...
Прости меня!.. Томительной разлукой
Ты омрачил рассудок мой;
Для женщины, поверь мне, грусть и скука
Советник вредный и дурной!..

Прости меня!.. Когда б ты знал, друг милый,
Как больно мне и тяжело!..
Как грустно без тебя!.. Убиты силы,
Сомненье на душу легло;
Завешен мир покровом погребальным,
Надежды нет, мечта молчит,
Наперсником суровым и печальным
Лишь горе с сердцем говорит.

Твердит оно о том, что незабвенно,
О прежнем счастьи, о любви,
О, возвратись... Забудь мой гнев мгновенный,
Меня своею назови!..
К груди твоей прижми меня нежнее,
Дай в поцелуе мне ожить!..
Я мстить тебе хотела,— будь умнее:
Заставь меня сильней любить!..

XVII

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Tu m'as dit, refrain menteur
Qu'aimer est le bonheur suprême:
Non, je le sens, non, le bonheur,—
C'est d'etre aimé soi-même!..*

Безумная!.. не плачь и не волнуйся!..
Так быть должно, на то мужчина он!..
И как ты ни крушись и как ни растоскуйся,—
Не изменить судьбы закон!..

Ты женщина: весь мир, всю жизнь, все счастье
В любви, в одной любви навек вместила ты;
Ты ею лишь живешь, ты дышишь только страстью,—
Она тебе дороже красоты!

А он, как все они... он любит понемногу,
Порывами, с расчетом и умом;
С насмешкой смотрит он на женскую тревогу
И драпируется в спокойствии своем.

Он любит, но вчера, на шумной вечеринке,
Всю ночь с друзьями он кутил и пировал...
Он любит, ты здесь ждешь, а он?.. Он без запинки
На ужин в гости ускакал!

Он любит не тебя одну на этом свете,
Он любит многое, и ты не все ему;
Он горд, он хочет быть у славы на примете,
Он хочет, чтоб молва была склонна к нему.

---

* Ты мне сказал лживый припев, что любить — это высшее счастье. Нет, я это чувствую, нет, счастье — самой быть любимой!.. *(фр.)*

Забавы, почести, успехи, блеск гостиных —
Все любо голове восторженной его.
В семействе, при дворе, в кругу друзей старинных,
Везде соперники блаженства твоего!..

Хоть ты мила ему,— но для него игрушка
Сердить, ласкать тебя, утешить, огорчить...
Когда он говорит: «О чем же плакать, душка?..» —
Он весел, он готов те слезы жадно пить.

И часто, с умыслом, толкует он лукаво
О неизбежности разлуки роковой,
Чтоб испытать тебя, чтоб страсть разжечь отравой,
Чтоб ты на грудь его припала головой,

И с ужасом в лице молила о пощаде,
И новых, страстных клятв взяла бы от него...
В твоем отчаяньи, в твоей тоске, досаде
Есть подтверждение могущества его!..

Потом он вздумает изменой небывалой
Похвастать пред тобой, чтоб взволновать тебя,
Чтоб билась и рвалась ты долго, проклинала
И ненавидела, ревнуя и любя...

Он счастлив, упоен... Ему блаженства чаша
Мгновенной горечью и слаще и хмельней!..
А ты, не смей роптать!..— покорность участь наша,—
Так осуши глаза и смейся поскорей!..

Бледна, измучена, убитая страданьем,
Ты прихотям его и краше и милей,—
Так отвечай нежней пронзительным лобзаньям,
Так пламенней его прижми к груди своей!..

За шутку злобную, за смех его в награду
Восторги новые придумай и создай!..

Дай ласк неведомых вкусить ему отраду,
Открой для баловня любви и неги рай!..

Дитя, в руках его ты воск, всегда послушный,
Струна, звучащая всегда ему в ответ!..
Султан властительный, кумир твой равнодушный,
Что мучит он тебя, ему и дела нет!..

Меж тем глаза твои потускли и опухли,
Улыбка замерла на вянущих устах,
Луч мысли, блеск ума давно в тебе потухли,
И прежний слова дар исчез в твоих речах.

Вот зеркало,— смотри!.. Не правда ли ужасно?..
Как изменилась ты!. Где прежняя она,
Кого встречал привет толпы подобострастной,
Кто лестью и хвалой была окружена?..

Опомнись!.. Призови на помощь силу воли,
Оковы тяжкие героем с плеч стряхни,
Сердечных тайных язв скрой ноющие боли
И свету прежнюю себя припомяни.

Где ленты и цветы, где легкие наряды?..
Блестящей бабочкой оденься, уберись
И поезжай на бал, спеши на маскарады,
Рассмейся, торжествуй, понравься, веселись!..

Придут к твоим ногам поклонники другие,—
Меж них забудешь ты цепей своих позор...
И *он*, *он* будет знать!.. Затеи молодые
Встревожат и его внимательный надзор...

Он в очередь свою узнает страх и муку,
Он будет ревновать, он будет тосковать...
Ты выместишь на нем страданья, горе, скуку,
Потом простишь его и призовешь опять!..

Безумная!.. зачем, зачем себя ты губишь?..
Условья счастия тобой не поняты:
Раба ты, женщина, когда сама полюбишь,
И царствуешь, когда любима ты!..

XVIII

ОПУСТЕЛОЕ ЖИЛИЩЕ

Неприютно, неприветно...
Все огни погашены;
Окна мрачны и бесцветны,
Стекла в них забелены...

Луч таинственный не блещет
Сквозь опущенных гардин,
Не сверкает, не трепещет
Ярким пламенем камин.

Ждет у двери гость бывалый...
Не отворится она!
Не запенятся бокалы
Искрометного вина!..

Не стучись!.. Беседа братий
Дружно там не собралась,
Ты не встретишь рукожатий,
Не услышишь песен глас!..

Не накроют в час урочный
Стол радушный для гостей,
Не повеет дым восточный
От заветных янтарей!

Где ж хозяин? — Он далёко!
Помолись о нем, собрат,

Чтоб он в дом свой одинокий
Невредим пришел назад!..

Он теперь на поле бранном,
У подножья снежных гор,
И по трупам бездыханным
Непривычный водит взор.

Он надел ружье и шашку,
За кушак заткнул кинжал
И в кровавую распашку
Смелый сердцем поскакал.

Он забыл в пылу сражений,
Сколько слез по нем текут,
Сколько мук, тревог, волнений
Здесь его вотще зовут!

Посмотри: вблизи мелькнули
Женский шаг и женский лик...
Две руки к замку прильнули,
Прозвучал условный клик...

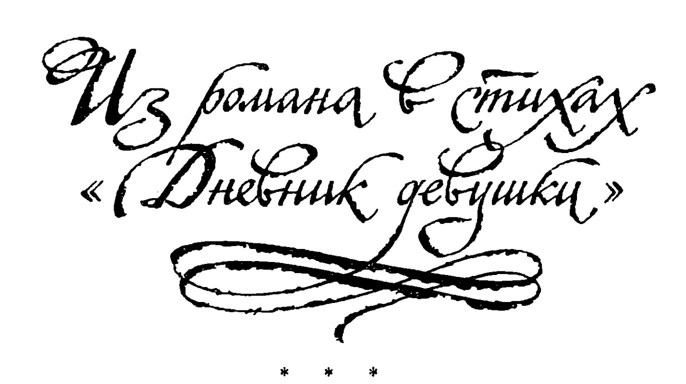
Где ж хозяин? Он далёко!..
Прочь идет она с мольбой,
Чтоб красавец черноокий
Возвратился бы домой!..

XIX

КТО ВИНОВАТ?

Кто виноват,— бог весть!.. Напрасны пени,
Упреки не помогут уж теперь,
Минувшего не возвратишь!.. поверь,
Поверь,— о прежний друг,— мы только тени
Двух любящих счастливцев... Время шло,

Оно любовь и счастье унесло.
Любовь?!! О нет!.. Но опыту послушный,
Чужим умом и толком просвещен,
К былым мечтам и грезам равнодушный,
Ты от меня расчетом удален...
Ты понял жизнь!.. не жизнь души и сердца,—
Но дельную, по цифрам и графа́м,
С расходом и приходом пополам.
И холодно, с улыбкой иноверца,
Нещадно ты взялся мне объяснять
Тщету и суету всех увлечений,
Глубоких чувств, высоких убеждений...
Еще теперь я не могу забыть
Убийственных уроков и учений!
Я вся дрожу, и в жилах стынет кровь,
Как вспомню я, как повторю я вновь
Слова твоих премудрых рассуждений...
Хоть сердца ты во мне не изменил,
Но веру, веру в счастие убил:
Прозрела я, понявши мудрость света,
Постигла, что расстаться мы должны,
Что клятвы, честь и страсть — все бред поэта,
Все ложь и вздор, несбыточные сны.
Благодарю!.. Сухой житейской прозы
Ты мне внушил спасительный устав!
И льются или нет ребячьи слезы,
Сомнительных я отреклась уж прав;
Свободен ты!!. И я свободна тоже!
Без ссоры мы с тобою разошлись...
Найдется ли другой, душой моложе
И сердцем понежнее,— не сердись!..
Ты так хотел!.. Ты сам любовь и счастье
Разрушил в прах. Им не придти назад,
Вновь не цвести... Суди же без пристрастья,
Скажи, молю тебя: кто виноват?..



* * *

Однообразно и уныло
За днями дни холодные идут,
Не греет, не живит их радости светило,
Они отрад мне не несут.
Мертвящей скуки сон над жизнью тяготеет,
И жизнь под бременем его изнемогла,
В тоскующей душе жар чувства леденеет,
Вся прелесть бытия, как вешний цвет, прошла.
Ко всем и ко всему печально-равнодушна,
Не слыша, слушаю, не видя, я гляжу;
Привычке, случаю рассеянно-послушна,
Без воли, без надежд, без цели я брожу.
Уж я ни чувствовать, ни мыслить не способна,
Уже меня ничто не веселит,
Уже меня и горе не крушит;
Мое спокойствие могильному подобно!
Но прах усопшего в своей могиле спит;
А я!.. тоска в душе взволнованной кипит!!.

Когда взойдет заря, я с страхом помышляю,
Что сутки целые мне суждено прожить,
Промаяться и время проволачить,
И к этой каре я себя приготовляю.

Покуда длится день, стараюсь я следить
За стрелкой часовой; ловлю ее движенья,
И, мерные считая ударенья,
Я жду, чтобы настал скорее час ночной.
Пробил ли он? Приникнув к изголовью
Измученной, больною головой,
Мечтаю о былом с восторгом и любовью
Или зову к себе грез благотворных рой
И их волшебное влиянье умоляю
Видений зеркало глазам моим открыть
И хоть на миг один вид милый мне явить...
Потом, с молитвою *о нем*, я засыпаю,
С надеждою во сне им посещенной быть...
Вот жизнь моя, с тех пор, как вдаль я проводила
Того, кем свет был мил, *того*, кем сердце мило...
Вот так бессменно я тоскую и томлюсь.
Его присутствие мне б счастье возвратило...
Его присутствия уже ли не дождусь?

* * *

Душою пылкой, ненасытной,
Бывало, счастье я звала...
Его просила и ждала
В порывах думы любопытной...
И тосковало по любви,
И билось сердце молодое...
И было нас когда-то двое,
И рай предстал мне на земли!..
Загадка жизни объяснилась,
Очарованье совершилось,
И я доверчивой душой
Благословляла жребий свой,
Но, ах!.. недолго!! На помине,—
Когда молюсь о счастье ныне,—
Я говорю: «за упокой!»

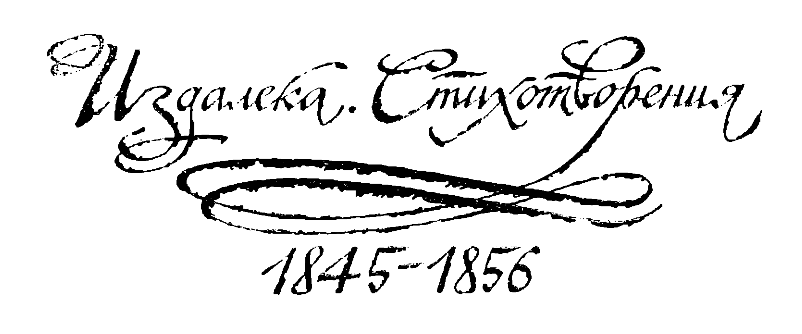
Любя *его*, принадлежать другому!..
И мне в удел сей тяжкий долг избрать?
Мне, изменя обету дорогому,
Иной обет пред алтарями дать?..
Жестокие!.. Они не понимают,
Что́ буду я, их воле покорясь;
Судьбой моей они располагают,
Ни чувств моих, ни сердца не спросясь!
Могу ли я забыть любовь былую...
Заменит ли одна рука моя
Привязанность и преданность прямую?..
Позволено ль коварством подкупным
Обманывать искателя младого
И заплатить за жар огня святого
Кокетством лишь расчетливым одним!..
Когда во мне, любовью ослепленный,
Он думает сочувствие сыскать,
Должна ли я, играя им надменно,
Безумные мечты его питать?..
Должна ли я надеждою напрасной
Его привлечь, в нем сердце упоить,
Его на миг блаженством озарить,
Чтоб, ложь презрев, он вправе был, несчастный,
Проклятием меня обременить?..

Ах, нет!.. Грешно и низко бы то было!..
Доверие — святыня!.. Горе той,
Кто, не поняв измены первой силу,
Сомнениям предаст весь век чужой!

Но я, любви я слишком цену знаю,
Чтоб ею мне бессмысленно шутить!
Я не могу другого полюбить,
Но искренно в нем чувство уважаю!

Победу я заметила свою
Без радости, без гордости сердечной...
И клятву я самой себе даю.
Люблю к *тому* остаться верной вечно!

<1842—1850>



НАСИЛЬНЫЙ БРАК

Баллада и аллегория

Посвящается мысленно Мицкевичу

Lascia ch'io pianga la dura sorte,
E ch'io sospiri la libertà!*

Старый барон

Сбирайтесь, слуги и вассалы,
На кроткий господина зов!
Судите, не боясь опалы,—
Я правду выслушать готов.
Судите спор вам всем знакомый:
Хотя могуч и славен я,
Хотя всесильным чтут меня —
Не властен у себя я дома:
Все не покорна мне она,
Моя мятежная жена!

* Позволь мне оплакивать тяжелую участь и повздыхать о свободе! (*ит.*)

Ее я призрел сиротою,
И разоренной взял ее,
И дал с державною рукою
Ей покровительство мое;
Одел ее парчой и златом,
Несметной стражей окружил,
И, враг ее чтоб не сманил,
Я сам над ней стою с булатом...
Но недовольна и грустна
Неблагодарная жена.

Я знаю — жалобой, наветом
Она везде меня клеймит;
Я знаю — перед целым светом
Она клянет мой кров и щит,
И косо смотрит исподлобья,
И, повторяя клятвы ложь,
Готовит козни, точит нож,
Вздувает огнь междоусобья;
С монахом шепчется она,
Моя коварная жена!..

И торжествуя, и довольны,
Враги мои на нас глядят,
И дразнят гнев ее крамольный,
И суетной гордыне льстят.
Совет мне дайте благотворный,
Судите, кто меж нами прав?
Язык мой строг, но не лукав!
Теперь внемлите непокорной:
Пусть защищается она,
Моя преступная жена!

Жена

Раба ли я или подруга —
То знает бог! Я ль избрала

Себе жестокого супруга?
Сама ли клятву я дала?..
Жила я вольно и счастливо,
Свою любила волю я;
Но победил, пленил меня
Соседей злых набег хищливый.
Я предана, я продана —
Я узница, я не жена!

Напрасно иго роковое
Властитель мнит озолотить;
Напрасно мщенье, мне святое,
В любовь он хочет превратить.
Не нужны мне его щедроты,
Его я стражи не хочу —
Сама строптивых научу
Платить мне мирно долг почета.
Лишь им одним унижена,—
Я враг ему, а не жена!

Он говорить мне запрещает
На языке моем родном,
Знаменоваться мне мешает
Моим наследственным гербом;
Не смею перед ним гордиться
Старинным именем моим
И предков храмам вековым,
Как предки славные, молиться:
Иной устав принуждена
Принять несчастная жена.

Послал он в ссылку, в заточенье
Всех верных, лучших слуг моих;
Меня же предал притесненью
Рабов — лазутчиков своих.
Позор, гоненье и неволю

Мне в брачный дар приносит он —
И мне ли ропот запрещен?
Ужель, терпя такую долю,
Таить от всех ее должна
Насильно взятая жена?..

Сентябрь 1845
Дорогою, между Краковом и Веною

СЛОВА НА СЕРЕНАДУ ШУБЕРТА

Leise fliehen meine Lieder
Nach der Heimat hin...*

Замолчи, не пой напрасно,
Сладкий соловей!
Мне тревожна, мне опасна
Песнь любви твоей!
Ах! была весна другая...
Были прежде дни...
Я жила, тебе внимая
В томном забытьи.

Лишь твои забьются трели
В дремлющих лесах,—
Выйду я... В глазах веселье,
В сердце дрожь и страх...
Звездный хор ярчей сияет
В синеве небес;
Белый ландыш расцветает
В этот час чудес.

И покуда не проснется
Рдеющий восток
И на долы не прольется
День, как светлый ток,—
Прелесть ночи с жадной страстью
Пью душой моей...
И поет мне песни счастья
Сладкий соловей!

Но волшебные мгновенья
Сгинули как сон,

* Тихо мои песни
Летят к родному краю (*нем.*).

Рай мой был одно виденье,—
    Быстро скрылся он!
Уж не мил мне ландыш белый,
    Звезд я не люблю...
Мне теперь какое дело
    Слушать песнь твою!

17 апреля 1846, понедельник.
Во время одинокой прогулки
в Королевском саду Каподимонте

ЕЩЕ О НЕАПОЛЕ

Нет! не хвалите мне страны непросвещенной
И бесхарактерной!.. страны перерожденной,
Которая, стыдясь почтенной старины,
Стремится перенять личину новизны,
Присвоить роскоши чужой нововведенья,
Несродные ее привычкам и правленью,
И вид условленный иных новейших стран
Принять из лести к ним... Неловок ей обман,
Нейдет ей глупое ее соревнованье,
Столицам Запада плохое подражанье,
Как старческий парик младенческим чертам,
Как девичий наряд безумным сединам!..
На Лондон и Париж Неаполь не походит!
Но в нем Италии уж путник не находит!
И чинно перед ним на улицах торчит
Наемных домиков мещанский, бедный вид
Да бесконечный ряд одних гостиниц грязных,
Пристроек скаредных, громад однообразных,
Где все прилажено для *пришлых*, для *гостей*,
По весу их казны, в угодность их затей!..
Им все здесь продано: и море голубое,
И небо южное, и солнце золотое,
И даже, даже сам Везувий-великан —
Краса и вместе бич ему подвластных стран,
Их слава, их кумир, их недруг, их тиран...
Опустошающий, губительный, опасный,
Но вечно-огненный, дымящийся, прекрасный,
Подобие Еврейского столба,
Ведущего сынов Израиля, как знамя,
Днем облако, а ночью пламя,
Своих племен маяк, светило и судьба!..

*   *   *

Вотще вдоль берега, везде смотрю, ищу я,—
Нет мраморных дворцов, нет храмов вековых...
Вотще у пристани веселых песней жду я,—
Народ уж позабыл напев отцов своих!..
Народ уж не поет, не пляшет тарантеллы,—
На платье променял лохмотьев пестроту!..
Уж здесь не сыщется другой живой Фенеллы,
Чтоб нам осуществить художника мечту!..
Служанка, нищая, рыбачка и торговка,
По моде чуждых дам, все хочет щеголять;
И все, от рыжей *Мисс*, кто лестью, кто уловкой,
Уродливый наряд сумев себе достать,
Надели шляпу, шаль... и варварской обновкой
Свой тип классический испортили оне!..
Карикатурами являются вполне
С карикатурных Англичанок...
Где юбка алая?.. Где ленты, где корсет?..
Где стрелка в волосах?.. Пропала!.. следу нет!..
Обезображенных Неаполя мещанок
Признать ли внучками божественных Гречанок,
Дививших некогда красою здешний край,
И Римским Цезарям, в чертогах позлащенных
Являвших образы их мифов воплощенных,
Чтоб дать богам земным вкусить Олимпа рай?..
От дивных тех времен здесь только уцелели
Обломки, статуи, развалины да то,
Что Тацит написал, что песнопевцы пели...
Для жалких дикарей мир древний ни во что!..
Не помнят уж они торжественных преданий,
Ни чудных вымыслов, ни былей вековых!..
Своим сокровищам не знают и названий,
Забыли даже звук речей отцов своих!..
Чтоб Лорду угодить, болтает Ладзароне
Уж с ним по-английски, смекнувши власть гиней,

И променять готов родное макарони
На портер и ростбиф... В уме здесь у людей
Лишь мелочный барыш, да «*picola moneta!*»* —
Спесь тороватая британских богачей
Избаловала их, унизила... С рассвета
Бродяги праздные под окнами кричат,
Толпятся у крыльца, шумят, надоедают...
А джентлемен с семьей надменно в них бросают
Своим излишеством... И Ладзароне рад,
Туриста гордого смиренно прославляет
И пивовара дочь *Альтецией* величает...
Картина жалкая!!. Беги от ней, беги,
Художник и поэт, мечтатель и мыслитель!..
От глупости людей всесильный утешитель,
Природа, ждет тебя!.. Направь свои шаги
Туда, где высится, увенчанный садами,
Холм *Монте-Вомеро*... Там, в куще майских роз,
Под лавром приютясь, меж виноградных роз,
Могила тихо спит, хранимая веками,
А больше — именем бессмертного жильца:
Вергилий в ней почил, вблизи благословенных
Залива берегов, им часто восхваленных!..
Ты сладко отдохнешь у сладкого певца!..
Потом спускайся вниз по берегу крутому,
До пенистой волны, до разноцветных скал:
Здесь в средние века из лона вод восстал
Готический дворец, в угодность молодому
Самодержавию Джиованны. Здесь она
Меж башен и террас, в ограде стен зубчатых,
В убранных прихотью и роскошью палатах,
Прибоем вечных волн жила окружена.
Здесь, на любовное свиданье приглашенный,
По выбору ее бесчисленных затей,
Являлся за полночь к владычице своей

* Мелкая монета (*ит.*).

То рыцарь пламенный, то трубадур смиренный,
И начинался пир!.. И долго длился он,
То поцелуями, то ласками прерванный...
И море слышало из тайных зал Джиованны
Обрывки песней, слов и полных кубков звон.
Потом, когда заря румяно загоралась
И легкий ветерок скользил по лону вод,
Взвивался чаек строй и близок был восход,
Стрельчатое окно без шума отворялось
Средь башни угловой, и что-то из окна
Вдруг в море падало... Потом два-три плесканья,
Глухих проклятий звук иль вопль негодованья,
И погружалось все во глубь морского дна...
Наутро в городе жильца недоставало,
И только!.. Но о нем никто не вспоминал...
В Джиованнином дворце *другой* его сменял
И пропадал, как он!.. И про *того* молчала
Покорная молва!.. Минуло много лет,
Не стало молодой коварной королевы,
В покинутом дворце замолкли все напевы,
Затихли все пиры... Пропал в нем жизни след...
Дворец обрушился .. Очнулося преданье
И ходит по устам: рыбак и пешеход
Не приближаются заржавленных ворот
И божутся, что в ночь зловещее сиянье
Огня *нездешнего* мелькает из окна
Той башни угловой, что адские виденья
Свершают тризны там, творят поминовенья
По грешной красоте, что и сама она
Уныло голосит в час темной полуночи...
Рассказ для путника заманчив; он идет
Смотреть развалины, покои, мрачный свод,
Чего-то по углам его все ищут очи,—
Вотще, Джиованны нет!!.

* * *

Пойдет ли дальше он, все берегом морским,—
То сад тенистый там, то вилла перед ним,
И каждая из них изящно, прихотливо
По вкусу новому устроена на диво.
Чем ближе к пустырям, чем дальше от людей,
Тем краше здесь страна, пленительней, милей.
И вот — раскинулась Вергилиева Бая,
Залива тихого окраины лобзая...
Но пусть он древности созданий здесь не ждет:
Обломки только он да местность здесь найдет,
Да прелесть имени волшебного, да виды,
Любимые певцом бессмертной Энеиды...
Чего же более, когда дано мечтам,
Забыв людей и век и все, что в тягость нам,
В уединении природой наслаждаться,
Картиной дивною на воле восхищаться,
Нырять в безбрежьи волн, витать вблизи небес,
Ловить вулкана дым, весь этот край чудес
Восторгом обнимать, весною упиваться
И в полусне души теряться, забываться?..

Май 1846
Неаполь

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Давно невиданный, незримый,
О белый снег, о снег родимый,
Тебе как рада я!..
Как земляка земляк в чужбине
Душой приветствует, так ныне
Приветствую тебя!

Блестящей, свежей пеленою
Над обнаженною землею
Ты лег,— и вмиг она
Вид изменила безобразный:
Сырая осень в ризе грязной
Тобой заменена.

На маковку дерев печальных
Венец из инеев кристальных
Набросил ты слегка;
Гульбище сонное проснулось;
Светлее солнце улыбнулось,
Взирая свысока.

Опустошенья непогоды,
Дождь, мрак, туманы, скорбь природы —
Все под фатой своей
Ты превратить иль скрыть умеешь,
Жезлом волшебным ты владеешь,
Могучий чародей!

А мне,— мне мир воспоминаний,
Былого много мне преданий
Принес, навеял ты...
Минувшей жизни впечатленья,
Далекой родины виденья,
Вы здесь, мои мечты!..

Вы здесь, знакомые картины
Зим русских, вечные равнины
Нетающих снегов,
Ряд белых кровлей над домами
И белых башен с головами
До белых облаков!

Вы здесь, пленительные ночи,
С блистающей отрадно в очи
Серебряной луной...
С мильоном звезд светлогорящих,
Лучей, бессменно проходящих
Меж небом и землей!..

Я видела зиму иную
Под небом южным, и, тоскуя
В ненастливые дни,
Дрожа от стужи, я смотрела,
Как томная природа млела
Без снежной простыни.

И становилась мне понятна
С твоею целью благодатной
Поэзия твоя,
О милый гость, давно незримый,
О белый снег, о снег родимый,
Тебе как рада я!..

Париж, avenue Gabrielle
Декабрь 1846

ЦЫГАНСКИЙ ВЕЧЕР

Посвящается сестре и брату,
княгине Голицыной, графу Апраксину

Полнóчь звучит... Сюда несите чашу,
Благоуханный дайте ром...
Все свечи вон!.. Пусть жженка прихоть нашу
Потешит радужным огнем!
Зовите табор к нам! Чтоб песнью чудно-шумной
Нас встретил исступленный хор,
Чтоб дикой радостью, чтоб удалью безумной
Был поражен и слух и взор!

Велите петь цыганке черноокой
Про страсть, про ревность, про любовь —
Про всё, про всё, что в жизни одинокой
Волнует ум, сжигает кровь!
И мы послушаем тот вечный сердца ропот,
И оживится хладный прах
Забытых нами снов,— проснется страстный шепот
В давно заглохнувших сердцах!

Давно, мои друзья, любимых песен звуки,
Давно не тешили меня;
Но русской речи склад в чужбине, в дни разлуки
Припоминала часто я.
О! как хотелось мне любимое веселье
Лет свежей юности вкусить
И после странствия возврата новоселье
Подобным пиром огласить!

Оно исполнилось, тоскливое желанье,—
Поют мне песни старины!..
Простонародных слов и лáдов сочетанье
Кипучей жизнью как полны!
В восторженной душе очнулося былое
С минувшей радостью, тоской,—

И сердце, как тогда безумно молодое,
Забилось с прежней быстротой.

Внимаю жадно им, знакомцам незабытым,
Люблю радушный их привет
И предпочту его поклонам знаменитым,
В которых правды, смысла нет!
Здесь есть поэзия... Здесь в лицах сей картины
Есть страсть, есть воля, есть порыв;
Разнообразный хор таинствен, как судьбина,
Как беззаботность, он гульлив.

Для чувства робкого, для тайных упований
Поет он сладкий гимн любви;
Для сердца грустного в нем отклик есть страданья,—
Что хочешь, каждый назови!..
И нас немного здесь, но каждый понимает
По-своему ответный глас
И, верно, углубясь в мечту, припоминает
Какой-нибудь заветный час...

Предаться можем мы свободно увлеченью
Очаровательных минут:
Ни взор завистливый, ни злость, ни осужденье
В наш тесный круг не попадут.
И мы доверчиво друг другу смотрим в очи,
Без опасенья, без препон...
Жаль, быстрые часы блаженной этой ночи
Промчатся как чудесный сон!

4 декабря 1847
Москва

МОИМ ДВУМ ПРИЯТЕЛЬНИЦАМ

Вы видели меня во сне,
Когда меня еще не знали...
И ваши грезы обо мне
Чудес вам много рассказали...
Вы ожидали, что Коринной
Я вдохновенной вам явлюсь
И вечной песнью, песнью длинной
Назло ушам вооружусь...
Вы думали,— своею славой
Гордится женщина-поэт,
И горькой, гибельной отравы
В ее блестящей чаше нет?..
Вы думали, что стих мой страстный
Легко, шутя достался мне,
И что не куплен он в борьбе...
Борьбе мучительной, ужасной?
Вы думали,— от жизни много
Улыбок насчитала я?..
О дети, дети!!. Слава богу,
Что вы не поняли меня!..
Не понимайте,— но любите!..
Любите, как любили вы
Меня заочно!.. А судите
Не по словам пустой молвы;
Нет,— не Коринна перед вами
С ее торжественным венцом...
А сердце, полное слезами,
Кому страданьем мир знаком!..

Март 1848
Москва

БОЛЕЗНИ ВЕКА

Поколению Вертеров и Чайльд-Гарольдов

Et tout cela, Messieurs, gentil'shommes du jour,—
C'est parce qu'á vingt ans vous n'avez plus d'amor!..
Emile Deschamps, Morte pour les amuser*

Мне жалко вас, скучающих и бедных,
Земли непрошеных, взыскательных гостей,
Богатых опытом, а радостями бедных,
Живущих наобум, без жизни, без страстей,
Мне жалко вас, младое поколенье
Не седовласых старичков!..
Хотелось бы вам дать уразуменье,
Род неразумных мудрецов!

Вы смотрите надменно, без участья,
На братьев, свыкшихся с их долею земной;
Вы наслажденьями пресытились, а счастья,
Слепцы! не поняли холодною душой!
Вам в тягость жизнь, вы небом недовольны,
На вас сам бог не угодил!
Бессильные! в других вам видеть больно
Богатство воли, чувств и сил!

Вы отжили, не живши!.. Вы как гости,
Которые пришли хмельные уж на пир,—
Не в сладость чаша вам, пресыщены, от злости
К ликующим, с тоской глядите вы на мир;
Ни тайн, ни чар, ни светлых упований,
Бездольные, в нем нет для вас!..
В цвету убили вы порыв желаний,
Восторг, и страсть, и счастья час!..

---

* И все это, господа, дворяне наших дней, потому что в двадцать лет у вас уже больше нет любви!..— Эмиль Дешан. Умершая для того, чтобы их развлечь *(фр.)*.

Вы сердца сны зовете *заблужденьем*,
Любовь, поэзию и славу — *суетой*,
Гордясь, безверие свое *разувереньем*
Вы величаете... Неправ ваш суд пустой!
Прекрасна жизнь, и божий мир прекрасен,
Но род людей и лжив и зол,
Да зависти шипучий змей опасен,
Да странен рока произвол!..

Прекрасна жизнь, и божий мир прекрасен,
Но слишком часто мы друг другу портим их!..
Ваш ропот суетен, безумен и напрасен,—
Не распознали вы прямых путей земных.
В самих себе вы жизни не искали,
Духовных благ не обрели,
У чистого источника не ждали,
Ключ животворный не нашли!

У света вы просили упоений,
И нищий жалкий свет вас глупо обманул!
Вы думали, что жизнь — цепь легких наслаждений,
Простор всем прихотям, младых страстей разгул,—
Ошиблись вы!.. Своей ошибки пошлой
Простить не можете себе,
Ни жизни, ни земле, ни вашей прошлой
На ветер брошенной судьбе!

Не там искали вы, где должно, жизни...
Не там она цветет, не там она горит!..
Ни вашему суду, ни вашей укоризне
Таинственность ее путей не подлежит.
Вы шли впотьмах, дорогой заблуждений
Вас самолюбие вело,—
Кто виноват, что к цели сожалений
Оно вас рано привело?..

Душе сказали вы: «Ты хлам напрасный,
Ненужный спутник нам!..» И вы расстались с ней,
Отбросив все, что в нас и свято и прекрасно;
Как тварь, вы слушались лишь крови и страстей,
Вы только благ вещественных просили,
Манила внешность вас одна...
И в кару вам, что о душе забыли,
Забыла тоже вас она!..

А вы, а вы, страдальцы умозренья,
Другое племя жертв, мне жалко тоже вас —
Вас, рано преданных упорному мышленью,
Сухому, скудному... Вас, в лучший жизни час
Отрекшихся от жизни, чтоб размерить,
Расчислить, рассчитать ее,
Чтоб перестать любить, мечтать и верить
И сердце умертвить свое!..

Вы дерзкой мыслью мир разоблачали,
Вселенную постичь хотели лишь умом,
Во всем ничтожества, обмана лишь искали,—
И вот, вы их нашли!.. И в ужасе своем
Вы отвратили взор... Как привиденье
Хаос обрушился на вас...
Опутал вас... Везде лишь мрак и тленье
И пустоту ваш видит глаз!..

Ошиблись вы!!! Вы тоже клеветали
На высший промысел, на дивный дар его,
Вы тоже жизни благ не поняли, не знали,
Споткнулись в выборе призванья своего!..
Нет, не бедна та жизнь, где в сердце страсти
Нам кипятят младую кровь,
Где нам даны ключи живые счастья,—
Мечта, молитва и любовь!..

Не беден мир, где вечная природа
Неисчерпаемый мыслителю предмет,
Где чудно высится твердь голубого свода,
Блеск солнца ясного сменяет лунный свет...
Где океан бушует горделиво,
Цветет душистая весна,
И лето сходит знойное на нивы,
И прелесть осени дана!..

Август 1848
Вороново

8 Заказ 1086

Из цикла «Простонародные мелодии и песни»

НА ГОЛОС УКРАИНСКОЙ МЕЛОДИИ

Уходили, проходили
Сотни удалые,
Покидали, оставляли
Курени родные;
    На чужбину шли войною,
    Радуяся бою,
Их слезами провожали
Жены и невесты;
Старики благословляли
На возврат счастливый.

Мой коханый, смелый, храбрый,
На коне ретивом,
Ехал мимо и махал мне
Ласково рукою:
«Я вернуся, возвращуся,
Жди меня, невеста!
Привезу тебе наряды,
Серьги, ожерелья,
И тогда на свадьбе нашей
Будет пир-веселье!»

И домой пришли дружины,
Бог им дал победу;
Их встречают, обнимают,
Празднуя их славу.
    Все узнали, отыскали
    Кто родных, кто милых...
Только я лишь жду напрасно,—
Мой жених не едет...
А спрошу я,— грустно смотрят,
Не дают ответа!..

«Шлет поклон тебе последний
Наш лихой урядник:
Он остался, поселился
На чужбине дальной!» —
Так сказали, миновали
Все своей дорогой...
Я стою себе сироткой
В поле опустелом;
Вечно жить и умирать мне
Вечно — одинокой!..

* * *

Пусть он не верен, пусть он изменник,—
Плакать не стану я,— я молода!
Новый поклонник его мне заменит,—
Горе ему же! Мне что за беда?

Пусть он поищет очи чернее,
Косы блестящей, румяней уста!
Пусть он поищет сердца вернее,
Век не найти их!.. Мне что за беда?

Снова придет он мне кланяться низко,—
О! как смеяться я буду тогда!..
Поздно и тщетно о прежней любови
Будет жалеть он... Мне что за беда!

1849

ЗАЧЕМ Я ЛЮБЛЮ МАСКАРАДЫ?

Мерope Александровне Новосильцевой

Мне странен твой вопрос: зачем под маской черной,
Под черным домино, забыв дневную лень,
Всю ночь я средь толпы преследую упорно
Веселья ложного обманчивую тень?..
Зачем меня манит безумное разгулье,
И диких сходбищ рев, и грубый хохот их?..
Ты хочешь знать, мой друг, поистине, могу ль я
Делить хоть миг один безумие других?..
Забавно ль для меня в кругу мужчин хвастливом,
Подделав ум и речь на лад их пустоты,
Их скуку занимать и голосом пискливым
Твердить им пошлости, загадки, остроты?..
Для шутки заводить интриги без развязки,
В насмешку завлекать всесветских волокит,
С усталых плеч стряхнув под вольностию маски
Цепь строгой чинности, что век нас тяготит?..
Нет!.. Не бессмысленно-тупого опьяненья
Средь говора толпы ищу я наобум,
Не шума ради там мне люб стократный шум,—
Но я хочу, прошу рассеянья, забвенья,
Бегу себя самой, своих тяжелых дум!..
Измучась жизнию действительной, вседневной,
Я жизни призрачной наружный блеск ловлю,
И даже суету, и даже ложь терплю,
Чтоб только мне спастись от истины плачевной...
Средь пестрых личностей, скользящих вкруг меня,
На время личность я свою уничтожаю,
Самосознание жестокое теряю,
Свое тревожное позабываю я...
Уж надоело мне под пышным платьем бальным
Себя, как напоказ, в гостиных выставлять,
Жать руку недругам, и дурам приседать,
И скукой смертною в молчаньи погребальном,

Томясь средь общества, за веером зевать...
Комедий кукольных на тесной сцене светской
Постыла пошлость мне, противен мне язык;
Твердить в них роль свою с покорностию детской
Правдолюбивый мой и смелый ум отвык.
Не лучше ль, сбросивши наряды дорогие,
Себя таинственной мантильей завернуть,
Урваться из кружка, где глупости людские
Нам точат лесть одну да россказни пустые,
От лицемерия под маскою вздохнуть?..
Прочь все условное!.. Прочь фразы, принужденье!..
Могу смотреть, молчать, внимать, бродить одна;
Могу чужих забав делить одушевленье...
И если я грустна, и если я бледна,
Никто над бледностью моей не посмеется,
Я не нуждаюся в улыбке заказной,
И любопытная толпа не раздается
С вниманьем праздности и злобы предо мной!
Да, точно, я люблю свободу маскарада;
Там не замечена, не знаема никем,
Я правду говорю и всякому и всем;
Я, жертва общества, раба его,— я рада,
Что посмеяться раз могу в глаза над ним
Я смехом искренним и мстительным моим!..

1850
Москва

ЦИРК ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА

Помните ли вы, милая графиня, наши длинные и откровенные беседы в вашем крошечном, уютном, вдохновенном и вдохновительном уголке?.. Помните ли вы, какой грустный взгляд беспристрастной оценки нам приходилось оттуда бросать на обеим нам слишком знакомый свет?.. Помните ли, как часто наши мнения, мысли и чувства встречались и сходствовали, разбирая всех там живущих и все там переживаемое?.. В воспоминание этих бесед — примите переложенье в стихи того, что в них выражалось прозою! Мне отрадно доказать вам, что *для меня* наши встречи и разговоры не исчезли без следа, и мне бы хотелось, чтоб вы о них сказали то же самое!

Morituri te salutant...*
Из Тацита

I

Да, я люблю средь залы позлащенной
На шумный пир задумчиво смотреть
И в праздничной толпе принаряженной
Сквозь маску лиц во глубь сердец глядеть;
И мыслию, догадкой проясненной,
Их тайнами, их мыслью овладеть,
Разузнавать их страсть, их цель, их волю,
Их грустную иль радостную долю.

Люблю, хочу, умею понимать
Живой душой чужую жизнь и душу;
И хоть могу я многих разгадать,
Личины их и роли не нарушу!
Они пришли, чтоб ловко роль сыграть,—
Пускай себе! На них я не обрушу

* Идущие на смерть тебя приветствуют... (*лат.*)

Вниманья беспощадной суеты,
Ни любопытства праздной пустоты!

Они пришли — пред светом, их владыкой,
Противником и вместе судией,—
Свершить мудреный подвиг и великой
(Иные, может быть, последний свой!).
Страданью их здесь тесно, душно, дико,
Простора нет в толпе душе больной,
Но тайный ад их скрыт под принужденьем,
Но лица их сияют наслажденьем.

И свет на них глядит: они должны,
Как на смотру военном рядовые,
В своей броне стальной закалены,
Ему предстать, блестящие, живые,
Веселые... Улыбки ведь даны,
Чтоб ими скрыть мученья роковые!..
Они должны, чтоб свету угодить,
Устав его приличия хранить.

Приличие велит — оставить дома
Забот, тоски и тяжких мук семью;
Таить свою сердечную истому;
Приязнию одеть вражду свою;
Не допускать в веселые хоромы
Ни правды луч, ни теплых чувств струю;
Не отвечать на голос, сердцу близкий;
Не замечать, что люди злы и низки...

Приличие велит и хочет свет!..
Мы все покорны им и их влиянью;
Быть в милости у света — вот предмет
Всеобщего усилья и старанья!
Рабы его, несем ему привет,
Как в древности бойцы, среди собранья,

Пред Цезарем поникнув головой,
Несли ему поклон предсмертный свой!

И Цезарь наш, наш свет, не рукоплещет,
Не удостоит нас хвалы своей!
Зачем?.. Ему нет дела, что трепещет
У нас в груди больной гроза страстей:
Мы *тут*... для нас бал пляшет, праздник блещет
И с смехом речь кипит в устах людей,—
Чего ж еще?.. Достаточна награда,
И требовать не вправе мы пощады!

Страдай, терпи, терзайся, умирай!
Но умирай с достоинством, с улыбкой!
И не бледней, и духа не теряй,—
Свет не простит бессильному ошибки,
Он слабым враг!.. Будь тверд!.. Не оплошай
В борьбе с самим собой, в смертельной сшибке...
И как боец средь цирка, так и ты
Будь горд среди толпы и суеты!

II

Вот черный фрак, перчатки щегольские,
И голова в изящных завитках,
И громкий смех, и речи удалые,
И бойкий ум в сверкающих глазах;
Подумаешь — надежды молодые
Тут кроются в безоблачных мечтах.
Подумаешь — счастливец в шуме бала
Ждет милого, живого идеала...

Нет, то отец семейства: он пришел
С последними червонцами своими —
Отдать себя судьбе на произвол,
Ожить в игре богатствами чужими,

Спасти детей!.. Его сюда привел
Враг — нищета... С карманами пустыми,
С отчаяньем в душе к себе домой
Назавтра не вернется он живой...

И мимо, мимо!.. Много здесь подобных
Отыщется несчастных иль глупцов.
Толпа привыкла к ним.— Лишь для способных
Понять в них драму гибнущих умов,
Страданий и надежд междоусобных,
Проклятий, мук и ропота без слов,—
Лишь для таких внятна в их диком взоре
Немая весть о смертном приговоре!

III

Вот вам другой.— Он тоже весел, мил,
Он тоже сыплет шутки, уверенья,
А между тем недостает в нем сил,
Чтоб скрыть грызучей зависти мученья.
Он места ждал. Давно уж возложил
На эту цель все помыслы, стремленья;
Свои запродал двадцать лет давно,
Забыл, что дважды жить нам не дано,

Что молодость, здоровье, мощь и сила —
Все наслажденья просит, хочет, ждет,
И от него уж гостьей легкокрылой
Умчалась их пора!.. И он живет
Лишь жаждою *достичь*. Судьба сулила —
Он поприще желанное пройдет,
Свершит свой путь, на высоте счастливой
Достигнет цель мечты честолюбивой!

А между тем до время седина
В златую прядь волос его закралась.

Душа его, умом поглощена,
Немела, вяла, сохла, истощалась.
Он днем в трудах, проводит ночь без сна,
И вышло, что судьба над ним смеялась!
Что он желал — то получил другой!
Он жизнь сгубил в ошибке роковой!

Он мучится теперь как тени ада,—
Но *здесь* его соперник, и пред ним
Не выдаст он себя, тому в отраду
Не изменит он правилам своим.
Спокойный вид он сохранит как надо,
Поклонится начальникам большим
И личному врагу протянет руку,
И свет его не разгадает муку!

IV

Вот девушка, красавица, дитя,
Чело ее увенчано цветами,
И, локон свой рассеянно крутя,
Она порхнет как птичка перед вами.
Но, в польке мерно стукая ногами,
Куда глядит так пристально она?
Зачем дрожит, смятения полна?

И у нее заветная есть тайна,
Есть свой роман, печальный и простой!
Она бедна; издалека, случайно
Пришлося ей в наш свет попасть большой,
Влюбиться и судьбой необычайной
Понравиться... Мечтатель молодой,
Вельможа и богач, пленившись ею,
Назвал ее невестою своею.

Завистница нашлась — и где ж их нет?—
Которая сумела клеветою

Расстроить это счастье; свой обет
Жених презрел — и с знатною княжною
Он вступит в брак, приняв родни совет!
А прежняя невеста?.. Э! пустое!!.
В степной уезд свой, просто, без затей,
Ну почему ж и не вернуться ей?..

Пускай поплачет мать ее, старушка,
Пускай сама терзается она!..
И поделом!.. Ведь вздумала ж вострушка,
Что знатной дамой быть она должна,
Что бедная, ничтожная вертушка
Столичным гордым барышням равна...
Вот им урок!.. Пусть помнит расстоянье
Меж них — и первенствующих по званью!..

Сегодня, здесь решится участь их;
Еще попытка, разговор, свиданье,—
Узнает он, забывчивый жених,
Обман и ложь пустого нареканья,
Увидит он обеих жертв своих,
Почувствует их горе, их страданье,
Опомнится!.. Или махнет рукой
И скажет: «Так и быть!.. Удел иной

Назначен мне!..» — И обе это знают,
И мать, и дочь!.. О, как дрожат оне,
Как обе этой встречи ожидают!
Как много слез в притворной тишине
Их голоса!.. Но, верно, наблюдают
За ними вражьи очи — и вполне
Они играют роль гостей беспечных,
Без всяких дум или забот сердечных!

А газ горит, а музыка гудит,
А бал блестит всей живостью своею.

А пляска обязательно кипит!
Любуется хозяин гордо ею
И думает, что завтра загремит
Молва о нем, хвалой повсюду вея,—
И праздником доволен он своим,
И свет взыскательный доволен им!

И ни один из двух не угадает,
Как много здесь страдальцев собралось,
Какие вопли сердца заглушает
Торжественный оркестр... и сколько слез,
Непролитых, обратно запоздает
На грудь безмолвных жертв, как много гроз,
Семейных тайн, размолвк, глухих стенаний
Здесь бродит средь безумных ликований!

V

Вот старый муж молоденькой жены,
Красавицы, кокетки, словом, львицы,
С улыбкой и коварством сатаны,
Кому она отличной ученицей.
Зато ей все сердца покорены,
Все на цепи у мощной чаровницы,—
И бедный муж, с полдюжиной других,
Лежит у ног ее, лобзая их.

И он ревнив!.. Как Аргус баснословный,
Он стережет ее и день и ночь.
Тень юноши ему уж тать любовный,
И эту тень готов прогнать он прочь!
Он чувствует: меж ними бой неровный
И уберечь жену ему невмочь!..
Влюблен и стар, влюблен и лыс, и гадок,—
Ему ль не страшен модных львов нападок?

И многим уж за то старик смешон.
В душе его они ведь не читали!..
В руках жены записку видел он —
Она должна отдать ее на бале...
Кому?!. Меж всех *кто* ею предпочтен?!.
Чьи происки кокетку привязали?..
Старик глядит на дверь, и на часы,
И на жену... Он рвет себе усы,

Он стал бы рвать и волосы седые,
Да нету их!.. Забившись под жилет,
Ногтями в грудь впились, как черви злые,
Его пять пальцев — и кровавый след
Оставили... Уста его немые
Грызут и рвут *у ней* взятой букет...
И судорги ревнивого сомненья
Искорчили ревнивца... Где же мщенье?!.

А между тем веселая жена
Мелькнет пред ним, грацьозно вальсиру́я,
Потом пройдет, слегка преклонена
На руку кавалера... и не чуя
Грозы над головой, упоена,
Блаженствуя, блистая, торжествуя,—
Пошепчется в углу она с одним,
Дарит другого взором огневым,

А третьего улыбкой миловидной —
Чтоб все равно довольны были б ей
И никому не стало бы завидно!..
Чем кончится нередкий случай сей?
Огласкою, для двух семейств обидной?
Иль сценою, забавной для людей?
Иль поединком, смертью человека —
За вздор и блажь, в угодность мненью века?..

А газ горит. А музыка гремит,
А бал блестит всей пышностью своею.
Толпа гостей по комнатам кипит.
Любуется хозяин гордо ею.
Он думает, что завтра протрубит
Молва о нем, хвалой повсюду вея.
И праздником доволен он своим,
И мнит, что все вокруг довольны с ним!

VI

Но шум в дверях... Вошла — не то богиня,
Не то царица... фея, может быть!..
Движенья, поступь, взор — в ней все гордыней
И силой дышит, словно победить
Она пришла... Княгини и графини —
Пред ней померкло все! Не отразить
Ни красоты ее, ни обаяний,
Ни блеска, ни ума, ни чарований!

Наряд ее как облако парит,
На ней горят алмазы дорогие;
Глаза горят жарчей — и жар ланит
Сливается с их блеском; снеговые
Плеча и руки тверды как гранит,
Прозрачны как янтарь, а шелковые
Густые косы улеглись с трудом
Над мыслящим таинственным челом.

«Как хороша!..» — Она, по крайней мере,
Не жертва, не страдает, не грустна?
Она?!. Любви словам, мольбам поверя,
Свою любовь дала за них она.
Бесстрашно, не хитря, ни лицемеря,
Любила, всей душою предана,

Восторженно и свято, так сердечно,
Что страсть свою считала вековечной.

А *он* такой любви не понимал,
Иль, просто цену знать ей не умея,
Он счастьем невзволнованным скучал;
Над ним оно лежало, тяготея,
Как плен, как цепь.— Но *он* пред *ней* молчал...
В нем не было ни истого злодея,
Ни полного героя. Нет, увы!
Едва ль нашли б в нем человека вы!

Он променял любовь души высокой
На чувственный и мелочной разврат.
Он пал... так непростительно глубоко,
Так низко, что взглянуть не смел назад,
На прежний рай, на свой Эдем далекий,
Где херувимом у запретных врат
Минувшая любовь его стояла
И грешника безмолвно отвергала.

Она?..— Она стерпела!.. Бог послал
На то ей сил!.. Иль слабою женою
Как трость она склонилась — и обвал
Пронесся над поникшей головою...
Короче, сон блестящий миновал,
Она очнулась,— нищая душою,
Пред пепелищем тщетных чувств своих,
Расхищенных надежд и грез пустых.

И не легко ей было!.. С испытаньем
Не скоро примирилася она:
Не раз своей тоской, своим страданьем,
Бессонницей своей оглушена,
Конец и смерть звала она желаньем...
Недавно на окраине окна,

Готовая упасть, она стояла...
Молчанья чутким ухом ожидала...

И броситься хотела... Но тогда
На улице вдруг чей-то голос шумный
Гульливо рассмеялся... От стыда
Опомнилась она... Тоски безумной
Ей совестно вдруг стало, и когда
Взглянула вниз, невольно, неразумно,—
С товарищем узнала там *его*,
Хмельного... Не видал *он* ничего!..

И *нынче*, в первый раз со дня разлуки,
Они должны здесь встретиться, сойтись;
И для того терзающие муки
В груди ее мгновенно улеглись;
И для того следы забот и скуки
С лица ее исчезли, и зажглись
Ее глаза, мечты, тщеславье, воля —
И слез своих она не помнит болей!..

Нет! Помнит их!!. Затем, чтоб отомстить,
Чтоб показать спокойное презренье,
Чтоб пред собой, пред светом искупить
Напрасное, слепое сожаленье!..
Сегодня бал! А завтра, может быть,
Она проснется в горе и в волненьи...
Но здесь она должна блестеть, сиять
И в прах *его* без милости попрать!..

VII

И много их еще здесь перед нами,
Гладьаторов на битве роковой,
Хотя в наш век не с тиграми и львами
Им суждено вступить в кровавый бой!

Нет, *в них самих* — с их горем, с их страстями —
Свершается борьба их!.. Нет! С судьбой
На жизнь и смерть должны они сражаться
И свету, умирая, улыбаться...

А газ горит, а музыка гремит,
А бал блестит всей пышностью своею.
Толпа гостей волнуется, кипит.
Любуется хозяин гордо ею.
Он думает, что завтра прожужжит
Молва о нем, хвалой и лестью вея.
И праздником доволен он своим,
А свет, почетный гость, доволен им!

14 августа 1850
Село Вороново

ЧЕГО-ТО ЖАЛЬ

По прочтении новым друзьям старых стихотворений

О. Б. М. Э.

Чего-то жаль мне... И не знаю я
Наверное чего... Опять *его* ли,
Кого безумно так любила я,
Так долго и с такой упрямой волей?..
Или тебя, пора моей весны,
Отцветшая пора младых стремлений,
Желаний и надежд и вдохновений...
Той грустной, но всё милой старины!..

О нем зачем жалеть?.. Ведь счастлив он,
Своей судьбой доволен и спокоен,
Минувшего забыл минутный сон...
И, счастия оседлого достоин,
Рассудку подчинил свой гордый ум,
Житейских благ всю цену понимает...
Без детских грез, без лишних страстных дум
Живет... и жизни смысл и цель уж знает!

Он знает, что богатство нужно нам,
Чтоб вес иметь и поддержать значенье;
Что душу не разделишь пополам
С другой душой, что это заблужденье
Мальчишек и девчонок в двадцать лет,
Что барский дом, столь лакомый на славу,
Превознесут друзья, уважит свет...
(Друзья и свет так падки на забавы!)

С поэзией простился он навек
И с прозою сухою помирился;
Член общества, степенный человек,
С приличием в ладу, он научился

Условной речи их... Нет, он не тот,
Чем прежде был!.. О нем жалеть зачем же?..
От женского он сердца сам не ждет,
Чтоб было век оно одним и тем же!..

Нет, не *его* мне жаль! — Мне жаль тебя,
Моя любовь, любовь души беспечной,
Ты верила и вечности сердечной,
Ты верила и в клятвы и в себя!..
Мне жаль еще повязки ослепленья,
Скрывавшей мне житейских уз тщету...
Мне жаль тебя, о гордое презренье,
Ребяческий ответ на клевету!..

Мне жаль тебя, мой благородный гнев,
Ты ложь встречал лицом к лицу отважно,
Ты лесть отверг с ее хвалой продажной,
Ты зависти дразнил зловещий рев!..
Мне жаль тебя, мое самозабвенье,
Готовность глупо жертвовать собой,
Безумно жаль младого увлеченья
С его золотокрылою мечтой!..

После субботы 16 февраля 1852
Москва

ПИСЬМО В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Софье Александровне Рябининой

Пишу к тебе... Заря уж догорела,
И ночь сошла на полусонный пруд...
Все тихо вкруг меня, все опустело,
Деревня спит, забыв дневной свой труд...
Дом барский тоже спит, и лишь со мною
Сосновый лес беседует порою,
Шумя вдали... Легко, привольно мне,
Пишу к тебе в отрадной тишине!

Пишу к тебе,— одна я на балконе,
Вокруг меня и зелень, и цветы;
Сижу, курю... В лазурном небосклоне
Теряются и взоры и мечты...
Природа, лето. ночь, уединенье,—
Источники прямого наслажденья,—
Их струи не иссякли для меня,
Всегда от них упиться жажду я!

Пишу к тебе затем, что сердце полно,
Что много в нем и неги и любви,
Что в голове и дум и мыслей волны
Меняются, что жизнь в моей крови,
В моей душе нечаянно проснулась,
Что с нею песнь в немых устах очнулась,
Что я все я, наперекор судьбе,
И потому, друг мой, пишу к тебе!..

27 июня 1852
Импровизировано на новоселье в Воронове

СЛОВА ДЛЯ МУЗЫКИ

Испанская песня

Там много их было, веселых гостей,
И много шепталось приветных речей...
Один лишь там не был, но этот один —
Всех дум и желаний моих господин.

И сладкие песни мне слышались там,
И страсть в них дышала с тоской пополам...
Лишь голос любимый в разлуке молчал,
Но верному сердцу заочно звучал.

Блеснет ли навстречу мне пламенный взор?
Коснется ли слуха живой разговор?
Всё снится далекий, всё видится он,
И жизнь моя — с ним, а всё прочее — сон!

18 ноября 1852
Москва

МИНУВШЕМУ ВЫСОКОСНОМУ 1852 ГОДУ

Ступай себе! твой минул срок печальный,
О мрачный гость в одежде погребальной,
Тяжелый год и высокосный год!
Отпущен ты не с честию и миром,—
Нет, вслед тебе народы дружным клиром
Кричат итог утрат, скорбей, невзгод...
Ступай себе под бременем упрека,
Напутствуем проклятьем и хулой!
Косил у нас ты бойко и высоко,—
    Гробами путь усеял свой!

Ты взял у нас народные три славы,
Красу и честь России величавой,
Трех лучших, трех любимых между нас!
Ты вырвал кисть из длани вдохновенной,
Ты песнь прервал в груди благословенной,
О вечности вещавшей в смертный час,
Громовое перо сломал до срока
У мудрого наставника людей...
О, сгинь навек, косивший так высоко
    Год наших бедствий и скорбей!..*

1 января 1853

---

* В этот год Россия лишилась Гоголя, Жуковского и Брюллова.— *Примеч. Е. П. Ростопчиной.*

МАЙСКАЯ ПЕСНЬ

В новый лист приоделись березы,
Расцветают сирени в саду,
На балконе красуются розы,
И лягушки проснулись в пруду.
Весна пришла!.. Ее дыханье
Вселенной жизнь дарует вновь;
В природе все благоуханье,
В сердцах все нега и любовь.

От удушливой жизни гостиных,
От сует хлопотливой зимы,
Сбросив цепи всех мелочей чинных,
В глушь и лес порываемся мы.
И разбрелись уж горожане
Все по болотам, по степям
И на полгода в поселяне
Отважно записались там.

Обаянью весны уступая,
Ожил юноша, светский мертвец;
На призыв всемогущего Мая
Отвечает биенье сердец...
Круг модных кукол в женщин страстных
Вдруг превратился и порой
Грустит в раскаяньях напрасных
О жизни, даром прожитой...

Не одна в сладкой муке томленья
Промечтает всю ночь у окна...
У судьбы вымоляя прощенья,
Ждет и плачет тайком не одна!..
И вдруг, как вызванный мечтою,
Желанный спутник предстает,—

Любовь засветит им звездою,
И соловей для них поет!..

А в то время в углу одиноком
Тайно страждет больная душа,
Утопая в минувшем далеком,
С настоящим расчет соверша...
И ей, разрозненной, стесненной,
В холодной пустоте ея,
Все снится край благословенный
С знакомой песнью соловья...

18 мая 1853
Вороново

КОЛОКОЛЬЧИК

Звенит, гудит, дробится мелкой трелью
Валдайский колокольчик удалой...
    В нем слышится призыв родной,—
Какое-то разгульное веселье
С безумной, безотчетною тоской...

Кто едет там?.. Куда?.. С какою целью?..
Зачем?.. К кому?.. И ждет ли кто-нибудь?..
    Трепещущую счастьем грудь
Смутит ли колокольчик звонкой трелью?..
Спешат, летят!.. Бог с ними... Добрый путь!..

Вот с мостика спустились на плотину,
Вот обогнули пруд, и сад, и дом...
    Теперь поехали шажком...
Свернули в парк аллеею старинной...
И вот ямщик стегнул по всем по трем...

Звенит, гудит, как будто бьет тревогу,
Чтоб мысль завлечь и сердце соблазнить!..
    И скучно стало сиднем жить,
И хочется куда-нибудь в дорогу,
И хочется к кому-нибудь спешить!..

27 августа 1853
Вороново

ДУМА ВАССАЛОВ

Виновны вы и правы оба!..
Непримирим ваш вечный спор!..
В жене понятны месть и злоба,
Борьбы отчаянной отпор,
А в муже — гнев за оскорбленья,
За вероломство многих лет!
Согласно жить вам средства нет!
Спасенье вам — разъединенье!
Ваш брак лишь грех и ложь!.. Сам бог
Благословить его не мог!..

Закон, язык, и нрав, и вера —
Вас разделяют навсегда!..
Меж вами ненависть без меры,
Тысячелетняя вражда!..
Меж вами память, страж ревнивый,
И токи крови пролитой...
Муж цепью свяжет ли златой
Порыв жены вольнолюбивой?..
Расстаньтесь!.. Брак ваш — грех!.. Сам бог
Благословить его не мог!..

22 сентября 1853
Вороново

СЛОВА ДЛЯ МУЗЫКИ

Посвящается Меропе Александровне Новосильцевой

И больно, и сладко,
Когда, при начале любви,
То сердце забьется украдкой,
То в жилах течет лихорадка,
То жар запылает в крови...
И больно, и сладко!..

Пробьет час свиданья,—
Потупя предательный взор,
В волненьи, в томленьи незнанья,
Боясь и желая признанья,
Начнешь и прервешь разговор...
И в муку свиданье!..

Не вымолвишь слова...
Немеешь... робеешь... дрожишь...
Душа, проклиная оковы,
Вся в речи излиться б готова...
Но только глядишь и молчишь —
Нет силы, нет слова!..

Настанет разлука,—
И, холодно, гордо простясь,
Уйдешь с своей тайной и мукой!..
А в сердце истома и скука,
И вечностью нам каждый час,
И смерть нам разлука!..

И сладко, и больно...
И трепет безумный затих;

И сердцу легко и раздольно...
Слова полились бы так вольно,
Но слушать уж некому их,—
    И сладко, и больно!..

2 февраля 1854

СЛОВА ДЛЯ МУЗЫКИ

Княгине Марии Ив<ановне> Голицыной,
рожденной Похвисневой, в Тифлис

Бывало, я при нем живее,
Одушевленнее была,
И смех звучал мой веселее,
И речь свободнее текла.

При нем я на других смотрела,
Ему слегка бросая взор;
Лишь слова два подчас умела
Вплесть для него в свой разговор.

Как будто я не замечала,
Что он всё тут, всё занят мной;
Как будто холодно встречала
Привет, мне втайне дорогой.

Теперь... о нет!.. совсем другое,
Я изменилась, я не та...
В толпе, мне мнится, нас лишь двое,
И только им я занята.

Другие в тягость мне!.. Нет силы
Для них терять слова его,
И только б с ним я говорила,
И всё б смотрела на него!..

15 марта 1854

В ДЕРЕВНЕ

В альбом Я. П. Полонского

Здорово иногда, хоть волей, хоть неволей,
От жизни городской урваться в глушь лесов,
Забыть счет дням своим и мерный ход часов,
Тревогам и трудам не жертвуемых болей...
С своею мыслию, с собой наедине
Сосредоточиться, прервать совсем на время
Наш быт искусственный, стряхнуть заботы бремя,
Природы жизнию простою жить вполне...
Дышать всей негою дней летних или вешних,
Укрыться в зелени, под листвою густой,
Ленясь, блаженствуя, лежать в траве сырой,
Под песню птиц лесных, под шум гармоний внешних
И внутренних!.. Тогда душа, проснувшись в нас,
Под общий, дивный строй подладится невольно,
И ей легко, свежо, отрадно и раздольно,
И с ней вселенная заговорит тотчас...
Умей лишь понимать!.. Имей лишь слух да око,
От самого себя на время отрекись
И в созерцание, в молитву претворись,—
Близка поэзия, до веры недалеко!..
Сначала по складам, потом смелей читай
В предвечной хартии, во книге мирозданья;
И радуйся дарам святого пониманья...
Но к мертвым письменам свой взор не обращай,
Не распечатывай ни писем, ни журналов,
Забудь и свет и век!.. Лишь изредка открыть
Поэтов избранных дозволено, чтоб жить
В высоком обществе бессмертных идеалов...
И сердцем освежась, и отдохнув душой,
Мыслитель и поэт вернется в шум столичный,
К начатому труду, к своей борьбе обычной
Сильней, могучее, бойцом, готовым в бой!

10 июля 1854
Вороново

ГОЛУБАЯ ДУШЕГРЕЙКА

Слова для музыки

Ножка, ножка-чародейка,
Глазки девицы-души,
Голубая душегрейка,—
Как вы были хороши!..

Помню, помню, как, бывало,
В зимню пору, вечерком
Свет-красотка выбегала
Погулять со мной тайком!..

Пусть журила мать-старушка,
Пусть ворчал отец седой,—
Выпорхала их резвушка
Птичкой вольной и живой.

Помню радость жданной встречи,
Нежный взгляд, невольный страх,
Помню ласковые речи
И румянец на щеках.

Помню беленькую ручку,
Перстенек из бирюзы,
Помню песню-самоучку,
Детский смех и блеск слезы.

Помню муку расставанья
И прощальный поцелуй...
Эх, молчи, воспоминанье!..
Полно, сердце, не тоскуй!..

Не вернуть тебе былого,
Стары годы не придут!
Жадных уст моих уж снова
Поцелуи не сожгут!

Ножка, ножка-чародейка,
Глазки девицы-души,
Голубая душегрейка,—
Как вы были хороши!..

Январь или начало
февраля 1855

СТРАННЫЙ СОН

Мне зрелся сон. Там где-то в отдаленьи,
В туманной мгле, на рубеже двух стран —
Действительной и умственной, виденье
Открыло мне картину, иль обман
Явил свою фантазию, но странный
Причудился мне мир... Хотя то был
Начал различных хаос безымянный,
Мир сказочный и кукольный, но жил
Он все-таки по-нашему. Роилось,
Копышилось, металось, суетилось
Народонаселение пигмей,
Вершковых тварей, карликов строптивых,
Их самочек, их карлиц суетливых,
И старичков, похожих на детей,—
Пародии живые человека,
Меж коих мальчик-с-пальчик мог бы быть
Героем дня и даже дивом века,
Где великаном мог Том-Пус прослыть!..

По росту и по мерке их им впору
Все было между ними: сердце, ум,
Душа и честь... У них, по договору
Премудрому, не просто наобум,
Все было приспособлено прекрасно
К силенкам их, к страстишкам, к мождоте,
Чтоб уместиться в них, чтоб безопасно
Ужиться в их природной нищете...
Все: совесть, мысль, понятия и мненья,
И воля их, и долг, и убежденья —
Все, даже страсть и даже жизнь сама,
Все было в них так скудно, так ничтожно,
Так тесно, так условно и так ложно,
Что весь их быт казался кутерьма,
Комедия, играемая ими,

Чтоб пестротой бессвязною своей,
Чтоб сценами нелепо площадными
Смешить ребят и забавлять чертей.

Им дружба стала в сказку-прибаутку,
Любовь у них сбивалась на вражду,
О совести меж них твердилось в шутку,
С изменой честь жила у них в ладу.
Хулить и лгать казалось им забавно;
В застое и бездействии умов
Лишь язычки работали исправно,
Да качество желудков и зубов
Судилище обжор весьма ценило...
Одно лишь в них развито чувство было,
И все росло, перерастая их:
Дух зависти!.. Свирепо и жестоко
Все, что казалось карликам высоко,
Они терзали, и житья у них
Не находил жрец мудрости, мыслитель,
Ни сын богов, мечтающий поэт...
Их жалкий род, всех избранных гонитель,
Коснел во тьме и ненавидел свет.
И вдруг среди всех мелких сих созданий
Иное мне явилось существо —
Обыкновенных форм и очертаний,
Такое, как меж нами большинство;
Особенно оно не отличалось
Ни красотой, ни блеском, ни умом,
Но было во весь рост — и показалось
Уродом и чумой в народе том...
Оно не их ползучей жизнью жило,
Не их условной речью говорило,
Не гнулось, чтоб под уровнем стоять
С толпою их... Оно, презрев их мненьем,
Дышало мыслью, страстью, вдохновеньем,
Не объяснялось им, и их понять

Не силилось... За то, великий боже!..
Как разозлился лилипутов рой!..
Тут сну конец!.. Не правда ли, похоже
На то, что здесь мы видим пред собой?..

Май 1855
Окончено в Воронове

СЛОВА ДЛЯ МУЗЫКИ

Не сотвори себе кумира,
У ног бездушной красоты
Не трать высокие мечты!
От воплощенной суеты
Не жди любви, не требуй мира!..

Любуйся блеском черных глаз,
Но не ищи в них тайной страсти...
Безумец ты!.. В твоей ли власти
Вдруг заменить мечтой о счастьи
Блажь легких шуток и проказ?!.

Каприз пустейшего кокетства,
Тщеславья женского обман
Повергли разум твой в туман;
Слепец, прозри!.. Твой истукан
Утратил сердце с малолетства.

Смотри: ты сохнешь и горишь,—
А ей-то что?.. Ей горя мало!..
Ей нынче зеркало сказало,
Что платье очень к ней пристало,—
Так чем ее ты удивишь?..

Дань нежных чувств, дань удивленья,
Намеков, робких полуслов
Она приемлет от рабов
Как долг законных должников,
Как побежденных приношенье...

Беги приманок роковых!..
Такие женщины не любят,
И если даже приголубят —
Как змей, задушат и погубят
Они в объятиях своих!..

3 февраля 1856
Москва



ОТ ПОЭТА К ЦАРЯМ

> Беда стране, где раб и льстец
> Одни допущены к престолу!..
>
> А. Пушкин

Не бойтесь нас, цари земные:
Не страшен искренний поэт,
Когда порой в дела мирские
Он вносит божьей правды свет.

Во имя правды этой вечной
Он за судьбой людей следит;
И не корысть, а пыл сердечный
Его устами говорит.

Он не завистник: не трепещет
Вражда в груди, в душе его;
Лишь слабых ради в сильных мещет
Он стрелы слова своего!..

Он враг лишь лжи и притеснений,
Он мрака, предрассудка враг;

В нем нет ни тайных ухищрений,
Ни алчности житейских благ.

Нет, не в упрек, не для обиды
Звучит его громовый стих,
Когда, глас высшей Немезиды,
Карает он и зло и злых,—

Он только верно выполняет
Свой долг святой пред божеством;
Он только громко повторяет,
Что честь и совесть скажут в нем!

Живет он средь житейской смуты
Не в свой, а в божий произвол;
На помощь дан для битвы лютой
Ему орудием глагол.

Не знает он любостяжанья;
Благоговейно принял он
От неба в дар свое призванье,
Добра желаньем вдохновлен.

Не нужно ничего поэту —
Ни лент, ни места, ни крестов;
Поэт за благостыню эту
Вам не продаст своих стихов!

Зачем вельможные палаты
Тому, кто ищет высь небес?
Зачем блеск почестей и злата
Жильцу обители чудес?

Не бойтесь нас, земные власти,
Но не гоните только нас:
Мы выше станем при несчастьи,
В гоненьи дорастем до вас!

Под стражей общего вниманья
Растет и множится наш род;
За опалу́, за поруганье
Любовью нам воздаст народ!

Молва за нас!.. Судьба бедою
Грозит ли нам издалека —
Уж над беспечной головою
Молвы хранящая рука!

Не обижайте нас — преданье
За нас потребует отчет
И в месть за нас, вам в наказанье,
И вас, и нас переживет!

Не бойтесь нас!.. Мы правду знаем,—
Вам больше всех она нужна!
Мы смысл ее вам разгадаем,
Хоть вам не нравится она!

Не бойтесь нас!.. Мы правду скажем,
Народный глас к вам доведем,
И к славе путь мы вам укажем,
И вашу славу воспоем!

Но бойтесь уст медоточивых
Низкопоклонников, льстецов;
Но бойтесь их доносов лживых
И их коварных полуслов!

Но бойтесь похвалы лукавой
И царедворческих речей:
В них яд, измена и отрава,
Отрава царства и царей!

Но бойтесь всех подобострастных,
Кто лижут, ластятся, ползут...

Они вас, бедных, самовластных,
И проведут, и продадут!

Они поссорят вас с народом,
Его любовь к вам охладят
И неминуемым исходом
Пред вами нас же обвинят!

Август 1856
Москва

ПЕСНЯ

Мы прежде изредка встречались,
Тайком, наедине, в тиши,
Те встречи редко удавались,
Но были дивно хороши...
    Бывало, ждешь и день, и сутки,
    Неделю целую прождешь
    И в жизни счастья промежутки
    С тоской безумною клянешь.

Бывало, все условья света
Мы чтили свято, глубоко,
И вечное притворство это
Обоим было не легко...
    Никто не знал, что мы знакомы,
    Что мы друзья, никто не знал...
    Зато, какое счастье дома,
    Когда день счастья наставал!

Теперь встречаемся мы часто
И много тратим слов пустых;
Вкруг нас — шум, говор, смех, и нас-то
Всех больше тешит смех других.
    Без замешательства, без краски
    В глаза друг другу мы глядим;
    Под холодом приличной маски
    Уж ничего мы не таим?..

Сойдемся ласково, спокойно,
И весело простимся мы,
В нас нет тревог, нет думы знойной,
Всей этой умственной чумы...
    Но, боже, если б было можно
    Невозмутимый наш покой
    Отдать за день, за миг тревожный
    Любви и радости былой!..

(1856)

В ЛУННУЮ НОЧЬ

Какая ночь!.. Какое небо!..
Какая чудная луна!
Блестит, горит... Чтó, если мне бы
Светила в дальний путь она?..

Но скучен путь мой одинокий
И никуда уж не ведет...
Теперь ни близко, ни далеко
Никто, ничто меня не ждет!..

Приходят дни, и дни уходят,
Им счета не держу уж я;
Они надежды не приводят
В мир, безнадежный для меня.

Заря потухнет иль зажжется,
Взойдет ли солнце иль зайдет,—
Звонок в дверях не раздается,
Желанный гость ко мне нейдет!..

На милый звук любимой речи
Я всей душой не отзовусь,
Румянцем — радости предтечей —
Я всей щекой не разгорюсь...

Дрожа, бледнея, замирая,
Сто раз к окну не подхожу;
Сквозь слезы, взоры потупляя,
Ни на кого уж не гляжу...

Ни для кого не наряжаюсь,
Цветов условных не ношу,
С утра на вечер не сбираюсь,
На встречу счастья не спешу...

Так что ж смотреть на небо это,
На эту чудную луну,
Искать напутственного света
В обетованную страну?..

Так что ж все вдаль я рвусь тоскою,
Как будто счастье впереди?..
Что сердце пташкою больною
Забилось в трепетной груди?..

Февраль 1857
Москва

В МАЙСКОЕ УТРО

Скорей гардины поднимите,
Впустите солнышко ко мне,
Окошко настежь отворите
Навстречу утру и весне!

Он прилетел, наш гость желанный,
Он улыбнулся, светлый май!
Всей жизнью нам, благоуханный,
Твори, и грей, и воскрешай!

Пора!.. Смотри, в природе целой
Все ждет тебя, зовет к тебе...
Изнемогла и помертвела
Она со стужею в борьбе.

В уничтожающих объятьях
Всеразрушающей зимы,
В напрасном ропоте, в проклятьях
Изнемогаем тоже мы.

Ты, голос ласточке дающий,
Подснежнику дающий цвет,—
Дух божий, жизни дух могущий,—
Ты не забудешь нас, о нет!..

Дающий всякому дыханью
Что нужно естеству его,—
Внуши разумному созданью,
Чтó для него нужней всего.

Расширь на смелое стремленье
Крило незримое души
И в битве жизненной терпенье
И силу воли нам внуши!

1 мая 1857
Москва

СУДЬБА СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ

(Когда я узнала зараз о смерти Михаила И. Глинки и о сумасшествии Гурилева)

Посвящается Николаю Савичу Мартынову

«С ума сошел!.. Скончался или спился,
Во цвете лет, не кончив подвиг славный!..»
Таков у нас обычай завелся,
И публике со стороны забавно:
Новинка есть, дня на два ей дался
Предмет для болтовни... Для ней ведь ровны
И ваша жизнь, и ваша смерть, ей-ей!..
Вот ваш успех так был бы горек ей!..

С ума сошел!.. Спился!.. Иссох в бессильи
Физическом и нравственном!.. И к нам
Приходит весть, что братья опочили,
Что ранний гроб еще причтен к гробам
Художников умерших.. Но не мы ли
Дадим ответ за них и небесам,
И будущим правдивым поколеньям?..
Не мы ли подлежим их осужденьям?..

Не мы ль должны, как Каин, отвечать
За Авеля и кровь его святую?..
Не нам ли долг любовью поддержать
Талантов русских братию родную?..
А мы?.. мы в них умеем грязь метать,
Мы шлем им вслед хулу, насмешку злую,
Умеем мы завидовать, корить
И торжество другому отравить!..

Гордимся ль мы народной нашей славой?..
Твердим ли мы с восторгом имена,
Стяжавшие венец себе и право
Прославить в мире наши письмена,

Честь русского искусства?.. Наши нравы
Допустят ли, чтоб хоть звезда одна
На темном нашем небе появилась,
Прошла свой путь и в блеске закатилась?..

Нет!.. Звезды нам к чему?.. От их лучей
Разительней невежества потемки,
Ничтожество виднее и грубей!..
И без того уж слишком стали громки
Все эти имена пустых людей,
Мечтателей, певцов!.. И что потомки
Подумают, когда дойдет до них,
Что баловали мы людей таких?..

Нет!.. С звездами мы ладить не умеем!..
Стащить к себе на землю их хотим!..
Мы нехотя их хвалим, мы жалеем,
Что ладаном насильно их кадим...
Их горний свет оспоривать не смеем,
Но клеветой за этот свет им мстим!..
Достать до них и трудно и высоко,—
Пусть сглазит их завистливое око!..

Кто виноват — железный ли наш век
Иль бледное артистов поколенье,—
Но нынешний приемлет человек
На пагубу и кару вдохновенья!..
Бог приговор смертельных мук изрек
Всем головам, вместившим дар мышленья...
Бог им сказал: «Живи в борьбе с судьбой,
С сомненьями, с людьми, с самой собой!..»

Бог им сказал: «К земле не приставая,
Живи земным, трудовым житием!..
Ищи небес, небес не достигая,
Гори святым, погибельным огнем,

Стучись, прильни к запретной двери рая,
Средь мира будь не гостем, а врагом!..
И не поймут ни ближний, ни родные
Души твоей страданья роковые!..»

И вот они свершают жребий свой...
Один создал громадное творенье,
Гармония могучею волной
В нем излилась, науке в удивленье.
Мир восхищен!.. Художник молодой
Высокое вкушает награжденье,
Молва хвалой его ласкает слух,
И свежих сил в нем полон бодрый дух.

Но вдруг змея в подполье зашипела...
То зависти немолчная змея!..
Толпа за миг пред ним благоговела,
Теперь он слышит суд и свист ея...
Он изнемог, ему нелюбо дело,
Он смолк навек, талант свой затая...
А доктора кричат: «В нем печень ноет,
Италия его поуспокоит!..»

В Италию как рвется здесь один...
Он солнца сын, любовник страстный света,
Он кисти первожрец и господин,
Со львиной головой, с душой поэта...
Он царства муз свободный гражданин,
Он дома там... Но не поможет это!..
Есть мир иной, железной прозы мир,—
И гения полет сковал мундир!..

Прикован он к граниту, к степи снежной,
Он телом здесь, душой же вечно там!..
Но обессилев в битве безнадежной,
Измучась этой жизнью пополам,

Он перестал творить... Разгул мятежный
Забвенье дал бунтующим страстям...
В нем гасла жизнь, в нем гибло вдохновенье...
Он в гроб унес неполное творенье!..

Да, может быть, еще в груди у них
Таилася неведомая рана
И с мукою, и с внешним горем их
Слилася боль сердечного обмана?..
И та, кого они меж жен земных
Избрали, та!!. Но поздно или рано
Так быть должно!.. Художник и поэт,
Всегда затмит уланский вас корнет!*

И есть еще несчастья: если светом
И женщиной художник пощажен,
Когда семьей покоен он и в этом
Всю сердца жизнь сосредоточил он,
Трудовый хлеб свой ест, живет аскетом,
Ни почестьми, ни златом не прельщен,—
Придет беда, придет болезнь лихая,
И нищета — ее подруга злая!..

И заедят несчастного оне!..
Жена бледна, а дети голодают,
Дрожь бьет в костях, а голова в огне,
И силы все, все средства замирают!..
Где ж благотворной быть тут тишине?..
Где тут творить, когда тебя терзают
Недуг и нищета?.. С ума сойдешь
Как раз, а там — в больницу попадаешь!..

И скажет свет, причин не разбирая:
«Спился!.. порок!.. разврат!..» Нет, не порок!

* Смотри «Онегина».— *Примеч. Е. П. Ростопчиной.*

Нет, не разврат!!. А доля роковая!..
Отчаянья горчайший плод!.. Увлек
Страдальца в омут свой, душой играя,
Озлобленных страстей и чувств поток...
Нет!.. Он в вине искал не опьяненья,
Он в нем искал покоя и забвенья!..

Итак, смягчите суд свой, господа!..
Свой приговор, упрек свой воздержите!..
Перекреститесь лучше, коль беда
Чужую голову снесет!.. Молчите
Пред громами небесного суда,
И мучеников прах хоть пощадите!..
Тяжел им был наш век, наш мир земной!..
Пусть примет их с любовью мир иной!..

11—15 июня 1857
Вороново

Из сатирических произведений

* * *

Пускай в России нет дворян,
Пускай все русские вельможи —
Из чухон, ляхов и армян,
На русских вовсе не похожи;
Пускай наследие Петра —
Страшилище врагов и внутренних и внешних;
Вся наша гвардия осталася верна
Названью прежнему «потешных».
А слава древняя дружин,
Сословие детей боярских,
На место теплое иль заряся на чин,
Погрязло в дрязгах канцелярских
И, саблю заменив пером,
Кольчугу бранную позорным виц-мундиром,
Ярыжкам сделалось подобное во всем
И стало мерзостным вампиром,
Который день и ночь сосет
Все соки лучшие из русского народа
И даже ухом не ведет,
Что есть уж два изданья «Свода».
Пускай и самый наш народ,
Враг ненавистный иноземцев,
По праздникам мертвецки пьет,
А буднями работает на немцев.

Пускай казна истощена
И нам по-прежнему пристала
Пусть фраза та, что «Русь обильна и сильна,
Да только в ней порядка мало».

1840-е годы

ИЗ КОМЕДИИ «ВОЗВРАТ ЧАЦКОГО В МОСКВУ, ИЛИ ВСТРЕЧА ЗНАКОМЫХ ЛИЦ ПОСЛЕ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНЕЙ РАЗЛУКИ»

<СТИХОТВОРЕНИЕ ЭЛЕЙКИНА>

Вставайте... сбирайтесь, народы,
Услыша желанный трезвон!..
Ветвь с ветвью сплетайтесь, о роды,
От корня славянских племен!..
Срок минул жестоким изгнаньям!..
Пора плен чужбины разбить
И вновь, по старинным преданьям,
Одною семьею зажить!..

Примеру благому послушны,
Пусть наши и ваши поля
Сойдутся,— в день встречи радушной
Взыграет родная земля!..
Ты, Волга, целуйся с Дунаем!..
Урал,— ты Карпат обнимай!..
Пляшите, как братья, край с краем,
И всё, что не мы,— пропадай!..

Прочь ложь и соблазны науки,
Искусства и мудрость людей!..
Словенские души и руки
Невинней без ваших затей!..
Зачем нам уменье чужое?..
Своим мы богаты умом!..
От Запада разве лишь злое
И вредное мы переймем!..

Что проку от грешной музы́ки,
От статуй и голых картин!..
Скупайте их златом, язы́ки!..

Пусть плюнет на них Славянин...
Сожжемте на вече творенья
Всех, всех чужеземных писак!..
Вот Нестор — мои песнопенья!
В чтецы — вот приходский вам дьяк!..

Отпустим бородки до чресел,
В нагольный тулуп облачась,
И в лес все пойдемте!.. Как весел,
Как светл обновления час!..
Да здравствуют наши трущобы,
Разгул, старина, простота...
Без распрей, без лести, без злобы
Здесь жизнь и сладка, и чиста!..

С медведем мы пустимся в битвы
За мед и за шкуру его,
И всяк, возвращаясь с ловитвы,
Съест гордо врага своего!..
Шипучие вина забудем!..
Анафема трюфлям у нас!..
Славяне!.. отныне мы будем
Есть кашу — и пить только квас!..

<СТИХОТВОРЕНИЕ ЦУРМАЙЕРА>

Идея

Идея!!. Великое слово!..
Громовый, убийственный свет!..
Ты силой бороться готова,
Ты истиной блещешь суровой
Пороку,— и власти клеврет
Бежит, закрыв грешные очи,
В холодную мглу вечной ночи!..

Идея!.. Ты, божье светило,
Зарею над миром взошло
И вмиг старый мир обновило,
И в бой с предрассудком вступило,
И ночь побеждаешь, и зло...
Бледнеет лик тощий злодея,
Встречаясь с тобой, о идея!..

Ты царства ломаешь, как лозу,
Ты ложных героев казнишь,
Ты страх им во грудь, как занозу,
Вонзаешь и гибели грозу
Безумным главам их сулишь!..
Блажен, пред тобой пламенея,
Кто служит тебе, о идея!..

Ты цепию братства связала
Народов святой хоровод,
Ты тайну им века сказала!..
И жизнь за тобой побежала,
Бежит человеческий род...
Сияй же нам вечно, нас грея,
Идея, святая идея!..

1856

ДОМ СУМАСШЕДШИХ В МОСКВЕ В 1858 ГОДУ

Продолжение Воейковского «Дома сумасшедших» (Отрывки)

Посвящается на елку дяде
Николаю Васильевичу Сушкову

1

В петербургский дом безумных
Встарь Воейков вас водил,
Бешеных и полоумных
Ярко вам изобразил;
Шашни их с блажным их бредом
Бойко, верно рассказал,
Под конец же сам соседом
К ним нечаянно попал.

2

Нынче древния столицы
Посетим мы желтый дом,
Замечательные лица
Обойдем там чередом.
Много радостей на диво
Узрим и услышим мы;
Урожайны наши нивы
На безмозглые умы!..

. . . .

8

Вот их вождь и председатель,
Вот святоша Хомяков,
Их певец, пророк, вещатель:
Вечно спорить он готов

Обо всем и без причины,
И, чтоб ум свой показать,
Он сумеет заедино
Pro и contra* поддержать.

9

Русской старины блюститель,
То он ворог англичан,
То пристрастный их хвалитель,
Он за них речист и рьян...
То, в корнях индейских роясь,
В брамах дедов ищет нам,
Непричесанный и моясь
Редко, с горем пополам!..

10

Православья страж в народе,
Крепко держит он посты,
Много пишет о свободе,
Восстает на суеты.
Он о «мерзостях России»
Протрубил во все рога...
Говорят, рука витии
Для крестьян его строга?!!

11

Кошелев — беседы русской
Корифей и коновод,
Революции французской
В недрах Руси скороход;
Славен мыслями чужими
И чужим добром богат,
Меж сеидами своими
Доморощенный Марат.

* За и против (*лат.*).

12

Долго он, отличья ради,
Театральный армячок
Надевал, но, шедший сзади,
Молвил русский мужичок:
«Эва, немец!» — от такого
Он сужденья покраснел,
Басурманского портного
Богомерзкий фрак надел!..

13

Движим чувством новомодным,
Духом времени объят,
В бескорыстьи благородном
Волю дать рабам он рад:
С каждой девки непригожей
Пятьдесят рублей берет,
Но с хорошенькой... дороже,
Ровно вдвое он дерет.

. . . .

18 bis

Прежний бард, теперь сатирик,
Враг Петрополя, Невы,
Верноподданнейший лирик
От Симбирска до Москвы,
Древний славы соименник,
Тут и Дмитриев второй...
Дяди не догнал племянник
Ни стихом, ни головой.

19

Чья возвышенная дума,
Чье склоненное чело
Отличаются угрюмо
От других?.. Как занесло
В круг смешной и дикой дури
Европейский светлый ум?..
Как попал боярин Юрий
В этот мир и в этот шум?..

. . . .

21

Берегитесь!.. Сторонитесь!..
С длинной речью невпопад
Вот хромой!.. Как ни вертитесь,—
Не отступите назад:
Он заденет вас клюкою;
С хламом, с пылью древних дней
Сбудет вас ценой большою
В библиотеку царей!..

. . . .

23

Двух миров на перепутьи
Есть особенный отдел,
Разнородные лоскутья
Разнокачественных тел:
Междоумкам, не попавшим
В ряд властительных кружков
Иль за что от них отпавшим,
Теплый угол тут готов.

24

Нерешительно качаясь
В фонаре под потолком,
Беспокойно озираясь
Любознательно кругом,
Слух и зренье изощряет
Полицмейстер-либерал...
Прочих много воспрошает,
Сам себя не досказал.

25

Здесь и комик с «новым словом»,
По словам его друзей;
Он Колумб наш в мире новом
Злых и добрых торгашей;
Долго был москвич душою
С «Москвитянином» скреплен...
Но житейскою волною
В «Современник» занесен!..

. . . . . .

48

Вот Кассандра новой Трои,
Вот Сафо — Ростопчина...
Избавителя-героя
Ищет родине она,
Беспощадно уличает
Демагогов всех мастей...
Тщетно гнев ее пылает:
Где ж со всеми сладить ей?

. . . .

50

А тебя куда причислить,
Мамзель Яниш, вдовый муж,
Славный за способность мыслить
И рассчитывать к тому ж?..
Против лилии Бурбонской
Ты жестоко восставал,
Сам же в Лилии Нарбонской
Чертом синеньким плясал!..

51

Строгий критик с высшим взглядом,
Всесторонний либерал,
Ты с домашней музой рядом
Сонм ученых угощал;
Дидероты и Декарты,
При Грановском Шевырев,
Философия и карты,—
Всем ты рад, на все готов.

52

Ты на взятки негодуешь,
На неправды восстаешь,
На банкетах первенствуешь
И оратором слывешь...
У противника в зенице
Ты соломинку узришь,—
О своей же половице
Ничего не говоришь!..

53

Безымянными стихами
Наводнив не раз Москву,

Ты поссорился с властями
Не во сне уж — наяву...
Но теперь зарей лучистой
Вновь звезда твоя встает,—
Речью бойкой, голосистой
Ты обрадовал народ!..

54

Вдруг оратора-поэта
Взбунтовались мужики...
Ты просил властей клеврета:
«Крепче их, больней секи!..»
Ты жандармскую природу
Злобной местью удивил,
Братство, равенство, свободу
На спине рабов явил!..

. . . .

64

Здесь не встретите вы бород,
Речи грубой и смешной;
Здесь не выкопанный город
Из-под грязи вековой!..
Здесь причесаны все гладко,
Руки моют, носят фрак;
Здесь не душно вам, не гадко!..
Безопаснее ль?.. Никак!!!

65

Здесь все речи чинны, строги,
Реформаторский язык!
(Ухищрения премноги,

Чтоб их слушать свет привык!..)
Здесь под тонкой оболочкой,
В маске — мысль двуострый меч...
Мерно, плавно и с отсрочкой
Норовят подкоп поджечь!..

68

Здесь Катков — кружка *Беседы*
Нареченный супостат...
(*Вестник* враг ей... до обеда,
А потом... ей станет брат!..)
Не ищите убежденья
У редакторов иных:
Их пружина — вверх стремленье
И потребность благ земных!..

. . . . . .

70

В заключенье представляем
Вам комиссию врачей,
За которой пробегаем
Мы приют забавный сей.
Вот — прибывший из столицы
Славный некогда поэт,
Песнью, былью, небылицей
Он, бывало, тешил свет...

71

Все, что русской мощи любо:
И *зима*, и *самовар*,

Праздной *масленицы шуба*,
Молодеческий разгар,
Русский бог и путь *наш санный* —
Все воспето было им;
Остроумный и нечванный,
Он радушно был любим...

72

И добра творил он много,
Бедной братьи помогал...
Дарованью он дорогу
Часто, часто открывал...
Но под старость жизни честной
Место важное заняв,
Клеветой гоним всеместно,
Новый век к нему не прав.

73

С князем важным, для сравненья,
Вот и резвенький князек —
Всесторонний друг ученья,
Знаний в нем кипит поток:
Музыкант и математик,
Химик, дядя Ириней,
Органист, поэт, лунатик,
Член приютов, друг детей...

74

Сам, как Гете, он бездетен
И лишь книг своих отец!..
При дворе зато заметен,
Ключ двора и ключ сердец
Он имеет... Охраняет
Библиотеку, музей,

А за нрав свой сохраняет
Всюду пламенных друзей.

75

С ними тощий, поседелый,
Жизнью сломанный поэт,
В ком душа убила тело
И горит духовный свет...
На лице умно-прекрасном,
На измученных чертах
Есть рассказ о горе страстном,
О мучительных борьбах...

76

Потому всегда готово
Для страданий, слез чужих
У него участья слово,
Дань святая чувств святых...
Кроткий духом, мягкий нравом,
Как-то дипломат-певец
Сладит с цензорским уставом,
От волков спасет овец?..

. . . .

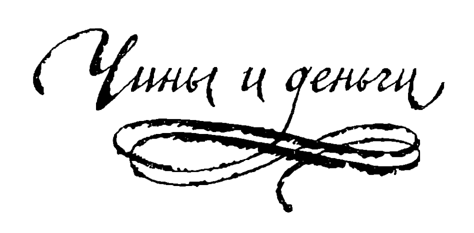
78

Комитет, прошед с вниманьем
Умственных недугов дом,
Беспристрастным совещаньем
Тайно занялся потом;
Что решил он — неизвестно!
Но готовят, говорят,
Души, ванны — правдой честной
Всех больных омыть хотят.

Кончено в Воронове
17 мая 1858



10 Заказ 1086



I

Письмо Вадима Свирского к его сестре

С.-Петербург, 14 февраля 18.. г.

Сестра! какая мысль родилась в твоем воображении? Откуда любопытство в этом воображении, всегда спокойном, беспристрастном, холодном, как лед, покрывший теперь мои окна?.. Чего хочешь ты от меня? Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе, и подробно и откровенно, все, что было со мною в эти *четыре месяца*, проведенные мною в Москве!

Но для чего же не просишь ты восторженного употребителя опиума, чтобы он поведал тебе о тысяче волшебных приключений, в часы искусственного сна с ним бывших? Почему не требуешь ты, чтобы он передал тебе в словах земных, в словах человеческих те радости, те чувства, те ощущения вне предела бытия нашего, которые посылает ему упоительная сила употребляемого им напитка?

Друг мой! чары любви, как чары опиума — понятны только тем, кто испытал их! Непосвященным не дано проникнуть в их загадочную повесть, и голос страстей всегда останется диким и чуждым для бесстрастия. А ты — что может быть невиннее и безгрешнее твоей души, тихо развившейся в тесном мире домашней жизни, в уединении и молитве? Горлица хочет изведать стихию саламандры[1]. И как рассказать, как описать мне огненные порывы моего сердца, знойные дни моего счастия? Предприятие безумное! Язык человеческий слиш-

ком беден, слишком ничтожен — не ему выражать богатства нашего сердца, и рассказ любви, как портрет красавицы, вечно останется неудовлетворительным, неполным.

Видно, впрочем, что ты не любила! Иначе ты не говорила бы так просто: *«Хочу, мой Вадим, хочу знать, кто эта очаровательница, отнявшая у нас лучшую часть твоего сердца и для которой так бессовестно укоротил ты свое пребывание у нас, свидание, вымоленное многолетними желаниями старого отца и бедной, одинокой твоей сестры? Опиши же мне, где и как ты с ней познакомился, как вы сошлись, как объяснились, какие надежды теперь ты имеешь — словом, все, да, все, что относится до поездки твоей в Москву, что было с тобою ежедневно, ежеминутно...»*

Признаться, друг Катя, эти строки показались мне так странны, что я придумать не мог, как мне на них отвечать! Если бы не тесная дружба, от младенчества нас связавшая, если бы не всегдашняя снисходительность твоя, снискавшая вполне мою доверенность — я не решился бы поделиться заветной тайной моего сердца, первыми порывами *первой*, но — *вечной* любви. Не уважить твоего желания была бы неблагодарность, и я попытаюсь — слышишь, сестра,— *попытаюсь* высказать в мертвых словах мои живые чувства.

Мы росли вместе, и ты знаешь, каким светлым мечтаниям я предавался, рисуя мысленно черты и прелесть женщины моих безотчетных грез; ты знаешь, какими восторгами пылала душа моя заранее для чистого идеала отроческих дней,— но ты не знаешь, но ты не можешь понять, как жестоко существенность разбила эти надежды, эти сны, как страдал я, когда беспрестанные опыты приводили меня к новым обманам и каждая встреча отнимала у сердца моего по заблуждению, у души моей по верованию. Я должен был признаться себе, что *воображаемая* была слишком неземная, что мне не найти ее на земле,— и пламенное исступление, для нее приготовленное, заменил я пошлыми впечатлениями, столь же легко забываемыми, как сны с пробуждением. Мне жаль было отдать мое сердце, *все сердце* той, которая не могла его понять. И я

дробил его на мелкие искры неполных чувств. И я оставался равнодушным к деревенскому кокетству наших соседок и к гордой неприступности петербургских красавиц. Никогда голос страсти не пробуждал моей души, никогда умиление не повергало меня в прах перед милым существом! Я насильно забирал себе в голову двухдневную фантазию — но только для того, чтобы следовать обычаю, чтобы не отставать от резвых товарищей моей молодости. Рассудительно и медленно обдумывал я свои планы; холодно приступал к их исполнению, систематически брал кольца, ленты, волосы; спокойно, раскуривая трубку, писал письма, дышавшие страстью, получал записочки на атласистой бумажке и отправлял в огонь все эти трофеи моих шалостей, когда арсенал мой ими наполнялся. Но при всем этом сердце мое билось так же ровно, как в детстве за геометрическим чертежом, и в моей душе было пусто, как в глуши степной...

Однако, что же делало *оно*, это сердце, рожденное для жарких страстей? Чем жило это воображение, тревожное и алчное, привыкшее питаться восторгом и мечтами?.. О! они не участвовали в жизни суетностей; они жили в другой сфере — они все более и более жаждали любви и счастья, просили высоких чувств и высокой цели; они томили меня, как лишняя ноша; они преследовали меня в этом рассеянном быту, куда я погружался, чтобы заставить их забыться... И в часы уединения по-прежнему вымаливал я у непреклонной судьбы исполнения моих ранних дум, олицетворения моих юных снов! Но нигде, нигде не находил я *суженой* для моей взыскательной мечты! Я задумал невозможное, искал высоко и далеко, и *обыкновенное* меня не удовлетворяло, сердце мое оставалось без кумира, и я был одинок...

Одна после другой, женщины мелькали перед моими глазами, были в моих объятиях, не оставляя по себе ни тени заветного воспоминания, ни минуты сожаления. Чем более хотел я совершенств, тем строже судил недостатки. В одной мне надоела пошлая нежность без характера и без страсти: она любила не *меня*, но любила *кого-нибудь* первого, приведен-

ного к ней случаем, потому что она думала, будто ей *должно было* любить. В другой меня ужасало легкомысленное забвение всех законов, всех святынь, всех правил: она ни одной слезы раскаяния, ни одной борьбы с совестью не принесла мне в жертву, а мы, мужчины, мы хотим дорого стоить женскому сердцу, хотя и немногие из нас знают цену женской преданности. В третьей главною причиною забывчивости была пылкость воображения, беспокойного и непостоянного, а сердце ее всегда отставало от головы. Тут — ум без сердца, там — кокетство и самолюбие; далее... О, далее хуже всего — разврат, холодный, рассчитывающий разврат, который, забыв всю стыдливость, всю скромность женщины, подобно нам, повесам, приготовляет заранее свои связи и падает с сознанием и падения, и вины!

Вот чему научился я с годами, и вот что нашел я, преследуя создание моих дум! Суди же, какова была моя опытность и какова должна быть та, которая примирила меня с женщиною, которая осмыслила для меня и свет, и жизнь, которая познакомила меня с обезумляющим счастьем! Но при мысли о *ней* все мешается, все кружится около меня — дам пройти этой буре воспоминаний и потом опять примусь рассказывать тебе как должно.

Когда я оставил вас, батюшку и тебя, спеша из старого нашего Уютова хлопотать в Москве по делу моего приятеля, я твердо намерен был возвратиться через несколько недель и посвятить вам все дни моего отпуска. Я хотел только удовлетворить давнишнее желание мое — посмотреть на древнюю столицу, куда до тех пор не заносила меня недвижная звезда моего жребия. Двойная занимательность манила меня к берегам Москвы-реки, но сильнейшею было побуждение священное: хотелось русскому сердцу подышать русской стариной, ее преданиями и воспоминаниями, ознаменованными славою, духом народным, беспредельною любовью к отечеству! Меня влекло неодолимое желание помолиться в соборах, где молилась Москва 12-го года; полюбоваться тем Кремлем, от которого не раз бегали и дикие толпы сынов Чингиса, и рати по-

ляков; тем Кремлем, что был пределом всепоглощающего исполина, роковым камнем преткновения на пути завоевателя полувселенной; тем Кремлем, с оград которого ни один зубец не пал перед вражьим насилием! Меня порывало вступить в это сердце России, в город, переживший все события отечественной истории, бывший многовечным свидетелем всех ее переворотов. Мне хотелось отыскать, осмотреть последние развалины, оставшиеся среди воскреснувшей Москвы гордым памятником единственного в мире самоотвержения — этого добровольного пожара, который не имел примера и, верно, не будет иметь его в летописях мира. Надобны сердца и патриотизм — совершить такое дело; а у других народов остались только промышленность и расчет. Москвичи! вы зажгли свои дома, дома, где родилось, где жило столько ваших предков, дома, где столько поколений оставили свои воспоминания, где таились и ваши собственные,— вы принесли их в жертву за родину, и жертва ваша не осталась без мести. Кровавое зарево предсказало падение непобедимому, и не стало того, кого девятнадцатый век, глаголом порабощенной Германии, в страхе и трепете назвал der Mann des Schicksal's (муж судеб)!

Таковы были мысли мои на пути в Москву и, сообщив их тебе, должен ли я еще упомянуть о второй причине моей поездки? Признаться ли, что моя память была полна рассказами наших гвардейцев о приветливой гостеприимности москвичей и миловидности москвитянок; что я желал иметь понятие по опыту о веселом житье залетной молодежи Петербурга на рубеже устаревшей и радушной Москвы?..

Не описываю тебе, каким пылким мечтателем подъезжал я к белокаменной, каким взыскательным пилигримом озирался я на улицы и дома, едва проехав заставу и жаждя уже той старины, той оригинальности, которых ожидал. Не рассказываю и того, каким фанатиком *средних веков* проводил я дни и ночи в Кремле, в соборах, перед церковью Василия Блаженного, изящным произведением забытого теперь зодчества,— все это дело стороннее. Скажу только, что когда я насмотрел-

ся, находился, утолил свою душу, мне стало пусто и дико в местах, где я был одинок, как будто с неба упавший. Я переглядел все, что манило воображение, все, что привлекало душу, и наконец немая беседа с немыми камнями мне надоела.

Я вздумал обегать гульбища: все они были пусты. Сады и бульвары безмолвствовали, как будто приговоренные к торжественной тишине египетских развалин, а если кое-где и показывались на них два, три лица, то и они скорее напоминали египетских мумий в распещренных нарядах, чем свежие, молодые личики, мною отыскиваемые. Со вздохом вспомнил я наш шумный проспект, где ежедневно роятся разнообразные толпы, где каждое утро пир глазам, выставка тонких станов и стройных ножек.

Я бросился в театр — и нашел мрак, темнее осеннего, пару кресел, занятых почтенными фигурами с того света, и одну полную ложу, где грызли орехи. Я высидел до конца спектакля, потому что спал непробудно. Наконец, досадуя на мои неудачи, я прибегнул к моему единственному знакомцу в целом городе, к рыжему немцу, содержателю гостиницы, где я остановился, и стал расспрашивать: куда девались жители Москвы? Мой немец растолковал мне, что все они еще рассеяны по дачам и поместьям; что летом и осенью город почти пуст, и что московская зима, пора жизни, движения, веселости, начинается не прежде поры снегов, около ноября.

А тогда кончался только сентябрь, и дожидаться ноября — значило потерять даром время отпуска. Я задумал о возврате к вам, окончил успешно порученное мне дело и с подорожною в кармане пошел в последний раз побродить по улицам.

Ты не можешь себе вообразить, что такое значит сиротство в пустыне большого города; это чувство самое тягостное, самое грустное; я испытал его вполне, провел несколько дней самых неприятных, а между тем мне было жаль покинуть Москву! Я мечтал найти в ней что-то особенное, и неисполнив-

шиеся мечты упали на душу как обман. Мне не хотелось уезжать в этом расположении. Я был в каком-то ожидании и дорого бы дал, чтобы какое-нибудь обстоятельство вывело меня из него. Судьба на этот раз упредила мое желание. Нечаянно встретил я доброго знакомого моего Л..., подобно мне заезжего из Петербурга и которого никак не полагал я найти так близко подле себя. После изъявлений взаимной радости пошли расспросы, тоже взаимные, и Л... объявил мне. что я могу поздравить его женихом. «Завтра моя свадьба,— сказал он мне,— женюсь на дочери богатейшего и счастливейшего откупщика; беру *изрядную* невесту и красивый *миллион* в придачу! Как видишь — не дурно?» Я прежде поздравлял его с невестою — тут должен был поздравить с миллионом, который, казалось, несравненно более занимал Л... Он сообщил мне свои планы для будущего: «Долой мундир, поселюсь здесь, буду себе жить на воле да возить жену по балам и давать ей праздники!» — сказал он мне с довольным видом. Но вдруг вспомнил он, что прежде исполнения этих замыслов ему надлежало позаботиться об обстоятельстве, гораздо ближе предстоящем. Его невеста, желая блеснуть всеми средствами, настоятельно требовала, чтобы у него были на свадьбе два шафера, и один непременно гвардеец. Рассеянный жених не подумал заранее, как это сделать, и знавши, что никого из его товарищей не было в Москве, находился теперь в крайнем затруднении. Услужливая судьба, которая решилась не отпускать меня в дорогу, свела его со мною; чтобы разом удовлетворить всему, Л... убедительно просил меня держать над ним венец и за троих танцевать на бале, который он намерен был дать через несколько дней. Я охотно обещал то и другое и в тот же вечер был представлен в семью откупщика.

Тут нашел я толпу женщин, и молодых и старых, но ни тени той образованности, тех ловких приемов, которые ожидал найти. Я был в замешательстве. Видно, думал я, что москвичи, как заговоренный клад, не даются моему любопытству! Л... пришел мне на помощь. «Не удивляйся,— сказал он,—

это все *замоскворечье*, знакомые и родня тестя, которых никогда не увидишь ты в хорошем обществе. Но мать моей невесты из знатных; у нее много тетушек и *кузин* совсем другого разбора. К ним посланы приглашения, и все они съедутся к моему балу. Тогда, mon cher, тогда посмотришь».

И я в самом деле — *посмотрел!* В день бала огромный дом, занимаемый молодыми, наполнился женщинами, из которых самые посредственные могли быть названы хорошенькими в другом месте, не столь богатом красавицами. Но тут красавицы развлекали взоры, дробили внимание, не давали разглядеть себя поодиночке — так много было их в большой зале. Тут увидел я, что никакие рассказы не были увеличены. Первые минуты бала я провел в чаду, в волнении страстного любителя живописи, которого заставили бы пробежать галереи del palazzo Pitti[2], не дав ему остановиться ни перед одной картиной, и в воображении которого все виденное мельком долго рисуется в фантастическом беспорядке. Неотвязчивый Л... не позволял мне пропустить ни одного контраданса, и я едва успевал приглашать дам. Но скоро глаза мои остановились на моем vis-a-vis, восемнадцатилетнем личике, в котором нашел я что-то столь пленительное, что оно невольно заставило меня забыть всех других. Стройная, ловкая, с благородною поступью богини, с улыбкой грации — *она* не касалась пола, она порхала как сильфида[3], скрадывая все движения ног под небрежною приятностью своих остановок. Она не танцевала — она меняла места и телодвижения. Черты правильные и тонкие, черные глазки, полные смышлености и выражения, изящная головка с темно-русыми кудрями, которые так мило, так игриво оттенялись под розовым венком; белое, прозрачное платье, которое так легко обвивалось около нее... Мои взоры, как околдованные, не могли с ней расстаться. Сестра! сердце мое было ново: когда я увидел *Веру* — и почувствовал, что ему наступило совершеннолетие!..

Знакомство началось вальсом; потом я просил на контраданс; наконец робко позвал и на мазурку. С лукавою улыбкой сказали мне: *да*, и впоследствии — в дни взаимной откровен-

ности — очаровательница призналась мне, что она в этот же вечер заметила и преследование моих жадных взоров, и неловкую нетерпеливость моих частых приглашений.

Говорят, у каждой из вас есть что-то вроде *чутья*, что вас тотчас извещает о новой победе вашей, даже часто прежде, нежели она совершена, так что вы предвидите поклонника, когда он сам еще не знает о своем порабощении. В этот раз чутье не обмануло моей красавицы!

Я ждал первого звука благодетельной мазурки, как Рим ждет первого удара колокола, возвещающего ему окончание конклава[4]. Мне было самому странно и смешно неукротимое волнение моего сердца, до сих пор столь чуждого бальной суеты, что оно и не подозревало поэзии заветного танца! Я не понимал себя, но впервые был увлечен и не противился увлечению. Наконец, первый смычок коснулся первой скрипки, оркестр залился громким треллером[5], и кавалеры бросились в другие комнаты за стульями. Всякая пара хлопотала о своем месте; зала оглушилась тревогою, толкотнею, шарканьем — словом, всем беспорядком, предшествующим водворению порядка, этому расположению на зимних квартирах — мазурке, которую сам черт выдумал нарочно, чтобы бесить ревнивых мужей и заботливых матушек! Мазурка — это душа бала, цель влюбленных, телеграф толков и пересудов, почти провозглашение о новых свадьбах, мазурка — это два часа, высчитанные судьбою своим избранным в задаток счастья всей жизни.

Я выбрал место между двух колонн, где нескромные соседи не могли мешать мне свободнее налюбоваться своею дамою и вдоволь с нею наговориться. Я уж желал отстранить ее от толпы; я уж начинал испытывать то исключительное чувство, которое стремится отнять у целого света любимый предмет, чтобы никто не мог ни словом, ниже взором встревожить его ревнивого созерцания, разделить его неделимых наслаждений!

Как быстро пролетели вы, первые минуты новорожденной любви и рассветающего счастья, минуты, которыми решилась

загадка жизни, которыми довершилось очарованье непокорного!

Веселая, непринужденная, моя волшебница с первых слов обошлась со мною без всяких ужимок, и в четверть часа мы ознакомились совершенно. Разговор ее, блестящий остроумием и умом, показал мне вместе и отличное воспитание, и редкие дарования природы. Детская шаловливость сливалась в ней с восхитительною скромностью, а между тем глаза ее, без ее ведома, обещали все сокровища чувства и высказывали душу необыкновенную. Не могу объяснить почему, но мы сблизились мечтами, как будто пророческие сны заранее ее ко мне приучили, как будто и ее душа, подобно моей, ждала, искала и нашла. К концу бала я был влюблен без памяти и, скажу откровенно, мог надеяться, что и Вера не совсем ко мне равнодушна.

Разумеется, что я спешил разведать, кто она и где и как можно с нею встретиться. Узнав, что ее родные живут открыто и принимают в положенные дни, немедленно был я им представлен. Клирмовых посещало лучшее общество, и дом их считался хорошим и приятным. Меня встретили очень благосклонно, пригласили *бывать запросто*, и скоро я стал вседневным гостем.

Тогда наступила новая эра моему существованию, эта восхитительная, незабвенная эра пылких радостей, волшебных грез, невыразимых ощущений! Среди шумной толпы я не видал ничего кроме Веры, я слышал ее одну, не отходил от нее, и длинные сердечные беседы час от часу сближали нас. Я читал в ее впечатлительной душе все чувства, которые пробуждал в ней, все чувства, которых до меня она не знала. С неописанной гордостью следил я за постепенными успехами моими в ее доверии, в ее привязанности. Я видел, как от ребячливой суетности она переходила к женской чувствительности; как образ мой заслонял ее от всех искушений тщеславия; как возрождалась и как развивалась ее страстная душа, теперь знакомая со всеми возвышенными вдохновениями истинной любви. Я видел, что она платила мне любовью за

любовь, что ее сердце стало верным отголоском моего собственного.

Когда, бывало, в длинной гостиной, во всех углах возникали группы разговаривавших, сходились, расходились, мешались, Вера, с изобретательностью, достойной своей цели, заняв искусно тех из подруг своих, которые могли обойтись без ее личного участия, умела расположиться так, что мне всегда оставалось место возле нее, и она казалась исполнявшею все обязанности хозяйки дома, между тем как только на мне одном сосредоточивалось все ее внимание. Тогда мы находились посреди людей, но были не *их мира*, но дышали этою жизнью *вдвоем*, в которой одни мы понимали друг друга, в которой каждое слово, промолвленное украдкой, становилось бесценным залогом, каждый взор — отрадою сердца. Волнение неизвестности нас тревожило; но что может быть сладостнее этой тревоги, в которой так много упований? Что может быть восхитительнее этих первых дней взаимности, которые дышат трепещущим очарованием таинственности, так что едва ли их можно променять на спокойное обладание самым счастьем, на тихую уверенность признанной любви?..

Мы еще не высказали рокового признания, когда наши сердца уже перешептались и сговорились. Друг мой!.. о, как все переменилось и во мне, и кругом меня!.. Как полна стала моя жизнь, до той поры истомленная безжизненностью! Как страстно привязывался я к милому существу, которое с каждым часом узнавал лучше, ценил выше! В таких годах, с душой столь новой, она была дитя во всех мыслях своих, когда они не касались меня, но в отношениях наших она показывала всю нравственную силу женщины, все богатства любви неистощимой, глубокой, горячей.

Как я мучил ее своею ревностью, своими причудами, своим воображением, пугливым и раздражительным! Она поет прекрасно, а я не мог терпеть, чтобы ее голос служил забавой целому обществу равнодушных, чтобы его звуки терялись в невнимательных ушах, когда они приносили мне небесное удовольствие. Вера перестала петь на своих вечерах; она бросила

к ногам моим любимую добычу женского тщеславия, груду лести, похвал, рукоплесканий. И каждый раз, когда непреклонным отказом отвечала она на просьбы дилетантов, ее долгий взор робко останавливался на мне, сверкая самодовольствием, что она могла *мне* угодить. Вера страстно любит танцы, а я не мог видеть, как другой — другой, а не я,— дерзновенно обхватив ее легкий стан, завладев ее рукою, стремился с нею в головокружной быстроте вальса,— и Вера перестала вальсировать со всеми, кроме меня. Напрасно умоляли ее кавалеры, напрасно молоденькие и пожилые девушки сыпали коварные замечания и значительные улыбки. От одних отделывалась она гордою неприступностью; от других отшучивалась меткими колкостями собственных наблюдений и доказательством неумолимой прозорливости. О! она знала науку света!.. Зато каким подобострастием окружал я ее, какою любовью была она любима! Я сделался для нее необходимым ценителем ее красоты, ее ума, ее души. Один я умел понять ее так, как она хотела быть понятою, один я любил ее так, как женщины желают быть любимыми — с пристрастным поклонением раба, с деспотизмом повелителя, с нежною заботливостью друга, с безумными порывами ревнивца!

Долго еще длилось для нас это положение полусогласия, под покровом которого каждый малейший случай бывает поводом бесконечных толков, мечтаний, недоразумений, ссор, примирений, каждое событие или наводит мучительный страх, или оставляет по себе упоительную надежду. Но вся неловкость моя и вся робость Веры не устояли против возраставшей силы наших чувств: увлеченные ими, мы объяснились, и я услышал от нее это волшебное слово, за каждую букву которого я готов заплатить ценою тысячи жизней!

Дни и недели шли неприметно. Половина отпуска моего скоро миновалась, и я хотел возвратиться к вам, милая сестра! Но Вера не пустила меня, и ее слезы, ее просьбы заглушили голос долга, голос семейных привязанностей. Тогда написал я к батюшке это письмо, столь темное, столь несвязное, которое изумило вас, не объяснив вам ничего. Но кроткий,

святой старик наш понял сердцем то, что умалчивало сердце сына; он отвечал родительским благословением и позволением следовать моей судьбе, хотя не знал, в чем она состояла.

«Моей судьбе!..» Это слово пробудило меня от обаяющего сна, который в то время так заколдовал все способности души моей, что мысль о будущем совершенно исчезла в прелести настоящего, и мне не приходило на ум заглянуть в даль жизни. Внезапно понял я из письма батюшки, что я, как безумный, поймав одну тень счастья и позабыв о самом счастьи, заснул спокойно, не чуя, что малейшее облачко могло похитить у меня эту тень, так доверчиво присвоенную. Я понял, что, обладая сердцем Веры, я ровно ничего не имел пред глазами света; я понял, что мое счастье непрочно, пока моя участь не связана неразрывною цепью с участью Веры; я понял, что взаимность любви есть такое благо, которое один священный обряд закона может оградить от покушений человеческих. Мысль о браке впервые проникла в мою душу, но она тотчас завладела ею совершенно, изженя беспечность, покой и непредвидящую радость, которые так сладко меня усыпили.

Быстрым взглядом обнял я все свое существованье. Я спросил себя: какими выгодами могу оправдать свои притязания? Я вспомнил требования общественных приличий, вспомнил закон света: *«Имеющему дастся!»* и содрогнулся, расчислив, рассмотрев, что по этому закону, по этим требованиям — неизмеримая бездна отстраняла меня от Веры! Она богата — у меня только честное имя да любящее сердце! Ах! какое адское страдание вгрызлось в душу с этими мыслями! Сколь несчастливым почувствовал я себя, измерив всю даль до этого счастья, еще недавно почитаемого столь близким, столь верным! Какие муки вытерпела моя гордость, когда мне представились неминуемые суждения света, когда я подумал о неизбежном обвинении в расчете, которое должно осквернить святыню моих чувств, покрыть гнусностью сребролюбивых видов привязанность бескорыстную и невольную, как всякое влечение сердца, о котором голова и рассудок еще не про-

ведали! Расчет! С моей стороны! Но, великий боже! я любил Веру, еще не зная, *кто* она; я мог бы любить ее всю жизнь, не спрашивая о ее богатстве вещественном, не требуя ничего, кроме ее ублажающего сочувствия, кроме раздела с нею всех радостей, всех дум моих, и если бы я имел право не расставаться с нею, то не подумал бы требовать ее руки?! Однако же свет волен мне не поверить, волен перетолковать, переиначить по-своему чувства, которых не дано ему понять,— и я должен был приготовиться к его суждениям и подозрениям... При одном воспоминании об них все сердце вздрагивало негодованием.

Долго боролся я с этими противоречащими страстями — самолюбивою гордостью и пламенною любовью. Наконец, любовь превозмогла — я решился презреть молву и объясниться с Верой о нашей будущности.

Но каково было мое удивление, когда эта девушка, столь откровенная, столь пламенная в выражении своей любви, при первом намеке о *замужестве* оробела, смешалась и, отвернув с досадою прелестную головку свою, ни слова мне не отвечала! В недоумении я колебался — приписать ли эту странность девической стыдливости или внезапному пробужденью рассудительного расчета? Такая неизвестность не могла продолжаться. Мне необходимо, надобно было знать решение Веры — я настаивал... Но холодное принуждение овладело ею, и я не мог добиться ответа. Мысль, что я ошибся в *ней*, была мне нестерпима. Гнев и страх волновали меня; я проговорил несколько слов с горячностью неудовольствия. Вдруг слезы блеснули на искрометных глазах Веры, и она прошептала отрывистым глухим голосом: «Ради бога оставьте меня!.. Это не мое дело. Скоро будет сестра Софья... Говорите с нею!»

В эту минуту я был совершенно озадачен, и недоверие долго меня мучило. Но теперь я знаю, почему Вера так странно обошлась со мною. Вере с ранних лет было внушено, что замужество — предмет, о котором ей неприлично говорить и думать. Замужество для нее было цепью неизменно соблю-

даемых обрядов. Церемониальный приезд жениха с предложением, форменное сообщение от родителей, отговорки, слезы и наконец согласие; потом шум и тревога в доме, ежедневные проповеди и наставления от матери, поздравления старых тетушек, приправленные советами, расспросы кузин о женихе, а более о жениховых подарках, чинная помолвка, поездки без отдыха в лавки и магазины и в довершение всего — турецкая шаль и право безобразить милое личико уродливым чепцом и тяжелым током! Так большая часть семей приучает судить бедных девушек о важнейшем деле жизни, о священнейших обязательствах. И вот почему так много неудачных браков...

Вера насмотрелась всех этих хлопот и глупостей, когда сестру ее выдавали замуж, и потому, когда молодое сердце познало высокие порывы благородной любви — светлый разум ее не мог согласить величия этих чувств с мелкими и смешными обрядами общежития. Она привыкла со мною к простому изъявлению своих чувств, не разбирая, что оно было для меня подразумеваемым обещанием. Она отдала мне все сердце, всю душу, ни разу не подумав, что ей следует присоединить к ним и руку свою. Я был избранный ею друг, но никогда не воображала она, что я мог ей быть женихом. Словом, не в пример другим, она любила и не думала; ее голова не мешалась в дела сердца. Я ждал сестры ее с возрастающим беспрерывно нетерпением. Не раз случалось мне быть свидетелем, когда Клирмова говорила о своей дочери, «княгине Софье», и я сообразил (по важности, с которою имя ее пришивалось ко всем событиям, ко всем разговорам), что она играет значительную роль в семье. Я был очень любопытен видеть эту *княгиню Софью*, от которой отчасти зависела моя судьба. Она приехала, наконец, и я нашел в ней разительнейшую противоположность Вере. Холодная и молчаливая, кроткая и рассудительная, Софья обдумывала каждое слово, каждое движение. Она казалась отжившей и безучастной, когда все жило и волновалось вокруг нее. Привычная задумчивость оставалась в ней последствием какого-то горя. Она никогда

не говорила о себе, но нужны ли были ей пени, чтобы ее понимали? Кто бы не угадал, что она не наделена счастьем,— отсутствие всякой одушевленности и какое-то сокрушение во всех телодвижениях, даже в самом голосе ее,— все в ней выражало душу убитую и совершенную ничтожность воли, слишком много раз, слишком жестоко переломленной. Немногими годами была она старее сестры своей, но опередила ее целою молодостью, целым цветом жизни. Она была добра и ласкова ко всем, но любила ли она кого? Бог весть!

Однако сестры были дружны, и княгиня с нежною снисходительностью приняла признание дрожащей Веры. Но когда я стал объяснять свое положение, свои надежды, когда я стал просить ее ходатайства перед родными, княгиня приметно испугалась. «Послушайте,— сказала она,— Вера вложила в мое сердце искреннее уважение к вам, и я — видит бог — от души желаю вам обоим счастья, но я боюсь предвещать вам его. Есть неодолимое препятствие, о котором никто из вас не подумал: вы не богаты, вы не в чинах, monsieur Свирский. Я знаю батюшку и матушку; знаю их мнения о браке; они никогда не примут вашего предложения, хотя бы это стоило жизни нашей Вере. Они захотят ее *пристроить* так, как и меня, по своим расчетам. Не могу роптать на свою участь — князь человек добрый и почтенный — я уважаю его; но когда меня сговорили, я в глаза его не видывала, я никогда не слыхала о нем. Он всего один только раз был в доме нашем, на большом бале, где заметил меня, когда я проходила мимо стола, за которым он играл в вист. Судите, каково было мне выходить замуж, не знавши за кого? Хорошо, что слепой выбор пал на князя, что мне не довелось проклинать мое супружество,— но могло быть иначе, и тогда родители мои.... Но ведь им нет дела до счастья нашего! Они ищут одной знатности, одной мишуры... Бедная Вера!»

В эту минуту равнодушная княгиня одушевилась воспоминанием собственной скорби; что-то похожее на негодование отразилось на ее лице. Но следующее мгновение истребило в ней последние признаки чувства, и она снова си-

дела передо мной с обычным холодом своим. Несчастная! может быть, мое участие к ней было живее ее собственных сожалений...

Быстро исчезли все мои надежды; подобно мыльному пузырю, они лопнули при одном слове княгини! Все преграды, все невозможности предстали моему воображению, и я едва не лишился рассудка при убийственной мысли, что Вера может *не быть моею!*

Объяснение планов и видов Клирмовых не подавало мне возможности ожидать их одобрения моему искательству. Я содрогнулся перед тайнами семейного быта, которого наружность, полная блеска и веселья, обещала так много согласия, так много радостей! Я остолбенел пред этим себялюбием, продающим на вес золота и счастье и жизнь своих детей! Конечно, княгиня не раз говорила и рассуждала с Верою о всех подробностях нашего положения, потому что Вера ознакомилась с мыслью о будущности и более не отказывалась вникнуть со мною в мои надежды, в мои намерения. Лишь только она узнала, какие причины могут навеки разлучить нас, все благородство души ее открылось в мужестве и твердости, с которыми она спешила успокоить меня. Произвольно и настойчиво захотела она, чтобы прежде всего взаимные обеты укрепили своею святостью нашу любовь. Она требовала моего слова и заставила меня принять свое; она поклялась мне, что ничто в мире не разрушит нашей связи! Тщетно старался я представить ей неосторожность подобных обещаний; тщетно уклонялся я пред ответственностью — ввести дочь в неповиновение родителям; ее воля была обдумана, непреклонна — я уступил, убедясь, что с характером Веры, с ее душою она должна остаться победительницей в борьбе любви с расчетами.

Она еще не совсем верила, чтобы Клирмовы отвергли меня за один недостаток богатства; она не умела растолковать себе расчета и честолюбия, полагаясь на привязанность родных к себе. Она хотела, чтобы я объяснился не сам, а через княгиню Софью. Мне самому было душно и тягостно в ложном,

неопределенном положении нашем, и я горел нетерпением узнать решительно, до какой степени я мог надеяться. Мы просили княгиню быть посредницею моего сватовства. Она отказалась, боясь гнева Клирмовых. Но сердце ли ее было втайне вооружено против расчета, горький ли отзыв былого внушил ей сочувствие к нам, она наконец дала нам слово выведать от матери, как бы я был принят в случае предложения. Более этого не внушил ей ничего нрав робкий и характер недеятельный.

Прошло несколько недель — и день отъезда наступил для меня, а мы все еще жили волнением, перемежающимися страхом и надеждами...

Мечты и планы, воздушные замки и тревожные ожидания сменялись в душе моей, мелькали перед воображением чарующей фантасмагорией, и порою мне удавалось выманить у Веры умильную улыбку или слово, полное одушевительного одобрения, когда я с жаром высказывал ей все мои бредни о будущем. Я пересоздавал постепенно ее понятия о жизни, дотоле ничьим попечением не руководимые. Я представлял ее неопытности всю суетность суждений, в которых ее взрастили, всю неосновательность, всю пустоту ее жизни, единственно посвященной светским требованиям, светским отношениям. Я направил ее врожденные свойства к цели, их достойной. Я поселил в преданную мне душу надежды, согласные с моими надеждами, желания, соответствующие моим желаниям.

Вера слушала с восторгом повесть драгоценных воспоминаний моего детства, расспрашивала с участием о малейших подробностях нашего семейства, нашей домашней жизни. Она научилась от меня почитать, любить лучшего, добрейшего из отцов. Она умела представить себе его седую голову, его черты, на которых отпечатана вся жизнь добродетели, его бессменное спокойствие, его патриархальную величавость и кроткую мудрость. Она всею душою полюбила тебя, мою Катеньку, до нее моего лучшего друга, взросшую со мною, чтобы быть мне опорой и наперсницей во всех пере-

воротах моего жребия. Она искренно желала сойтись с вами, заслужить вашу дружбу, тебе быть сестрою, батюшке дочерью, столько же преданною, как ты. Мы, то есть она и я, два существа с одною волею, с одним помышлением, мы решили, что я оставлю службу, привезу ее к вам и поселюсь с вами.

Я любил говорить с Верою о приезде нашем в Уютово, о встрече ее с вами, о нашем тихом житье в доме отцовском. Мы оба представляли себе, как она, об руку со мною, вступит в старую гостиную, как она примет первое благословение нашего старика, как она будет разделять с тобою хозяйственные заботы и назидательные занятия. Как блаженствовал я, находя в ней такую готовность быть счастливою тем, что должно само меня осчастливить! С каким умилением смотрел я на эту царицу балов, на эту красавицу, рожденную и воспитанную в суете и шуме, которая так охотно, так безоглядно готовилась отречься от света, от всех наслаждений женской гордости и сама не догадывалась, что делает жертву, потому что любовь изгоняла из ее сердца все, что было в нем постороннего. Вера была искренна, когда говорила, что хочет жить *только для меня*, только *одним мною;* я слишком хорошо ее знаю и не могу сомневаться в чувствах, столь редких в других. И ты увидишь, сестра, что я вполне награжден ею за все неудачи прошлых дней; ты будешь утешаться нашим благополучием, ты будешь любить мою, нет — *нашу* Веру, ты отдашь справедливую дань всем качествам, всем совершенствам ее. Но скоро ли, скоро ли? Когда сбудется эта мечта, эта надежда — *первая* и *последняя* в моей жизни!..

Ты видишь, сестра, что мой несвязный рассказ беспрестанно прерывается. Избыток чувств увлекает меня. Но что же мне делать, если, говоря о ней, ежеминутно нахожу я в изгибах сердца моего новые черты, ее украшающие?.. Пусть перо мое повинуется страстным думам, когда их невозможно удержать, а ты пойми мое сердце в темноте моих мыслей и выражений. Возвращаюсь к своему рассказу.

Однажды Вера явилась на бал вся расстроенная, с запла-

канными глазами, а княгиня Софья еще задумчивее, еще безжизненнее обыкновенного. Мне немудрено было догадаться, что их смятение касалось меня. Я стал расспрашивать и узнал, что опасения Софьи оправдались, что мать была совершенно против мысли отдать за меня Веру. В немногих словах княгиня сказала мне о неуспехе своем, прибавляя, что она осторожно выведала мнение своей матери, не пробудила в ней никакого подозрения о моих отношениях к Вере, а следовательно, и не испортила нам настоящего, хотя не могла обнадежить в будущем. Я желал знать подробности совещания. Княгиня отговорилась их незначительностью. Но я видел, что она бережет меня, что она не говорит всей правды, и прибегнул к отчаянной Вере. Хотя уже давно Вера не имела от меня тайн, но с трудом решилась сообщить мне речи, которые залегли в душу ее негодованием и оскорблением. Она страдала и обижалась за меня. И точно, Клирмова не пощадила меня. Опишу тебе ее поступки и выражения, чтобы ты могла понять, каково было бедным дочерям выслушивать и выносить такие речи. Вообрази, что на этот раз она была еще в веселом духе, то есть употребила только цветы своего красноречия, не прибегая к выразительнейшим выходкам своего гнева!

И между тем эта женщина в свете сохраняет все признаки благовоспитанности, всю наружность аристократизма и светского обращения!

Сцена происходила там, где обыкновенно происходят подобные сцены, за чайным столом, судилищем злоречия, домашнею управою благочиния.

Видя мать свою в хорошем расположении духа, княгиня слегка упомянула ей об успехах Веры на паркетном поприще и спросила: не жаль ли будет матери, если Вере случится скоро выйти замуж? Она знала, что мать любила вывозить их для своего собственного самолюбия. «Конечно,— отвечала Клирмова,— жаль будет! Для кого тогда и балы давать и к людям на балы ездить. Но если Верочке судьба, то не определять же мне ее в старые девки!» — «Но как же, маменька,

хотели бы вы ее пристроить?» — «Уж известное дело, как можно лучше! Она, благодаря бога, не бесприданница: есть на что польститься женишкам. Ну, уж я-то себе на уме — за выскочку не отдам! Ей партия тот, кто знатен, кто в чинах да в лентах, или тот, кому состояние дает в свете приличное положение...» — «А если, маменька, ей придется по сердцу человек с хорошим именем, с личными достоинствами, но не богатый?» — «И полно, полно, матушка, завралась! Сметь ли нищему подумать об моей дочери! Если бы случилось так, то что тут долго толковать! Отказ ему без фасонов, да и долой со двора! Слыхано ли, чтобы порядочной, воспитанной девушке понравился человек ничтожный?» (Эти слова были выговорены crescendo с примесью гнева.) Клирмова развязала свой чепчик и оттолкнула чашку. Княгиня оробела. Вера пожатием руки просила сестру продолжать. Сама она держала книгу, притворяясь занятою английским романом, а не разговором. «Так вы полагаете, maman, что сестре не довольно собственного богатства и не позволите ей быть счастливою, выйдя по любви?» — «А ты, сударыня, как шла? По любви, что ли? И разве теперь не благодаришь ты меня за то, что я не послушалась твоих глупых слез? Чего тебе недостает: и сиятельная ты, и вся в бриллиантах, и везде ты принята, как нельзя лучше, а у мужа то и дело ломбардные билеты прибавляются!»

Тут пошла переборка всем *женихам*, то есть всем молодым людям, которые были тогда *налицо* в Москве, всем думающим и не думающим о Вере. Как всегда водится, о последних Клирмова думала гораздо более. Она включила в свой список не только всех богатых вдовцов и стариков, но даже двух сенаторов, часто приезжавших к ней на вист, которые по дряхлости своей заранее приготовили себе могилы на знаменитых кладбищах. Клирмова многим отпела приговоры не совсем ласковые; некоторых оставила под сомнением; объявила достойными двух или трех; в число которых попался и один из сенаторов, имевший до пяти тысяч незаложенных душ. Нас же, *бездушных*, почитала она нужными в мире единственно

для того, чтобы умножать толпу на балах, предоставляя нам только право вальсировать с ее дочерью.

Княгиня нашлась наконец и успела сказать что-то про некоторых *«бездушных»* — уловка удалась — дошли до меня...

«Ну, вот,— провозгласила Клирмова,— малый хоть куда! И собой не дурен, и обращением приятен, а что в нем толку? Ни кола, ни двора за ним». Тут Вера, собрав все силы свои, удерживая дыхание, чтобы не дать предательскому румянцу выступить на пылающих щеках, решилась на последнюю смелость и спросила голосом равнодушной шутки: «Так Свирский вам нравится, маменька?» — «Да, уж я говорю, что он малый бы хороший, да только тебе не пара!» — «А что же вы сказали бы, маменька, если бы он мне также понравился?» — «Ах! с нами сила крестная! Да как сметь тебе подумать о ком-нибудь, не спросясь меня? Случись такой грех, так я тебя скорей в Москву-реку брошу, скорей в земле захочу увидеть, чем тебя отдать за нищего, за дрянь, за негодного мальчишку...»

Эти нежности были высказаны с таким жаром, что обе сестры прекратили разговор. Им ясно было, что нечего более ждать, кроме неприятностей и совершенного прекращения всякого знакомства со мною в том случае, если бы Клирмова возымела малейшее подозрение о наших замыслах. Вера проплакала весь день и выехала вечером только для того, чтобы свидеться со мною и сообщить мне роковой удар нашим упованиям. Она была вне себя. Слова ее матери привели ее в отчаяние; любовь ее усилилась, встретив себе препятствие. Так всегда пожар страстей, как и пожар вещественный, возрастает, пышет и вдруг разгорается необъятным пламенем, когда неловкие руки хотят его затушить.

Ты можешь понять, как взбешен я был, внимая рассказу Веры, хотя она старалась смягчить все обидное в ответах ее матери выражением собственных чувств. Не говорю о самолюбии — но личность моя, но любовь, но честь, все, что только есть дорогого у человека, все было во мне оскорблено, уни-

чтожено! Не мнение Клирмовой ценил я,— и есть ли мнение у подобных ей?— но мне было нестерпимо, что дочь свою обидела она в лице моем; я не мог привыкнуть к мысли, что такой женщине обязана Вера жизнью и что поминутно она может подвергаться такому гневу! Еще бесило меня криводушие этой Клирмовой, изобличавшееся похвалой ее, когда она судила меня, как человека стороннего, и бранью, когда ей представили возможность найти во мне избранного ее дочери! Вера старалась рассеять охватившие меня мрачные мысли: она повторяла мне все клятвы, все обещания, данные прежде; она показала мне такую глубокую преданность, такую беспредельную любовь, что ей удалось изгладить в сердце моем почти все неприятные впечатления этого вечера.

Сестра! мы с тобой нашли в отце снисходительнейшего, нежнейшего из друзей; мы воспитаны одною ласкою, одним доверием его. Какими глазами должны мы смотреть на поступки, мною описанные!

Однако же я не довольствовался этим полуобъяснением, но хотел открыться отцу Веры, от которого ожидал, по крайней мере, поступков человека благовоспитанного. Мне было и неловко и мучительно оставаться при своем недоумении, быть тайным виновником семейного раздора, когда передо мной не закрылась еще возможность вступить в эту семью с честью. Я чувствовал, что если Клирмов также отвергнет меня, то мне будет легче идти открыто наперекор ему. Я почитал низким для себя вкрадываться, как тать, в его дом, с намерением вооружить дочь против ее родителей. Мне необходимо было знать своих друзей и своих недоброжелателей, чтобы без зазрения совести противиться последним. Я был твердо намерен просить свидания у Клирмова, когда Вера и сестра ее приступили ко мне, умоляя меня оставить такое предприятие. Они уверили меня, что открыть тайну нашу отцу — значило бы только запереть мне навеки дом их получением решительного отказа, потому что Клирмов совершенно был согласен с женою в планах и видах ее для Веры, а вдобавок он так повиновался жене, что не смел ни в чем обнаружить разного

с нею мнения. Обе сестры, особенно княгиня, боялись самых несчастных последствий от моего сватовства. Они просили дать им время приготовить поодиночке отца и мать. Но время не было в моей власти — я не мог отсрочить своего отъезда. Что мне оставалось делать? Как заставить судьбу мою решиться? Как идти на объяснение против воли Веры? К тому же я сам боялся неудачным поступком погубить настоящее мое счастье и увеличить затруднения для будущего. Я уговаривал княгиню Софью вступиться откровенно за сестру, полагаясь на любовь, которую отец и мать оказывали ей. Но за кого могла заступиться княгиня, когда она сама несла тяжкую участь? Ей казалось очень естественным, чтобы и другие также терпели.

И вот я должен был отложить решение моей участи, предоставляя времени и настойчивой твердости Веры убедить свою мать в силе нашей любви и нашего единодушия. Вера и я, мы предначертали себе путь к достижению нашей цели; мы обдумали все средства, все действия наши. Она должна была молчать, пока я в Москве, но после моего отъезда объявить постепенно родным, во-первых, свою любовь; затем откровенность отношений наших и, наконец, невозвратный обмен наших клятв Она должна была, не прекословя им напрасно, не вынуждая их согласия, ожидать в спокойной непоколебимости, чтобы чувства родительские взяли верх над расчетами и тщеславием. Год назначили мы сроком нашему ожиданию и нашей разлуке. После года я должен был возвратиться и просить руки Веры у родителей ее.

Остальное поручено было влиянию обстоятельств, то есть должно было зависеть от ответа Клирмовых. Вера в душе своей положила, что через год она *моя жена* во что бы то ни стало!

Нам оставалось принести еще одну жертву необходимости: мы условились не писать друг другу. Малейшая неосторожность, малейшая неудача могли погубить нас, могли дать случай Клирмовой обрушить свой гнев на Веру, а мы хотели ее согласие получить терпением. Я хотел, чтобы Вера была безу-

коризненна посреди своих, и как больно мне ни было — я отказался от переписки с нею.

Более всего служила нам успокоением уверенность, что никакое другое предложение не будет поводом раздора в доме и не воспламенит высокомерных домогательств Клирмовой. Благодаря моей ревности ни один искатель не ухаживал за Верою, ни один поклонник не являлся. Она дала мне слово и без меня держать молодых людей в почтительном отдалении, а безучастием своим в свете не подавать надежд никому.

Грустно провели мы последние дни моего отпуска. Мысль о предстоящей разлуке отравляла светлые часы свидания. Необходимость скрывать все наши чувства, делить с мелочами света отсчитанные мгновения любви, умалчивать искреннее слово, опускать в землю сердечный взгляд, удерживать горячую слезу, необходимость удвоить осторожность — все это мучило и терзало нас. Как ни страдал я сам, но мне пришлось утешать бедную Веру. Она совсем теряла присутствие духа; она ежеминутно была готова изменить себе безумным взрывом горести. Я должен был отыскать в душе остатки моего мужества, чтобы поддержать это создание, столь сильное своей любовью, столь слабое в несчастиях.

Я примирился в эти дни с бесхарактерностью княгини Софьи. Она, как ангел хранитель, стерегла и спасала нас. Она за нас помнила, что свет присутствует с нами, и, покорная всем его приличиям, она не дала нам навлечь на себя его осуждения. Ее участие, ее попечительность удаляли от Веры все, что могло поколебать бедную слишком сильно,— и вопросы о моем отъезде, и замечания о ее невеселости. Не знаю, знала ли прежде княгиня борьбу страсти, но для сестры она приучилась предчувствовать все ее движения и угадывать все ее порывы. Словом, она не была сильною подпорою, не могла дать защиты, но она была другом нежным и внимательным,— она давала, что могла, свои утешения, свои слезы.

У княгини простились мы. Благодаря ей мы хотя в последние, горестные минуты расставания могли предаться влече-

нию чувств без принуждения, без опасения свидетелей. Избавь меня от описания невыразимых мучений этого прощанья... Я оставил Веру без памяти — я вырвался из Москвы, обезумев от горя...

Вот более месяца этому ужасному дню разлучения, и все та же скорбь в душе моей, и сердцу все так же больно! Я не знал, я не подозревал, как далеко простирается в нас способность страдать... Изумительно! Дай бог, чтобы ты никогда не дошла до этого убийственного познания, моя милая и равнодушная Катенька!

Весь свет опустел для меня, с тех пор как ее нет со мною. Служба, товарищи, занятия — все подробности жизни стали мне тягостны и ненавистны. Не знаю, не придумаю, чем скоротать все эти дни, с бесконечными их часами, которые тянутся для меня медленнее, нежели для отверженных душ ада их несменная вечность! Мне кажется, что, подобно им, я нахожу роковое неумолимое *всегда* на своих часах, потерявших для меня все свое значение, всю цель свою. Встаю утром изнеможенный, без бодрости, без цели; ложусь вечером отчаянный, убитый скорбью. Ничто не может вывести меня из моего каталепсического забытья, ничто не может прервать моих мрачных раздумий, потому что ничто не приносит мне вести о Вере и от Веры! Все силы мои, вся твердость исчезли. Буря страстей опустошила мою душу, и если отсутствие охолодило, оковало ее порывы, то их сменила тоска, тяжелая и удушливая, как сон могильный.

Как мучительно оно, это *небытие*, следующее за сильным волнением, за знойною порою любви! Как трудно возвращаться к вялой вседневности после тревожных, но обворожительных часов упоительного блаженства! Как вся жизнь кажется будничною, когда сердце знало светлые праздники! Одни воспоминания согревают мою озябшую душу лучом протекших радостей. Мечтаю о ней, привожу себе на память ее речи, ее взоры — все, все, что очаровало меня... И когда погруженный в думу минувшего я теряю чувство настоящего, тогда только свинцовая рука тоски отлегает от осиротевшего серд-

ца. *Она, она! К ней, к ней!* — вот все, что могу сообразить взволнованною, убитою душою!

Недавно, открыв нечаянно какой-то французский *кипсек*[6], я попал на следующие стихи:

Un souvenir, une espérance,
Voilà le passé, le présent...*

И эти слова, так кратко, так хорошо выражающие мое положение, глубоко врезались в моей памяти. Да, *воспоминание* и *надежда* — вот что поможет мне дожить, домаяться до конца этого ссылочного года...

Но, не взирая на все мучения мои, я не променял бы моего нынешнего положения на спокойную беспечность моего прежнего равнодушия. Не мне ли любовь ее, любовь, которая озарила меня небесным светом, и ее сердце, которое обещает мне так много радостей на поприще бытия? Не принадлежит ли мне она, исполнительница всех моих мечтаний!

Сестра! я жду и надеюсь, и ты жди и надейся со мною.

II

Отрывки из дневника Вадима

Москва, 8 января, 18.. г.
Полночь

Москва! Я опять в Москве, опять в своем любимом месте, в этом незабвенном городе... Здравствуй, Москва! Я опять дышу твоим упоительным воздухом, не этим вещественным воздухом, что глотают безотчетно все и каждый, но воздухом твоего радушного гостеприимства, твоей привольной, непринужденной жизни, и грудь моя, долго стесненная, с восторгом вдыхает простор и радость.

---

* Воспоминание, надежда — вот прошлое, вот настоящее *(фр.)*.

Москва! — не ты мне жизнь дала, не тебя впервые встретили мои младенческие взоры, когда они любопытно стали озираться на божий свет и спрашивали у всего окружающего новых мыслей, неведомых впечатлений; но ты родина моего сердца, но ты меня усыновила, прекрасная, в дочерях твоих нашел я осуществление моей мечты — и вечную благодарность пробуждает во мне твое заветное имя! Так вот они, места, где мне блеснул луч неизведанного дотоле счастья! Как здесь хорошо! Как легко жить здесь!

Счастье!.. Что такое счастье? Ужели я еще помню, что оно? Ужели следы его во мне не поросли тернием с тех пор, как его сменили разлука и страданье? И точно ли счастье озаряет теперь мою душу? Что значит оно, это неполное, с горечью перемешанное чувство, которое так смутно волнует мои думы, так сильно бушует в моей груди? О, нет! это еще не самое счастье, это только прообраз его, только предсказанье о нем! Это только надежда, возможность близкого счастья. Но эта надежда, не есть ли она сама восхитительное ощущение, не есть ли она величайшее благо, когда она заверяет мне все будущее?

Будущее — тому год оно было светящейся точкой, затерянной в непроницаемой мгле, неверным болотным огнем, ведущим бедного путника к обману, статься может, даже к смерти, а теперь оно — ясная, блестящая звезда, разливающая лучи теплой отрады, многообетная, многодающая! Черные дни прошли,— спасаемый любовью, я пережил срок разлуки, срок испытаний: теперь я здесь, и скоро, скоро Вера *моя*, не только сердцем, но всеми узами неба и земли!..

Но зачем же этот невольный страх, порою так неотразимо обвивающий мое сердце? Какой черный демон нашептывает мне слова сомнения, слова отрицания? «Что будет с тобой, что ждет тебя здесь?» — говорит он, и дрожь бежит у меня по всем членам.

Прочь, прочь, дух злобного подозрения! Я не слушаю твоих намеков, я глух к твоему навету, я хочу внимать одному

доверию, одной радости — я доволен, я счастлив, я близко от нее!

Нет! она не переменилась, она не должна, не может перемениться, она знает всю любовь мою,— знает?.. Безумный! Но когда и где, какими словами мог ты выразить ей ту необъятную страсть, которая горит в тебе так пламенно, которая так тесно срослась с раскаленным твоим сердцем? Откуда взял ты пламя, чтобы описать пламя? О, если бы мне было можно хоть на миг вынуть из груди мое сердце и бросить к ее ногам, чтобы она сама в нем прочитала... Но она может понять меня, может, если любит — не говорю, наравне со мною, потому что я не достоин, я не должен быть любим, как любима она,— а в любви ее мне ли сомневаться, мне ли, знавшему все изгибы ее чистого, пламенного сердца, испытывавшему самоотвержение ее души? Я верую в нее... я верю ей, и счастью, и всему... в моей душе столько радости, что в ней нет места холодному подозрению!

Как медленно бегут часы... Только четверть третьего!.. И еще целый круг ровно движущейся стрелки на неумолимом циферблате, пока нам позволено будет свидеться!.. Время, время!— не можешь ли ты хоть раз исполнить мольбу человека и пожертвовать ему эти ночные минуты, которые недвижный сон и без того отнимает у твоей власти?

Вот целый год, что мы не виделись, год, в котором каждый день, каждый час, каждое мгновенье пересчитал я страданиями, порывами мятежной тоски, нападениями неотразимой скуки, год, который показался мне вечностью, и что же? Его угрюмое воспоминание почти совсем исчезло при мысли о скорой встрече с нею... Да, память мрачных дней ненастья, как поздний снег при блеске солнца, тает и теряется, когда засияет светило радости. Ждет ли она меня? Но как ей не ждать, когда у нее залогом возврата моего не только все поруки любви, но и клятва, священнейшая всех — *честное слово* человека, который никогда не позволял себе упоминать о чести легкомысленно! Да, с самодовольством слышу я свидетельство моей совести: она говорит мне, что во всех будуарных при-

ключениях, во всех котильонных пристрастиях я сохранил уважение к самому себе и не унизил всуе слова: *честь*. Я лгал, я обманывал единственно тех, которые хотели быть обманутыми, но никогда клятва не подтверждала моих речей, и тайный голос предчувствия всегда берег чистоту моих обетов для чистых признаний любви истинной. Вера, первая Вера услышала от меня эти обеты, эти клятвы — ни одна другая не слыхала их... И вот я выручил мое слово, я возвратился — и не без пожертвований! Надлежало проститься навсегда и с Петербургом, и с друзьями, и с блестящими надеждами службы, надлежало отказаться от всякой будущности — от всего, кроме любви. Я сделал это и не тужу о покинутом — я *здесь*, я буду жить ее рабом, ее послушником!

Вера, Вера! в тревожных смутах моей души одна мысль о тебе остается светлою, отдельною, неизменною, восхитительною, я твержу беспрестанно твое имя, милое, заветное имя, я нахожу в нем всю гармонию итальянского, всю выразительность моего отечественного языка. Для меня это имя отголосок неба, залог всех земных радостей, для меня оно таинственное, всемогущее слово волшебства, отверзающее рай! Как сладко задрожит оно в устах моих, когда шепотом будет сказано ей самой!.. И подумать, что она, по собственному влечению, дала мне право так звать ее, что это право принадлежит мне исключительно, что я, я один могу произнести: *«Вера»* и прибавить — *моя*, не опасаясь отрицания от нее... Они исчезли между нами, докучливые приличия, стесняющие формы условных выражений, меж нами свет не существует, мы стоим одни, рука в руку, пред лицом провидения. Наши речи просты и задушевны, как наша любовь.

Зарей забелелись дальние края небосклона... Скоро рассвенет — и не только на небе, но и в моем сердце... День свиданья! зажгись скорее... Я ее увижу, я ее увижу!..

9 января, 2 часа пополудни

Уехали в Троицкую лавру... молиться... всем домом...

Что это значит? Странно!

В эту пору, среди блестящей зимы, Клирмова вздумала ехать на богомолье... она, готовая поднять дочь со смертного одра, чтобы нарядить ее к балу,— она уехала от балов, от света!

Это недаром, это не может быть даром — конечно, что-нибудь необыкновенное произошло в их семье... Что бы такое?

И Вера, Вера не могла отговориться от этой поездки, зная, что я должен скоро быть!

«Они не возвратятся прежде завтрашнего вечера». Как равнодушно, как безжалостно этот проклятый швейцар выговорил эти слова, которые сердце мое бросили в холод.

Где же ты моя давешняя радость!

Куда ушло желаемое свидание?

Еще дожидаться почти двое суток, когда каждая минута уносит часть моего благополучия... Какое мучение! какая неудача!

После такой долгой разлуки еще отсрочка, еще томленье!

Что делать до завтра? Чем унять безумное волнение сердца?

Узнаю, здесь ли Л...

Тот же день, вечером

Я не доехал до Л... Совершенно подчиненный своему раздумью, своим мечтам,— что стал бы я отвечать на его расспросы? Я изумил бы товарища своим явлением и не мог бы объяснить, зачем я в Москве, не подав ему подозрений Я так расстроен, так взволнован, что один вид мой должен возбудить догадки и любопытство.

К тому же я не соберу духа видеться с кем-нибудь, преж-

де чем с нею, не хочу слышать ничьих речей, прежде чем ее голос не коснется моего жадного слуха... Кому надобно знать меня теперь? Что мне сказать другим? Не все ли для меня чужие?

---

10 января, вечером

Как длинен, как скучен день! Мне кажется, что с приезда моего каждое мгновение тянется долее года, а нетерпение мое с каждым мгновеньем возрастает. Сегодня бродил я часа два около ее дома, смотрел на окна ее — но пустота и безмолвие как камень пали мне на душу! Мне больно стало видеть мертвую безжизненность там, где я находил жизнь, столь полную, столь страстную. Я не мог вынести неприветливого зрелища затворенных ворот в том доме, где мне думалось найти привет и радушие. Какое-то темное предчувствие вгрызлось мне в сердце... Мне грустно... Мне страшно!.. Потом я был у заставы; я надеялся их встретить. Взоры мои стремились вдоль снежной дороги, но однообразие ее ничего отрадного не показывало. Все было тихо, уединенно. Я ждал долго. Наконец серебристая пыль взвилась вдали... сердце стукнуло в груди моей... вся жизнь моя перешла в глаза... послышались шаги лошадей... пар от них валил клубом... дорожные все ближе... я различил огромную карету... я едва устоял на ногах... карета подъехала... промчалась... то были не они — Веры тут не было! Мне стало дурно. Голова моя закружилась; несколько минут я не переводил дыхания,— но я остался, я еще ждал. Тянулись обозы, пролетел курьер, проскальзывали сани, повозки, кибитки — потемнело, и мороз принудил меня уйти домой. Но более всего озябло мое сердце, и ему не согреться, пока разлука не минула, пока мы не вместе... Пора ей быть! Моя твердость истощена прежними страданиями, и я чувствую, что сил моих не станет для новых.

---

11 января, утром

Нет! верно, все демоны злобы вооружились против меня, что я так несчастлив... Верно, судьба нарочно меня испытывает! Как? Я здесь и она тоже — мы в одном городе, под одним небом, мы могли бы быть вместе, а препятствия все еще нас разлучают, и мне все еще не удается достичь до нее! Я сейчас от подъезда Клирмовых — они возвратились, но *не принимают!*.. Когда можно будет их видеть — я не мог узнать. У них в доме какая-то суета: люди мечутся как угорелые, никто не может отвечать на вопросы... О, что бы это все значило?..

По крайней мере она увидит мои визитные карточки, узнает, что я приехал... Вера, Вера! если мы с равным нетерпением ждем свиданья, если радость наша будет одинакова, боюсь, что твое слабое, женское сердце не перенесет этого перехода; боюсь, чтобы оно не замерло в твоей встревоженной груди в минуту первой встречи!

Восемь часов вечера

Не утерплю! Попытаюсь еще раз съездить к Клирмовым. Быть может, теперь меня примут, и тогда... тогда...

Час пополуночи

Боже мой! ее ли я видел?.. Точно ли *Вера* представилась глазам моим?.. Мечты моего сердца, мечты о свидании, где вы? как сбылись вы? Это свиданье, это первое свиданье после долгой, безмолвной, безотрадной разлуки... таким ли я желал его, таким ли снилось оно мне в дни мятежных страданий?.. Я не знаю, что с моей душою, что со мною! То, что я чувствую, так неясно, но так мучительно, что я как избавителя принял бы того, кто мог бы меня уверить, что я еще *не видал* Веры, что нынешний вечер сновиденье, пустая греза беспокой-

ного воображения... К несчастью, это слишком верно: я *был с нею*... и в первый раз расстался недовольный — оскорбленный!

Радость не полная, радость отравленная сто раз хуже настоящей скорби, скорби, которой помочь нечем, которой сердце успело уже примениться, которую привычка и покорность помогают перенести. Но когда сердце предается самой сладкой надежде, когда оно растворяется теплейшим доверием, задушевным удовольствием, как больно ему вдруг стесняться нежданным горем, какая пытка для него внезапно быть подавленным отливом несбывшихся, убитых упований! Его мечты, его порывы как иные голубицы летят к родимому гнезду — но возвращаются поодиночке, растерзанные, раненые, и все вопли его сливаются в мрачный вопль отчаяния. Ах! это было моей участью сегодня!

Этот степенный круг старух и родных, это торжественное молчание, которым ее окружали,— все это обдало меня могильным холодом! Я едва мог найти ее среди этого чинного собрания, заседающего неприступно... Горе! не обменяться ни одним взглядом, ни одним словом, смотреть издали на нее, на *мою Веру*, не слыхать от нее ни одного привета, быть принятым ею с равнодушием, как посторонний,— кто бы предсказал мне это! Мне ли было ожидать, что я проведу таким образом первые минуты соединения, минуты, долженствовавшие быть счастливейшими моей жизни?..

Но не она, верно, что не *она* виновата в этом несчастном приеме! Верно, ей, как мне самому, притворство было хуже смертной казни; верно, ее сердце рвалось и билось в пылающей груди; верно, все восторги присутствия волновали ее душу, но приличия — эта язва чувства, эта пагуба тайной любви — приличия были между нами, и женщина, раба всех условий, должна была им покориться! Бедная, конечно, она исстрадалась в этот вечер и теперь, как я, тоскует и томится в одинокой своей комнате!

Мне кажется, она еще больше похорошела; выразительность ее лица стала ощутительнее, определительнее; черты ее

освобождаются от оболочки детской бесхарактерности; головка ее дышит жизнью, мыслью, чувством; прежний румянец, примета беззаботности, сменен прозрачными оттенками бледной белизны, которые могло придать ей одно развитие души! Видно, что она сделала шаг в жизни сердца; видно, что она любит, что она страдала. И кто лучше меня может заметить и оценить изменения красоты ее, особенно когда они свидетельствуют мне о чувствах, мною внушенных, о слезах, по мне выплаканных!..

Однако ж сегодня, изумленный ее прелестями, я должен сознаться, что в ней пробивалось что-то странное, принужденное, неловкое. Какая-то холодность оковывала ее движения, взвешивала ее слова — она не была самой собою.

Ее глаза избегали моих,— конечно, ими управляла робость! Ее взоры молчали,— конечно, чтобы не сказать слишком много! О, я понимаю, что ей душно было при всем этом обществе свидетелей, но я, я хотел видеть в ней отблеск ее тайных чувств, я был бы счастлив уловленным взором взаимности, двусмысленным словом, которого никто бы не понял, кроме меня, но которое я так хорошо уразумел бы.

Невыразимые прихотливости любви!.. Как ни остался я недовольным нашей встречей, как ни темно у меня на душе, однако ж, думая о Вере, я оживляюсь небесною отрадою, чудным прояснением моих мыслей, и я готов заочно повергнуться на колени пред ее возлюбленным образом и высказать без нее гимн страсти и радости, которого не мог излить у ног ее!

Постараюсь отдохнуть. Холодное зимнее утро занимается на востоке. Что скажет, что принесет мне этот новый день, который я встречаю с таким волнением, в бессоннице сожалений, надежд, ожиданья?

---

12 января, рано утром

Со вчерашнего вечера, с этого вечера, столь томительного и столь сладостного, сердце мое до сих пор не перестает биться судорожною тревогою, но голова моя приходит в порядок,

и я в состоянии дать себе отчет, что видел, что заметил. Я вспоминаю, что княгиня Софья побледнела, когда я вошел в гостиную ее матери, что она с большим смятением отдала мне мой поклон и потом весь вечер убегала меня. Вчера я был занят одною Верою, но сегодня привожу себе на память все, что может иметь влияние на мою участь: я стараюсь сообразить все, что предвещает мне прием обеих сестер, и предчувствие, которое охватило мою душу на пороге дома, при первом неудачном посещении, предчувствие все внятнее говорит сердцу, что оно слишком рано запаслось брачною ризою упования. Быть может, Вере не удалось склонить мать к согласию. Но если бы Клирмова знала что-нибудь и противилась желаниям дочерей, меня не приняли бы? Так, видно, они не смели открыться матери и робеют теперь, боясь семейных распрей... так видно... Нет! полно, не хочу придумывать ничего мрачного, ничего огорчительного — поживем, посмотрим, одно у меня неотъемлемо — это любовь моей Веры! Все прочее одолею или презрю!

Тот же день, после обеда

Приглашение от Клирмовых на сегодняшний вечер! Приглашение по карточкам, как на большой праздник, и рассылается за несколько часов перед балом, а вчера ни слова о предположенном бале, ни слова, чтобы позвать меня? Как все это странно, необыкновенно, несогласно с их привычками — соблюдать все закоренелые обряды светскости! Какое чудо могло расстроить заведенный порядок чинного дома Клирмовых?

Но мне все равно. Бог с ними и с их причудами! Меня этот вечер невыразимо радует: в шуме раута мне удобнее будет наговориться с Верою — мы по-прежнему ускользнем от внимания, мешаясь с пестрою толпою; мы будем свободны, мы насладимся всеми благополучиями настоящего, всеми надеждами на будущее; мы условимся, как приготовить, как ускорить это желанное будущее! Мы... но зачем опережать мечтою эти

блаженные часы? Каждый восторг, каждая мысль, неразделенная с нею,— я краду их у нее; ничего более не хочу чувствовать, пока не начну чувствовать и думать вместе с нею!

До вечера, возлюбленная всей жизни, всего сердца! До вечера, моя Вера, моя неотъемлемая, my own* Вера!

III

На этом прерывается дневник Вадима. Почему? То знает нежная сестра, да знал бедный отец; да, может быть, отгадывало *чье-то* сердце, сердце, привыкшее понимать Вадима!

Л..., этот товарищ, у которого на свадебном балу Вадим и Вера познакомились, Л... находился на вечере Клирмовых и был свидетелем всех подробностей этого вечера.

Когда Вадим подъехал к ярко освещенному дому, когда он вступил в блестящую залу, лицо его горело всей радостью его сердца. Он был весел, он проходил поспешно перед рядами дам, раскланиваясь на все стороны и отыскивая молодую хозяйку; но тесные группы гостей, набившие все углы дома Клирмовых, останавливали его на каждом шагу, и нетерпеливый любовник долго бродил, не видя Веры. Вдруг сама Клирмова, зашитая в блондах, разубранная в перьях и бриллиантах, загородила ему дорогу и приветствовала его с ласковейшею из всех ласковых улыбок, расточаемых ею всем встречным, всем проходящим.

«Ах! Вадим Николаевич! Очень вам рада!— сказала она.— Вы, конечно, удивляетесь нашему приглашению не в пору, но мы и всех так же звали. Бал устроился нечаянно, для нынешней радости! Поздравьте же нас: мы давеча помолвили свою Верочку. А вот позвольте мне познакомить вас и с женихом, с будущим зятем моим, генералом бароном Гохбергом». В эту минуту к окостенелому Вадиму подвинулся мужчина зрелых лет, в огромных эполетах, с множеством орденов, наружности самой обыкновенной, и с покровительственною

---

* моя дорогая (*англ.*).

вежливостью пожал его холодную руку. *Судорожное движение пробежало по членам* молодого человека, но прежде чем он опомнился, веселый жених с своей победовидной тещей торжественно шествовали далее, собирая поздравления и поклоны.

Свирский остался на своем месте. Голова его кружилась, в глазах меркло; он был не в силах сделать шага вперед, выговорить слова. Бесчувственный, сам не зная, что делает, приник он к стоявшей вблизи мраморной полуколонне. Л... шел мимо, увидел его и, обрадованный его приездом, подбежал к нему со всеми выражениями искреннего удовольствия. Он говорил тщетно. Вадим отвечал бессмысленной улыбкой, но память, но душа его — до них не дошли слова радушного собрата; они были мертвы, мертвы, как все упования несчастного. Свирский был оглушен громовым заключением своей судьбы. Он сам еще не понимал ни слышанного известия, ни собственных чувств.

Вдруг он вздрагивает нервическим потрясением... что-то знакомое, тесно связанное с его бытием поколебало воздух около него. Близость любимого предмета возвратила ему самопознание. Голос дрожащий, разбитый сильным волнением прерывисто лепечет чуть внятные слова. Вадим приходит в себя. Он поднял глаза — возле него Вера.

Она! Одета, разукрашена с изысканным, обдуманным вкусом, свежа, как первая любовь поэта, хороша, как счастливая невеста, с изящной ловкостью совершенного спокойствия она стоит перед пораженным Вадимом — и ничто, ничто не изменилось в ней, и никто, видя ее столь веселою, столь блистательною, никто не может подозревать малейшего горя в ее душе, малейшего облака над ее жизнью.

Правда, необыкновенный, лихорадочный румянец пылал неровно на щеках ее, правда, глаза ее то сверкали ярким огнем безумия, то блуждали, туманные и безвзорные, но улыбка, приросшая к устам ее, была достаточной вывеской для уверения света в ее счастьи, и Вадим, один Вадим мог последней вспышкой сочувствия угадать бурю в ее сердце, узнать

страдание под усмешкою и траур души под праздничной обновой.

«Прости меня, прости меня, Вадим! Я люблю тебя по-прежнему — нет! больше прежнего, больше, чем когда-нибудь! Но я не могла противиться — мне грозили деревней, Костромой, заточеньем — бог знает чем!— я знала: ты был потерян для меня, я знала, что нас разлучают навеки, я решилась спасти мою любовь, жертвуя счастьем, я повинуюсь, но...»

Ее прервал адъютант Гохберга с приглашением на вальс; жених и мать показались в дверях залы. Вера бросила на Вадима невыразимый взгляд; ласковым наклонением головы отвечала адъютанту и — вихрь вальса умчал ее! Вадима кольнуло в сердце, как будто острием кинжала Боль возвратила ему окованные силы его. Он оторвался от колонны и скорыми шагами выбежал из шумного бала, из освещенного дома...

На следующий день в одной из гостиниц на Тверской заметно было странное волнение. Прислуга бегала из этажа в этаж, из нумера в нумер. Содержатель был расстроен и в испуге. Молодые люди, его жильцы, сошлись в общую комнату, более или менее пораженные чем-то печальным, и все, знакомые и незнакомые, под влиянием общего участия говорили вместе шепотом, как будто совещаясь о чем-нибудь. На лестницах и в прихожих суетились доктора, полиция и проч. и проч.

В одной из занятых комнат у дверей плакал слуга, бывший прежде дядькой, потом камердинером Вадима Свирского; далее плац-майор и частный доктор казались занятыми значительным делом, а Л..., весь встревоженный, хлопотал, ухаживал около них, с жаром упрашивая о чем-то то одного, то другого. Старый слуга старался слезами подтверждать его убеждения, а на диване лежал неподвижный труп. История Вадима была кончена. Он оставил полупройденное поприще; он не перенес переворота своей любви, погибели своих надежд, своих верований...

Он пал; он пал душою пред искушением отчаяния; он стал виновен в тяжком грехе перед лицом Всевышнего Судьи, все-

гда им чтимого; но пред людьми вся его жизнь говорит за него. Не осуждайте Вадима! Приблизься, человек, выскажи над ним слово отвержения! приблизься тот, кто пребыл тверд, кто мужался, кто не роптал, когда с высоты блаженства одним махом рока он был свергаем в бездну всех страданий человечества!

По всем строгим и законным исследованиям докторов покойник был признан покусившимся на свою жизнь в припадке белой горячки. Старый слуга клялся, что его барин на пути из Петербурга был болен и бредил всю дорогу, и он не лгал. Любовь Вадима была сумасшествием. Тело Вадима было предано земле с христианскою почестью.

Л... собрал бумаги своего друга; камердинер отвез их Екатерине Свирской, сестре усопшего.

В Москве около недели толковали об этом происшествии. Мнения и слухи были разногласны. В Английском клубе уверяли, что Свирский промотал, а может быть, и проиграл казенные деньги. В гостиных, в обществах утверждали, что ему отказала богатая невеста. Ультраромантики, прозябавшие в кондитерской Педотти, в кабинетах, посвященных жалобам на вселенную, со вздохом твердили, что Вадиму наскучила юдольная жизнь, вялая, бессвязная.

В доме Клирмовых менее всего заботились о Вадиме. Недоставало времени подумать о нем — шили приданое будущей баронессе да готовили праздники и балы к ее свадьбе. Княгиня Софья дня два не выходила из своей комнаты, сказавшись нездоровою. Невеста... но ведь невесты обыкновенно сидят с женихами, говорят с женихами и, по принятому порядку, должны думать только об одних женихах. Вера исполнила все условия своего нового сана. Было ли что-нибудь сверхобычное в ее душе? Кто узнает, что на уме или на сердце у женщины, когда она хочет молчать? Барон Гохберг жалел о потере молодого человека, который был красив собою и, без сомнения, годился бы быть ординарцем.

Старик Свирский недолго оплакивал сына. Преклонные лета и горе свели его в могилу.

Спустя три месяца читали в «Московских ведомостях» под рубрикою: *Отъезжающие за границу:* «В Германию, к минеральным водам, генерал-майор барон Гохберг с супругою, баронессою Верою Григорьевною».

Тринадцатого января 18.. года в зимней церкви... монастыря служили обедню за упокой, и голоса отшельников пели своим чудным, раздирающим напевом умилительные стихири смерти, между тем как диакон звучным басом провозглашал: «Упокой, господи, душу усопшего раба твоего Вадима!»

Накануне от двух разных домов и в разное время прислали просить об отправлении обедни с панихидою по Вадиме Свирском, погребенном в ограде монастыря. Посланные умолчали имена своих господ. Заботливый казначей боялся, чтобы из этого двойного заказа не вышло неприятностей, которые ему трудно было бы отвратить.

Длинная церковь была почти пуста. Против придела, в котором совершалось богослужение, у ближнего простенка, стояли две дамы, обе в черном. Одна, пожилая, всею наружностью своею выказывала, что она так называемая *компаньонка*, то есть что обстоятельства и недостаток принудили ее под старость лет есть чужой хлеб и жить по чужой воле. Она стояла ни позади своей спутницы, ни рядом с нею, а как-то косвенно и смотрела на нее с подобострастием, крестилась вслед за нею, творила земные поклоны, когда та тихо наклоняла голову, и следовала взорами за ее глазами. Что-то унылое поражало в этом бедном существе, тем более что ее черты не изобличали чувств низких, а только покорность беззащитности. Она была жалка на вид, но, к счастью, рассмотрев ту, которую она сопровождала, можно было поручиться, что она не жалка в действительности и что участь ее в руках добротворительных и кротких.

Дама, подле нее стоявшая, казалась лет около двадцати

семи и была бы вовсе не замечательна, если бы лицо ее не оттенялось двумя господствующими выражениями: привычкой тихой скорби и ангельским смирением. Весь наряд ее свидетельствовал о совершенном нерадении: платье ее обвисло и прилипло около стана; шляпка была оставленного всеми фасона; старинная турецкая шаль неловко закутывала ее, и вся ее наружность соответствовала такому пренебрежению. Больно было смотреть на нее; разочарование и пустота жизни отпечатались на ней; очевидно было, что она, добровольно или нет, отказалась от всех прелестей молодости, от драгоценнейших прав женщины: права нравиться и права быть любимою. Но когда она возводила глаза к небу, сожаление к ней умолкало и сменялось уважением, потому что спокойствие и благодать разливались во всех чертах ее, и она забывала утраты земные, наслаждаясь надеждой обрести вознаграждение в небесах.

При этих дамах находился старик слуга, без ливреи; он всю обедню простоял на коленях, рыдал громко и вслух повторял молитвы. Нищие, наполнявшие паперть, заметили, что когда он высаживал барынь из ветхой кареты, то не умел ни растворить дверец, ни разложить подножки и чуть было не уронил старшей из барынь, стараясь ее поддержать. Вероятно, он не привык стоять за каретою и в этот день исполнял не свою должность. Вероятно, его взяли только ради его усердия; статься может, не хотели, чтобы другой был равнодушным свидетелем печальных обрядов. Истинная горесть любит окружать себя одними теми, кто ее понимает.

Поодаль от этой группы, столь соответствовавшей случаю и месту, в крайнем углу церкви стояла еще другая женщина, представлявшая разительную противоположность двум первым. Эта приехала в богатом экипаже, с позолоченным гербом; ее сопровождал широкоплечий лакей, обшитый золотым позументом, одетый в блестящую ливрею. Дама эта во многих возбудила бы зависть своими нарядами, если бы тут было кому заняться ее нарядом. Малиновый шелковый плащ на пушистом собольем меху, блондовый вуаль на щегольской утрен-

ней шляпке означали аристократку модного света. Правда, зоркий взор праздной наблюдательницы мог бы и тут заметить нераденье, но это было нераденье в другом роде: дама в черном собрала все, что у нее было траурного, не позаботясь о том, чтобы ее траур отвечал требованиям щегольства; дама в малиновом надела, что ей подали и что она носила запросто. Она была рассеяна, когда одевалась, или же слишком занята своими думами. Ее черты были правильны, привлекательны, благородны, но так измучены страданием и усталостью жизни, она была так худа, так бледна, что молодость ее делалась загадочной. Глаза ее были черные и большие, но без огня, без жизни, без взгляда. Она слушала божественную службу с алчным и нетерпеливым вниманием, во время пения она плакала долго и горько, но слезы ее не струились, а засыхали на воспаленных веках; нервическое трепетание овладевало ею; рыдания волновали грудь ее: то были рыдания сухие, судорожные. Горесть ее была горесть смутная, тревожная, полная истомы и ожесточения, неумягченная ни покорностью, ни душевным миром. Пылкость нрава и живость страстей резко означались во всем существе ее, она не просила ни отрады, ни подкрепления, ни надежды — нет! она оплакивала земное, она чувствовала по-земному! И не одно горе иссушило ее: это горе походило на раскаяние. Женщина в трауре казалась испытанной и примиренной, нарядная женщина казалась сокрушенною, но мятежною.

Обедня отошла, началась панихида, и при торжественном: *«со святыми упокой»* священники, клирос, монахи и все предстоящие, со свечами и символическою кутьей, пошли на могилу Вадима. Дама в черном медленно и тихо приблизилась к надгробному кресту и опустилась на колени подле него. Дама в малиновом плаще как исступленная повергласъ ниц на холодный камень.

Обе они продолжали плакать и молиться по окончании панихиды, когда церковный причт удалился. Мерзлый иней леденил их слезы, когда шум карет вывел их из горестного забвения; обе встали почти вместе и впервые заметили друг дру-

га. Их взоры быстро встретились в любопытном вопросе, со всею проницательностью женской сметливости. Обе остановились. Удивление и недоумение отразились на лицах их. Себялюбивая ревность глубокой привязанности зажглась в их глазах. Ревнуя за могилу, каждая была готова присвоить ее себе и спросить, по какому праву другая к ней приближалась. Каждая с недоверием ждала, чтоб другая удалилась. Они стояли неподвижны. «Катерина Николаевна, матушка, пожалуйте, пора нам!» — произнес дряблый голос старика слуги.

«Карета баронессы Гохберг!» — громко крикнул лакей в богатой ливрее.

У обеих сердца забились, у обеих вырвался знак сильного изумления. Одну минуту Вера колебалась, не подойти ли ей к сестре Вадима? Сочувствие общей утраты влекло ее, но голос-укоритель восстал в ее сердце — она зарыдала, она пошла с поникшею головою. Катерина с ужасом посмотрела ей вслед и отступила к памятнику, как будто прося его защиты! Ее увела компаньонка.

За оградой монастыря кареты разъехались. Их путь был так же различен, как участь и чувства увозимых ими.

Катерина Свирская приезжала в Москву посетить последнее жилище брата, обожаемого и во гробе; но дела ее задержали, и она принуждена была пробыть еще несколько месяцев в городе, где все было ей ненавистно, потому что все напоминало ей повесть былого-утраченного. Весной, перед возвращением в свою деревню, она захотела проститься с могилой брата и отправилась в монастырь с обычными своими спутниками. У ворот обители ее долго задержали пышные похороны, туда входившие. Множество священников в присутствии архиерея, выбор певчих, факелы и черные плащи — все показывало роскошь и тщеславие, все свидетельствовало о знатности и богатстве умершего. В двух шагах от Катерины пронесли малиновый, бархатный гроб, под парчовым покровом. Толпа дам и людей всех званий следовала за ним и множество карет осталось на поле.

«Кого это хоронят?» — спросила Катерина у человека с белыми нашивками, принадлежавшего к церемонии.

— Генеральшу баронессу Гохберг.

Катерина живет в своем уединении с одной вдовой из бедного дворянства, которую взяла для приличия. Она не вышла замуж Немудрено!.. Она нехороша собою, она без приданого, она без знатного родства. Кому дело знать, что в ней таятся душа ангела и любящее сердце с умом и нравом женщины превосходной! В свете мила красота и нужно золото!

<1837>


Письма

В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

1

Пятигорск, 25 мая 1839

Зачем вас здесь нет?.. здесь так хорошо, тепло, светло, воздух так чист, так тих, дышится легко, живется так же, без забот, без мыслей, без занятий, словом, мне здесь так привольно и приятно, что часто приходит в голову: «Зачем же вас здесь нет?..» Как вы бы отдохнули от всех своих труженических обязанностей и хлопот! Как вы бы помолодели и духом, и сердцем, и здоровьем; как мы с вами наболтались бы досыта!.. Но вы между тем душитесь за пером и бумагами, да еще казенными, скучаете в опустелом Петербурге и убиваете свое бедное существо над тысячью неприятных и досадных трудов. Почти неделя, что я здесь, и еще не раскрывала книги, не подходила к письменному снаряду; и теперь, желая поздороваться с вами, из-за тридевяти земель тридесяти гор и рек нахожу вместо чернил какую-то размазню из сажи, явный признак необразованности, следственно, благоденствия сего края, спокойного, малограмотного, малопишущего. Сюда на днях должен прибыть ваш двоюродный брат, находящийся в службе в здешнем корпусе[1], и я горю нетерпением с ним познакомиться. В детстве моем семейство Ренкевичевых[2] представляло мне его идеалом ума и души; если это точно правда, что он таков, то знакомство с ним будет мне и приятно, и опасно, и дружба одного из князей Одоевских вряд ли будет мне защитою против привлекательности другого. Но во всяком случае я обещаюсь не утаивать от вас ни мнения моего о вашем родственнике, ни подробностей нашей встречи. Il aurait beaucoup à faire pour vous effacer de mon coeur, et je l'en défie, en votre nom et au mien*. Говорят, что он много написал в последние года и что дарование его обещает заменить Пушкина, и говорят это люди умные и дельные, могущие су-

* Ему стоило бы много труда изгладить вас из моего сердца, и ему это не удастся — порукой в том вы и я *(фр.)*.

дить о поэзии. Посмотрим, посмотрим!.. Он Одоевский, и это уже большое достоинство в моих глазах.

Знаете ли вы, что вы должны меня спасти, меня избавить и защитить в одном щекотливом случае? Уже здесь, дня с четыре тому, получила я через нашего управляющего в Москве письмо от Бенкендорфа, написанное 24-го генваря, в котором он просит очень вежливо и обязательно моего соучастия для альманаха Владиславлева[3]. Где это письмо завалялось, почему так поздно дошло до меня,— не знаю, но предвижу, что меня обвинят в неучтивости за то, что я не отвечала, и прошу вас, душенька-благодетель и доброжелатель, возьмите на себя труд меня оправдать и чрез Владиславлева доведите до Бенкендорфа причину моей невольной невежливости. Я теперь ничего запасного не имею, чтобы замаслить подаянием безвинную вину, но попросите Плетнева, чтоб он уступил что-нибудь из присланных ему недавно мелочей, и отдайте Владиславлеву. Не правда ли, что отвечать прямо Бенкендорфу было бы неловко и не кстати? Но, ради бога, будьте моим заступником и ходатаем, и устройте дело так, чтоб меня бранили как можно менее, ибо на отсутствие осуждений я уже перестала надеяться в здешнем мире. Если вам будет досужно, напишите мне несколько слов; до 10-го августа адресуйте сюда, а позже в Анну, как всегда. Addio, caro amabilissimo, siate per me sempre qual che siate adesso ed io non posso e non voglio cambiare mai*.

Е. Ростопчина

Посылаю вам цветы, сорванные на здешних горах, а именно на Машуке.

2

<1844 г.>

Благодарю вас за повесть, а также за посвящение ее мне, которое я принимаю от всей души; но боюсь только, как бы,

* Прощайте, любезнейший друг, будьте для меня всегда таким, каким вы были доселе, а я не могу и не хочу перемениться (*ит.*).

взглянув на заглавие, те из читателей, которые иногда видят меня вблизи, не подумали, что вы хотите посмеяться, посвящая мне «Живого Мертвеца»[1], мне, которая так на него походит. Но это придаст мне интересный колорит, которым я отнюдь не гнушаюсь. Надеюсь, что все то, что вы мне некогда посвящали, будет напечатано с моим именем в новом издании ваших сочинений, и если вы выставляете даты при своих произведениях, вы сами убедитесь, что в былые годы вы несравненно более обо мне помнили и что я гораздо сильнее властвовала над вашим вдохновением. А затем господь да хранит вас.

3

Москва, 15-го генваря 1848

Милый князь — невидимка, неуслышка и нечитанка,— что это с вами деется и как вы живете-поживаете на нашем уж чересчур не белом свете, вращаемом теперь в каком-то странном адском вальсе, от которого у него голова до горячки закружилась и после которого он едва ли уцелеет, если бог не сжалится и не пошлет ему в лейб-медики порядочной чумы, доброго потопа или полдесятка Атилл, Мамаев и Чингис-ханов, чтобы привести его в порядок и спокойствие, освободив от лишних и враждебных членов, которых в нем так много набралось и развелось. Что моя добрая княгиня?.. Ничего ровно об вас не знаю и боюсь, чтоб вы меня не забыли. Это, право, было бы грешно, ибо о друзьях-покойниках велено вспоминать и молиться, а я, если и не совсем покойница, но решительно похоронена в грязи, ссоре и запустении того, что смеют звать московской жизнию. Хороша жизнь!.. стоит смерти, но не имеет ее выгод,— уединения и молчанья! Недавно я было отдохнула умственно и расправила крылья мысли в беседе Чихачева[1]; он прожил здесь неделю, ежедневно бывал у меня, и мы с ним толковали об Европе, о которой здесь хотя и имеют некоторые понятия, но вообще очень сбивчивые и неопределенные; иные представляют ее себе в виде ресторации, где бессменно подаются и пожираются лучшего

сорта трюфли и паштеты; для других она — сераль продажных баядерок; для дам — модный магазейн; для Хомякова и его шумливых, нечесаных, немытых приверженцев — бедный заграничный мир только сцена, на которую они поглядывают спокойно с своего тепленького местечка, зеваючи или припеваючи, как кому случится, покуда бедные арлекины и паяцы, действующие единственно для вящей их, зрителей, забавы, стукаются, дерутся и суетятся, а славяне глядят презрительно да поглаживают свою бородку. <...>

<...> у меня, милый мой Одоенка, есть до вас дело мое собственно, и очень для меня важное: можете ли вы от меня спросить Лихтенталя, продаст ли он мне пианино в двести пятьдесят или 300 рублей серебром?.. Буде у него такое есть и подержанное, но хорошее, пусть он его мне тотчас вышлет. В прелестной степи, называемой первопрестольным градом, нет, решительно нет порядочного инструмента или порядочного мастера. Для детей мы наняли кое-что в виде клавесина, от которого уши болят и нервы содрогаются; а я должна поститься в музыкальном отношении, что мне чрезвычайно грустно. Давая вам это, впрочем скучное, поручение, я надеюсь на вашу дружбу, а еще более благотворительность: это в своем роде благодеянье, которое вы мне окажите, и вы лучше всякого другого это поймете. Поговорите о мне со всеми нашими дорогими, с Вяземским, которого люблю заочно и молча столь же, как в глаза, с Михаилом Юрьевичем Виельгорским[2], с Карамзиными, с Н. Ланскою[3]; поминайте меня чаще; авось ли ваши воспоминанья меня магнетическою силою к вам притянут. Простите, люблю вас всех, все вы мне недостаете, а *вы* едва ли не более всех; «vous» veut dire ici le ménage, la chère princesse adorablement bonne, tout comme le prince adorablement volage*. Прошу это прочитать вашей жене и расцеловать ее за меня. Кланяйтесь добрым Путятам[4]. Преданная вам не на шутку Евдокия Ростопчина. <...>

* Под словом «вы» здесь надо разуметь вашу семью: дорогую княгиню, восхитительно добрую, равно как и князя, восхитительно ветреного (*фр.*).

4

Москва, 4-го февраля 1858 г.

Капитан Миаули, дедушка Ириней[1], Albert le Grand[2], Hoffmann II[3], и проч., и проч., и проч., а теперь сиятельный князь, важный сановник.

В то время, когда я знала и ведала не только где вы и что с вами деется, но даже что вы думаете, и в каком тоне, мажорном или бемольном, находятся ваши мысли, ваши чувства, ваше внутреннее я... Да, где оно, это старое, гармоническое, поэтическое время, а?.. Non, non, vous n'étes plus Lisette*, говорил Беранже[4] своей прежней возлюбленной, встречая ее в блондах и бархате, в шляпке с перьями и блестящем экипаже... Нет, нет! ты больше не мой Миаули, не сказочник, не сочинитель Bukler Valser, не гармонист, толкующий мне о привидениях, а нечто важное, серьезное, государственный человек; и потому я через «Independance Belge»**[5] узнаю о вашем возврате на родину, и если бы не было газет, я бы не ведала о вашем существовании... а лучше ли вам среди грандеров?.. легче ли сердцу?.. счастливее ли вы?.. Нет, небось... и если б не *Савоська*[6] порой услаждал слух ваш любимыми звуками Мендельзона и прочих, вы бы и не знали, среди своих забот и придворных должностей, что есть еще музыка на свете; что есть наслажденья кроме Анны через плечо и умственная, душевная пища помимо вечеров с Altezza и Durchlaucht, своими и чужими?.. А я хочу пробудить в вас давно уснувшее эхо бывалых мелодий, хочу потрясти ваши воспоминания, омолодить, оживить вас, хоть на пару часов. Вот вам, друг Одоевский, вот вам две книжечки, которые напомнят вам многое и многих, уже не сущих, но прежде вам милых, вот вам лейпцигское издание моей души[7], потому что я помню вашу ненависть к стереотипам и в ваше отсутствие берегла вам этот гостинец для встречи, как поэтическую хлеб-соль! Ваше имя является гласно и печатно единожды, но как часто оно подразумевается на разных страницах, запечатленных моими сер-

* Нет, нет, вы уже не прежняя Лизетта *(фр.)*.

** «Независимость Бельгии» *(фр.)*.

дечными исповедями!.. Если вы только станете перелистывать эти два томика, то они возобновят в вас все силы молодости и воображенья, они опоят вас вашими собственными воспоминаньями, так часто шедшими об руку с моими!.. Наши общие друзья воскреснут перед вами; ваши субботы, мои обеды, то с Глинкою, то с Листом, Мендельзоном и Шубертом, разыгрываемыми у Смирновой, ваши confidences* касательно ваших личных тайн, все, все тут, все оживет, заговорит, запоет перед вами дивную, страстную, животворную песнь старины. A quelque chose l'amitié est bonne!** Пусть она послужит вам и мне какою-то магическою fontaine de jouvence***, потом возьмите перо и настрочите мне письмо, если не влюбленное и полумистическое, полуфантастическое, как в старину, то по крайней мере братское и дружеское, какого я ожидаю от вас и которое будет отрадно мне среди холодного, грустного, положительного мира, где я живу, вращаюсь, вывожу дочерей на бал... Да — я! я вывожу двух дочерей, и эти слова картинно выражают вам мое полное преображение из женщины в мужчину с чепцом, из существа свободного и мечтательного в светскую даму, исполняющую, с важностью нуля, утомительную должность d'un chaperon****, особы, восседящей чинно в бальных залах до зари и рассуждающей... о тряпках с подобными ей маменьками и тятеньками. Aussi, et par un reste de coquetterie feminine que je veux que vous me relisiez, pour me voir telle que je fus, non telle que je suis*****.

Кланяйтесь много княгине, расцелуйте себя самого, пожмите благородную лапу Тернёва, возьмите аккорды на Савоське, и все вместе, муж, жена, орган, Тернёв, помяните любящую вас и проч. *гр. Ростопчину*.

* признания *(фр.)*.

** И дружба может на что-то сгодиться *(фр.)*.

*** источником молодости *(фр.)*.

**** компаньонки *(фр.)*.

***** Потому, а также из остатков женского кокетства, я хочу, чтобы вы меня перечитали, чтобы увидеть меня той, какой я была, а не какая сейчас *(фр.)*.

А. Н. ОСТРОВСКОМУ

1

<1851>

Вы говорили намедни, что хотите посмотреть и послушать Скупого Рыцаря, и вот ко мне пристает Бегичев[1], чтоб я напомнила Вам Ваши слова, любезный Александр Николаевич, и уговорила Вас ехать поддерживать его неопытность и дерзость. Самой же мне нельзя, мне сегодня опять хуже, лихорадка была, а досадно — я очень любопытствовала взглянуть на эту попытку. Имеет же быть она в среду вечером; если кто из наших еще соберется, то дайте знать заблаговременно, чтоб распорядиться билетами. Все ли Вы сердитесь на меня... Впрочем, об этом надо еще потолковать; с Бергом я объяснилась,— и кажется, он укрощен. Ради бога, не покидайте меня в субботу,— я больна и сиротлива, будет Вам грех, если меня забудете. Покуда так глупа, что умею только прибавить

Радуйся, Москвитянина украшение,
Радуйся, Современника отвращение,
Радуйся, Краевского[2] усмирение,
Радуйся, купцов бичевание,
Радуйся, бедных невест похвала!

Каково для больной и пустой головы!.. право ведь не хуже других Прибавляю к этим шалостям серьезный и задушевный поклон и дружески пожимаю Вашу дружескую руку, преданная Вам

Г. Е. Ростопчина.

2

Воскресенье. 16-е марта <1852>

Хоть я и знала, что вашей больной стало хуже[1], но все-таки я никак не могла ожидать того ужасного известия, которое

получила вчера в вашей записочке чрез Домбровского[2]. Ах, бедный друг мой, что можно вам сказать, или хотеть сказать в утешенье, когда для вашей утраты нет утешенья. Скажу только, что я понимаю вполне ваше горе и вполне ему сочувствую; позвольте вас упрекнуть в том, что вы не дали мне знать раньше,— я бы приехала на Ваганьково помолиться с вами за ту, которую любила ради вас и о которой жалею искренно, хотя я ее никогда не видала.

Вчера у меня было пусто и жутко, несмотря на присутствие Полонского, оживлявшего нас своими рассказами о Грузии,— слишком заметно было, что недоставало моих лучших друзей, и над всеми тяготело печальное известие о горе, поразившем того, кого все так любят и уважают.

Я сейчас от Гр. Салиас, у нее тоже горе — умирает кузина, воспитавшая ее дочь, а она сама нездорова; от души принимает в вас участие и просила Вам это передать. Мы с нею пробыли часа два одни: как она мила и умна, когда ее не держат на поводьях ее архистратиги.

Бергу лучше, я заезжала к нему от обедни и не застала его дома. На днях, когда дозволит погода, навещу и вас; примите меня, как близкую вам по чувствам, не церемонясь; по счастью я не довольно молода, чтоб не иметь права посещать моих друзей, как бы молоды они ни были.

До свиданья: от души жму вашу руку, и остаюсь навсегда сердечно преданная вам,

Г. Евдокия Ростопчина.

3

1-го мая, 1853 г.

Что с вами, Александр Николаевич! вы пропадаете совсем, на свадьбу не явились, ко мне не заглянули; ваши друзья и приятели беспокоятся о вас и друг друга спрашивают и недоумевают о причинах вашего затворничества. Между тем завтра последняя суббота перед моим отъездом, и все наши сби-

раются со мной проститься. Ужели вы не пристанете к ним?.. Это было бы мне очень больно, и даже обидно! — А милый наш генерал-от-Музея[1] остался верен своим Мстиславским правилам, напечатал вашу комедию без посвящения[2], столь мною ожиданного и уже с гордостью возвещенного всем моим знакомым. Пожалуйста, поссорьтесь с ним за это неблагонамеренное упущенье!

Вы отдали мне не все рукописи Лермонтова; недостает целой тетради первобытного Демона, да еще кой-каких листов; у владельца был им полный каталог, и он горько вопиет на меня; ради бога, выручьте мою голову, поройтесь во всех столах и отыщите недостающие листы и тетради. Я брала их на совесть, и если они пропадут, то это заляжет на мою совесть.

Жду вас завтра непременно, а покуда кланяюсь вам от души, любящей вас искренно и верно.

Преданная вам *Р.*

4

Москва, суббота, 13-е ноября <1854>

Вы недавно читали у Григорьева вашу новую комедию[1], друг мой, Александр Николаевич; как первой охотнице до ваших произведений и всегдашней любительнице вашего таланта, и мне следует по всем правам насладиться вашею новинкою; как верному другу вашему, мне желательно повидаться с вами после долгого отсутствия; к тому же я больна, грустна, никого почти не вижу и тем более дорожу моими верными; назначьте же мне вечер на предстоящей неделе, когда вам удобно будет потешить меня, и приезжайте в знакомый вам уголок, где вас ждет с прежним радушием и прежним сочувствием преданная вам душевно

Гр. *Е. Ростопчина.*

5

<25 января, 1856>

Душа моя, Александр Николаевич, с вами желает познакомиться удивительно симпатичное существо, а именно — Граф Лев Толстой; знакомый всем нам с «Детства»; он здесь на малое число дней, обедает завтра у меня с *Бергамето*, вам слегка известным; приезжайте в четвертом часу, ибо обед ровнехонько в четыре, а в шесть я на репетиции; Граф без отговорок ждет вас.

Преданная вам Гр. *Е. Ростопчина.*

М. П. ПОГОДИНУ

1

17 сентября 1843 года

<...>Вчера накануне отъезда моего от Москвы навсегда останется одним из самых приятных воспоминаний моих: сблизившись с вами, я получила новое и ясное понятие о прекрасном развитии мысли и деятельности в многолюдном и многодумающем круге людей замечательных, благонамеренных, истинно полезных, от которых нужно ожидать добра, света и славы нашему *родному слову* (выражение Степана Петровича[1], которое принимаю с восхищением, находя, что оно высказывает много заветного и прекрасного в одном сильном и верном слове!); вы познакомили меня с неведомым мне уголком среди обширных пустырей, и в этом-то уголке блестит светлый луч поэзии и науки, теплится чистый огонь любви к высокому и прекрасному; впредь ваше имя, ваше воспоминанье будут мне звучать чем-то родным, сочувственным, и мой доброжелательный взор будет издали следовать за вами на вашем поприще труда, заслуг и блестящих успехов!— Могу ли надеяться, что и вы воздадите мне *тем же*, и что как *старший* вы благословите на путь и счастье идущего за вами по стезе духовного мира?

2

<...>Предложение ваше мне очень приятно: кроме личных моих дружеских отношений к вам и Шевыреву, вы знаете, что я сочувствую «Москвитянину», и чтó он более всех наших Русских журналов кажется мне способным сохранить в нашей бедной Литературе неприкосновенность Русского слова и эстетическое начало; хотя и он иногда смахивает на моего врага. *реализм*, и не совсем почитает грамматику, употребляя часто мужеские местоимения *они* и *эти*, когда дело идет о

женском поле или роде! Потому-то я и желала бы видеть «Счастливую Женщину»[1] скорее на его страницах, чем на всяких других,— но заранее говорю, что ваши цензора очень мне не по душе, а что в Москве *один* только Снегирев[2] понимает дело как должно и вникает в смысл, не придираясь к словам!

3

1851 года

<...>Точно будто я напрашивалась к вам с своею повестью, точно будто я скрывала от вас ее дух, ее содержанье и направленье... Я нападаю на *все ложное*, на *все глупое*, на *все недостаточное нашего* воспитанья, *нашего брака, наших entourages**, на все, что губит и роняет нас, бедных великосветских жертв, истерзавши в нас сердце и душу, поколебавши наш разум и нашу врожденную добродетель; я хочу доказать, как трудно нам противустать всем искушеньям, против которых нет у нас опоры в этом жалком порядке вещей, среди коего мы рождаемся и вращаемся. Я хочу доказать, что свет всегда более чем в половину виноват в наших проступках, и что чем более в нас правды, чистоты, возвышенности, тем более нас преследуют, уничтожают и губят люди и самые обстоятельства, ими порождаемые. Для этого мне необходимо говорить от лица *автора* и заключеньями, и доводами подкрепить то, что обозначается у меня лишь слегка самим рассказом. *Вы сами* обратились ко мне с просьбою отдать «Москвитянину» мою рукопись. *Вы ведь читали роман прежде, чем брать его;* у меня цело ваше письмо, в котором вы рассказываете впечатление, на вас им произведенное. Что же значат теперешние ваши нападки, и давно ли *издатель вправе требовать от автора, чтоб тот жертвовал ему своими мнениями и выраженьями?* Повторяю, ваши возраженья мне были сделаны не по-приятельски, а в виде *редакторских поправок и требований*, от того я и отвечала вам на них со всею моей неуступчи-

* Здесь: нашей среды (*фр.*).

востью. И теперь повторяю вам, что я, как Самозванец[1] у Хомякова, не уступлю вам,

> Ни мнения, ни фразы благозвучной,
> *Ниже полслова в повести моей!*

Чувствую и знаю, что все *нравственно* и чисто в моем рассказе, где *нарочно* избегнуто всякое слишком точное и *нескромное определенье настоящих отношений* Бориса и Марины[2]. Вольно же вам, как старой московской сплетнице, доискиваться и допрашиваться чужих тайн?

4

<...> Вам тяжело, а мне вдвое; сейчас объехала все оранжереи, чтоб искать не редкости, не прихоти невозможной, а несколько комнатных растений,— и не нашла! Хороша столичка, где цветы не уживаются, а цензура процветает!.. Упрекайте меня еще в несправедливости к нашей Азии непросвещенной!.. Ах! дайте мне цветов, солнца, мысли, жизни!..

Право, право, здесь застой, глушь, ничтожество и тоска!

5

23 мая 1852 года

<...> Не сержусь я на вас,— да и не за что: доброе слово от души никогда меня не сердит,— но поймите же меня, наконец, и знайте, что мне несродно, невозможно идти в ногу с общим мнением, а скорее всегда приходится следовать по своей собственной стезе, наперекор ему, потому что оно, это знаменитое общее мнение, всегда составлено из личной придури каких-нибудь водителей, которым безмолвно и глупо повинуется толпа, не имеющая своего суждения. Оно-то теперь и вздумало превозносить уродство паче прекрасного,— грязь и бедность душевную выше гения и любви, прозу над идеалом; она-то, неспособная сочувствовать ничему великому, обрадова-

лась произведению новейшей литературы, представившему ей картину посредственности, обыденности и обыкновенности, где она с наслаждением узнает и называет *знакомые все лица*... Оставьте Гоголя! Разве я когда-нибудь думала, могла думать его тревожить и оскорблять?.. Разве я не из первых, едва ли не искреннее и смелее всех прочих, отозвалась воплем дружбы и уважения над его прахом и памятью, мне дорогими?.. Не путайте дела! Оно не между Гоголем и Жуковским,— эти два великие любили и понимали друг друга! Да Гоголь-то, что́ он сам, как не сильнейший из поэтов?.. Не клеймил ли он своим презрением и своим *горьким смехом* все низкое и презренное в *любимом или уважаемом человечестве. Этот горький смех* не есть ли в нем болезненная, но трепещущая поэзия... Гоголь описывал смешное и отвратительное,— да человек-то в нем всегда оставался неприкосновенен, личность его осталась на высоте своей гениальности.— Нет,— борьба между бездарными подражателями, непризнанными творителями, которые, раскусив, что им на поприще поэзии нет места и дела, обрадовались возможности действовать в прозе и принялись наперерыв утучнивать навозом своим широкое поле осиротевшей литературы... Легко, удобно, выгодно! Вот они и хвалят этот род литературы, единый, который им по плечу. Гоголь у них знамя, украденное знамя, которым они прикрывают свою нищету и наготу! Гоголь у них камень, которым они хотят уничтожить и раздавить ненавистную им поэзию!.. Die Ideale sind zerronen!* А за них-то, за идеалы, кумиры моей молодости, заступаюсь я и смело выхожу и ополчаюсь при каждом случае против *реалистов, германистов, грязистов* и всей пресмыкающейся пишущей братии!

Покажите эту записку и первую Шевыреву: я уверена, что он меня поймет и оправдает! Вы видите себя в древлехранилище, откапываете Пожарского и не слышите, что́ и как говорится в молодом поколении,— а у меня так уши вянут, ду-

* Идеалы исчезли! *(нем.)*

ша возмущается. На пятьдесят лет пошли мы назад, вкус портится... а вы потакаете и сердитесь, когда вступится кто-нибудь бесстрашный и неподкупный!.. А вы гладите по головке разбивающих в дребезги, что мы привыкли почитать великим и прекрасным, посмотрим, куда это все поведет!

6

1857 года

Премного и от всей души благодарю свою старую и добрую няню[1] за ее совет, за ее дружеское участие. Да, она права; я иногда слишком увлекаюсь своим негодованием, а самая прямизна моих мнений вредит мне, задевая и недобросовестность, и ложную премудрость, и все поддельное, условное, рассчитанное, чем мы окружены... Да что же мне делать с самой собой, если, по мере того, что я старею и отстаю от бабьих суетностей и тряпок, тем шире развивается во мне участие к общим вопросам, любовь ко всему хорошему и высокому, и тем пылче, тем неодолимее мое отвращение от лицемеров, торгашей, продажных умов и продажных рук?.. Вы знаете, вы помните, что когда я приехала сюда, я не имела никакого понятия о *кружках, партиях, приходах,*— я просто открывала и душу и объятия всем деятелям и двигателям на поприще родного слова, готовая всех уважить, всех полюбить, не подозревая никаких козней, никаких интриг. Что ж сделали из моей прямодушной благонамеренности?.. Меня возненавидели и оклеветали, еще не видав; Хомяков вооружил против меня Аксаковых[2] и всю братию; они провозгласили меня *западницею* и начали преследовать бог весть за что́, забывая мою *Царевну Софию*[3] и мое с ними по многому единомыслие. Западники же, настроенные *Павловыми*[4], куда я не поехала на поклон, бранили меня *аристократкою* и не только писали на меня стихи и прозу, но *приписывали* мне безымянные, бранные стихотворенья, что́ несравненно для меня обиднее. Все это доходило до меня, огорчало, сердило, вооружало про-

тив этих врагов, которым я до сих пор ничего не сделала, ни делом, ни словом, ниже помышлением.

Тогда я осмотрелась кругом себя и поняла, что *я одна*, то есть беспристрастна, независима, а против меня — *партии*, сильные только своей многочисленностью, и что они затирают меня между собою, как две глыбы льда бедную лодку. <...> Тогда я приняла борьбу, подняла перчатку — и с донкишотским самоотвержением пошла *одна* против всех, вдохновляясь только чистотою моих намерений и неподкупностью моих убеждений.

Я вспомнила, что принадлежу и сердцем, и направлением не нашему времени, а другому, благороднейшему,— пишущему, не корысти ради, не из видов каких, а прямо и просто от избытка мысли и чувства; я вспомнила, что я жила в короткости Пушкина, Крылова, Жуковского, Тургенева, Баратынского, Карамзина, что эти чистые славы наши любили, хвалили, благословляли меня на путь по следам их,— и я отрешилась, так сказать, от своей эпохи, своих сверстников и современников, сближаясь все более и более с моими *старшими*, с дорогими образцами и наставниками моими. Вот почему *презираю* я душевно всю теперешнюю литературную сволочь, исключая только некоторых, подобных вам и мне вольнопрактикующих, не принадлежащих ни к *сим*, ни к *оным*. Конечно, меня за это грызли, грызут и будут грызть, но не лучше ли брань, чем хвала, заслуженная постыдными происками, уступками, чужими расчетами и соображениями?.. Право, мне до дружбы журналов дела нет, ибо я убеждена, что их сила мимолетна и скоро пройдет, тем более, что они уж захваливали, а потом сами же хоронили под бранью кучи писак, особенно женского пола; но мне гадко только то, что у нас Русское слово служит теперь поприщем всякой низости, всякой непристойности. *Лиц* же я, в сущности, ни у кого не вижу, не встречаю; стало быть, ничего против них иметь не могу *вне* их литературной деятельности. Первый задел меня *Белинский*... <...> Вместо того. чтоб убояться и сблизиться с этим миром, тогда только рождающимся у нас в России, я не обра-

тила на него внимания, и меня принесли в жертву на алтаре, воздвигнутом *Зинаиде Р.*, то есть г-же Ган[5], тогдашнему кумиру журналов, где она печатала свои повести. Потом меня уничтожали в пользу Павловой, Сальяс, наконец, Хвощинской...[6] Как же вы хотите, чтоб я не была озлоблена на своих противников и не прокалывала иногда своею острою шуткою мыльные пузыри их чванства и самодовольства? Если бы за меня заступились люди беспристрастные, если бы у меня была партия,— тогда дело другое, тогда я бы отмалчивалась и предоставила бы мужчинам защищать женщину, но где же мои рыцари?..

П. А. ПЛЕТНЕВУ

1

Москва, 4 марта 1852

Давно, Петр Александрович, не беседовала я с Вами... <...> И вот сегодня, кроме моего желания сблизиться с Вами душою и мыслию, у меня до Вас и дело,— грустное, но священное дело, исполнение которого я себе вменила в долг в минуту скорби, верно Вами разделенной: Вы догадываетесь, что я говорю о смерти Гоголя, об этой новой утрате, столь незаменимой и столь неожиданной, об этом ударе, разрушившем столько надежд и ожиданий и похитившем лучшего поборника нашей бедной литературы. Да, Гоголя не стало, а уродливые лжеподражатели, которыми он сам себе неведомо наводнил наше пишущее поколение, а непрошеные его последователи, эти раскольники в законе поэзии, они живут и проживут долго... <...> Но речь покуда не о них, а о том, что вот Вам *посылка*, которую смело можете назвать замогильною,— *цветы с головы Гоголя в гробу*, собранные мною для немногих и лучших его избранных,— для вас, его добросовестного судии, для ваших двух ангелов хранителей, любящих все, что любите Вы, и ценящих все, что Вы цените; потом для Одоевского (нашего милого и теплосердечного Одоевского, этого *маэстро* в делах человеколюбия, который, вероятно, столь же мало говорит и знает о *гуманности*, сколь много исполняет ее внушения!), для *Ф. И. Тютчева* и, наконец, для *Александры О. Смирновой*, этой больной души-сестры бедного нашего ипохондрика. Прошу Вас взять на себя труд раздать по принадлежности эти залоги слова почившего и памяти живущей, они докажут Вам, что при гробе оплакиваемого друга я вспоминала об оставшихся друзьях и на них возлагала свою надежду, чтоб утешиться в безнадежной, безвозвратной потере, потере гения, в то самое время, когда он, поборовши враждебное наваждение нечистой силы, искушавшей его так долго болезнью, хандрою и разными заблуждениями,— когда он оживал, креп-

нул и вырос, может быть, чтоб новыми созданиями своими возобновить свою минувшую славу и вторым томом «*Мертвых душ*» заставить нас, его истинных друзей, забыть навсегда несчастные его «Письма»... Здесь наверное уже знают, что он за несколько дней до кончины сжег все, что у него были бумаг: *два часа горело*... Какое самоубийство... Но вчера мне сказали, тоже наверное, что будто в Петербурге есть рукописный экземпляр второго тома «Мертвых душ», посланный им через гр. Михаила З. Виельгорского в собственные руки государя... Дай-то бог, чтоб то была правда!.. Какое... мы слишком много потеряли, и придется впредь духовным завещанием заказывать своим детям и правнукам не прикасаться к этому русскому перу, которое двойным лезвием ранит и убивает почти всех, кто его схватывает. Мы как-то раз сосчитали *недоживших*, рано и насильственно похищенных у жизни наших поэтов и писателей — итог так велик, что просто ужас берет! Зато как отрадно помянуть тех *немногих*, кому дано было свершить свой подвиг и дойти свой путь! Сердце сжалось, думая о Жуковском, о Вяземском,— обоих разно, но равно больных на чужбине: я писала Василию Андреевичу и послала ему такое же смиренное приношенье из реликвий нашего покойника — какую-то травку; ему и подобает! Не он ли первый друг и первый изобретатель Гоголя?.. А между тем мысли не закажешь, и она невольно рассчитывает, что теперь *очередь за мной*, и что, легко статься, и я последую за столькими старшими и собратьями, до время исчезнувшими за гробовой доской... Знаете ли, что я этой мысли нимало не пугаюсь, и что она, напротив, заманчиво вкрадывается в мою душу?.. Все, что теперь меня преследует, ненавидит и бранит, тогда примется сожалеть обо мне, и вместо всех врагов и порицателей у меня явятся приверженцы и заступники... Посмотрела и послушала бы я из-под земли, что станут говорить, когда меня не будет в живых: любопытные тогда произойдут перемены в людском толке и расположении! Вот хоть теперь,— до меня дошло, что в высшем петербургском обществе очень восстают на мой роман, уверяют, что я в нем описа-

ла *себя*, рассказала свою жизнь, что в нем узнаются известные лица, и теперь существующие в обществе, что это *цинизм*. Да! Это выражение *точно* было употреблено, и я знаю, где именно и *кем!* Вас опять призываю в судьи, друг мой! Есть ли на свете писатель, кого бы не упрекали тем же самым, и не всегда ли, не везде ли праздные сплетни и безучастные толки света старались злоумышленно смешать автора с его героем, видеть самого создателя какого-нибудь типа в лице, им представленном, и в чертах безмолвного творенья порицать и оскорблять его творца, невольно беззащитного, чтоб терпеливо сносить личные на него нападенья?.. Не то же ли было и с де *Сталь*, которую поочередно хотели видеть и в Коринне и в Дельфине? Не то же ли было и с *Байроном*, обвиняемым и в донжуанстве, и в корсарстве, и в магии с Манфредом, и чуть ли не в магометанстве с его пашами и одалисками; и с *Грибоедовым*, кого узнавали в его Чацком; и с *Пушкиным*, чьи черты непременно хотели подметить в Онегине; и с *Лермонтовым*, кого так часто сравнивали, и теперь еще сравнивают, с его Печориным? Когда я напечатала «*Нелюдимку*», то громко кричали, что *граф. Ростопчина* описывает *кокетку в уединении*, то есть самое себя... Теперь нашлись добрые люди, которые и в «*Счастливой женщине*» непременно хотят видеть меня, разные случаи из моей жизни и людей, которые были в столкновении со мною... Разуверять их нельзя, и не стоит труда, но разве каждый человек, поживший, посмотревший и подумавший на свете, не встречал сто раз на веку своем людей, личностей и характеров, поставленных совершенно в те положения, которые описываются в моем романе? Разве женщины любящие и недоброжелатели, их губящие, так редки, так невиданны около нас, что непременно к типам должно *применять имена*, а в эпизоде из общей картины нравов отыскивать *знакомые все лица?* <...> Надо иметь или слишком много, или слишком мало самолюбия, чтоб так выставлять себя добровольно на показ свету, в виде тех на жертву принесенных личностей, которые в каждом романе и рассказе играют неминуемо роль темных теней в картине и как необходимые

противоположности служат антитезой любимым автора героям и его светлым очеркам! Что Вы скажете обо всем этом? Ради бога, прочитайте роман, прислушайтесь хоть в отголосках ко светскому говору гостиных и отвечайте мне откровенно, без пощады и лицеприятия, как друг, как брат! <...>

Теперь еще просьба, и она будет последнею: передавая Одоевскому мой пакетик, скажите ему, что я на днях высылаю *Сенковскому для «Библиотеки»*[1] одну мою фантазию[2], давно написанную и ему *прежде фантастическому князю посвященную:* пусть он даст свое разрешение для напечатанья его имени, буде это ему не противно! <...>

2

Вороново, 8 августа 1852 г.

<...> Когда я писала к Вам в последний раз, я говорила Вам о смерти Гоголя: с тех пор какие еще потери не понесли мы! Не стало нашего патриарха, нашего несравненного ангельски доброго Жуковского, не стало Брюллова, единственного представителя русского имени и таланта на поприще европейского искусства. А у нас и горя мало, и *никто*, кроме *Вас*, меня да Булгарина, не помянул Жуковского,— что я говорю! Более того, прекрасное молодое поколенье *мыслителей* и *реалистов* доказывает, что Жуковский *«давно умер для литературы, да и прежде вряд ли существовал»*, потому что он вовсе не имел *центра инфлуэнции* и *«пописывал стишки скорее для своего собственного удовольствия. чем для пользы русского языка и русской беллетристики»*. Как Вам нравятся эти суждения? и что можно ожидать от литературы, отказывающейся так нагло и так глупо от лучших и достойнейших своих образцов?.. А между тем это чуть что не общий голос литературных партий и кружков, между которыми нам приходится жить и вращаться, не понимая их и оставаясь им равно непонятными! Я чувствую себя 50-ю годами старее своих сверстников, так отстала я от их *«интеллектуальности»* и *«филантропического реализма»*. Не знаю, как Вам, а мне

кажется, что мы пережили свою эпоху и попались в хаос Вавилонского столпотворенья, где идет разноголосица, соединяющая в своем бестолковом шуме все ереси, все лжеученья, все сумасбродства, до которых может только доводить человека желанье блеснуть чем-нибудь новым и странным во мнениях или преподаваньях. Меня *прозаики* и *натуралисты-грязисты* только что не каменьями побивают за мое служение поэзии и пристрастие к великим людям замогильного поколения; я одна только за глаза и в глаза смею предпочитать Шиллера Диккенсу и Пушкина новому поэту[1], но что я значу с своим женским бессилием для защищенья такого вопроса!.. Напишите мне хоть две строки о том, что вы думаете о теперешнем состоянии литературы у нас... <...>

Е. МАЛЕВСКОЙ

17 марта 1852

<...> Я позволю себе, пани, привести эпизод, который оставил в моей памяти неизгладимый след. Тому лет двадцать, если не больше, в гостеприимном салоне старой Москвы, посреди семейства чисто русского, то есть в высшей степени гостеприимного и сердечного для любых заслуг, друг дома привел однажды двух красивых юношей, путников-чужеземцев, которые только начали свое поприще, а уже представлялись как люди, известные эпохе. Один из них, брюнет, бледный, с густыми волосами, с вдохновенным взором, с задумчивым лицом, предсказывал великое будущее... Тот, кто их привел, взял на колени девочку, племянницу хозяйки дома, и сказал ей: «Мое дитя, присмотрись хорошо к этим господам,— свет будет говорить о них». Первый, брюнет, был автор уже известных «Конрада Валленрода» и «Крымских сонетов» Адам Мицкевич, одно из величайших имен столетия, поэт, пред которым преклонились другие поэты. Другого госпожа, верно, узнала,— это Малевский[1], начавший благородное дело, которым прославил свою жизнь. Их сопровождал молодой тогда генерал Павел Муханов[2], женатый на Вашей родственнице. Происходило то в доме Пашкова, одном из известнейших в то время салонов в Москве. Девочка — это я...

А. В. ДРУЖИНИНУ

1

Москва, 23-е апреля 1854

Много, премного, искренно, от души благодарю вас, Александр Васильевич[1], за ваше дружеское письмо; оно обрадовало меня и тронуло; вот в двух словах все, что я вам могу сказать самого верного о впечатленьи, им на меня произведенном!.. Но, впрочем, оно меня не удивило; я будто ждала его и даже собиралась опередить вас и первая подать вам голос издали, но вы знаете, что такое безумная и тревожно-пустая суматоха святой недели с ее вычурными родственными обедами, с ее бесчисленными визитами таким людям, о которых и подумать скучно в остальное время года; где тут выгадать минуту спокойствия и тишины? А на страстной я говела и была больна; теперь тоже плачу за выезды в дурную погоду: два дня лежала и не могу отделаться от лихорадки. Наконец со вчерашнего дня весна решилась нас вспомнить, было 14-ть градусов тепла, а сегодня 16-ть; я оживаю и уж вчера ездила в Петровский Парк, покуда состоящий из метелок; но уж там слышен соловей — мой любимец, и даже более, любовник,— и после этого первого свиданья, после разлуки, находясь в прекрасном настроении духа, хочу им поделиться с вами, как с человеком, вполне способным понять две слабости мои, закоренелые и неисправимые: мое детское пристрастие к красотам природы, видимым, слышимым, обоняемым, то есть к солнцу, к теплу, к соловью, к цветам; и мою глупую готовность искать еще сочувствия, доверия, дружбы, увлекаться ими и нравственно и духовно купаться в этой второй весне, не менее первой отрадной для души и сердца. Вы знаете, что меня и други, и недруги упрекают в *идиллистичности, в незрелости, в непонимании жизни и людей*, наконец, в искренности, легковерии, увлеченьи... Пусть так, и пусть за то смеются надо мною; но я спрашиваю, что выигрывают разумники, аналисты и глубокомысленные скептики, умерщвляющие в себе жизнь в угоду

каким-то выспренным понятиям о мнимом достоинстве, призваньи и назначеньи человека вообще, их же спеси в особенности?.. Что всего смешнее, это — разница, которую мы видим между велелепыми речами тех философов и философок и их тайными действиями, их домашними привычками, занятиями, страстишками и целями. Отпозировавши пред светом,— какими жалкими, сухими, ничтожными являются они на деле, когда сойдут с ходулей и опочиют в своем буднишном халате или пенуаре!.. Это все вырывается теперь из-под пера моего, потому что я нахожусь в новом раздраженьи и озлобленьи по поводу новых странных и нелепых толков москвичей, и особенно *москвитян*<*ок*>, обо мне. Вы уж, верно, знаете, что есть на свете знаменитый сикофант, фарисей, лицемер и славянофил — *Хомяков*, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечесаный, немытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом — любящего Россию лишь времен Рюрика и Игоря[2], как человек, который из вящей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него пренебрегал бы, ненавидел бы и презирал бы отца, мать, братьев, жену, детей и прочее. Этот-то славянофил и руссофоб целые 15-ть лет проповедует о восстаньи Востока, о его возрожденьи, о гниеньи Запада, о унижении Альбиона (а он страшный англоман в пище и питье!), наконец, о каких-то неисповедимых путях России. <...> И изобличает себя эта партия уже тем, что ее наружняя неопрятность и запущенность служит как бы вывеской ее внутреннему грязному застою?.. Наконец, эти люди убили нам Языкова[3] во цвете лет, удушили его талант под изуверством; эти же люди уходили Гоголя, окормя его лампадным маслом, стеснив его в путах суеверных обрядов запоздалого фанатизма, который для них заменяет широкую благодать настоящей веры: коей признак есть терпимость и любовь,

а не хула и анафема! Вот за что я спорю с этою шайкою московских мудрецов и постников, вот за что я презираю их лжедобродетель, как личину, скрывающую алчность, эгоизм, гордость, честолюбие и вражду к человечеству из любви к могилам и скелетам. Я почитаю святым долгом всякого изобличить их и показывать невинной толпе, какими фарисеями она обморочена и осмеяна. Скажите, скажите, ошибаюсь ли я?.. Дайте мне голос правды в этой тревоге ума и сердца, слишком сильной для женской слабости! Это будет настоящим подвигом дружбы, и им начнется эта цепь взаимной приязни и симпатии, которая завязалась между нами серьезно, как мне кажется и как я надеюсь. Прошу только вашей искренности — и на нее полагаюсь вполне!.. Этим словом я, кажется, <ответила> на все, что говорится, недоговаривается и подразумевается в вашем милом, теплом, вполне дружеском письме!

Кажется, вы, как я сама, всех судите по себе; вот вы меня полюбили и воображаете, что другим я тоже по душе: нет! ни Боткин[4], ни Тургенев не были у меня и не кланялись мне от вас; да их ко мне и не пустят! Они в кругу Грановского, Корша[5] etc., где меня считают самою пустою из светских писательниц и самым плохим поэтом между графинь; on ne me trouve ni âme raisonneuse, ni âme profonde parmi ces gens-là et, vos amis subissent l'influence de la coterie, á mon très grand regret, car je goûte beaucoup Botkine, et j'estime infiniment Tourguéneff, qu'on pourrait, je crois, aimer plus que sérieusement. D'ailleurs il y a un point de contact entre lui et moi; il a été l'ami d'une de mes amies, de la très ádorable M-me Viardot et cela me fait bien augurer de son coeur et de son esprit, ce qui, avec le talent, lui fait une triade de mérites, peu communs parmi les humains en général, les hommes du siècle en particulier*.

* Для этих людей я человек совсем не вдумчивый и не глубокий, а ваши друзья находятся под их влиянием, к моему величайшему сожалению, ведь мне очень нравится Боткин, я глубоко уважаю Тургенева, которого, думается, можно любить более, чем искренно. Впрочем, между нами

За то и ценим тех немногих, в ком все это находится. A bon entendeur salut!* <...>

2

27 мая 1854

Видите, какая я нецеремонная и как уж я присваиваю себе с вами права *старинной* дружбы?.. Я письмо ваше получила с радостью, прочитала его с удовольствием, была вам благодарна и мысленно послала вам the most heartily shake hands** и не отвечала вам до сих пор, потому что я была слишком *занята головою* и так увлеклась одною работою, что все мои умственные способности были ей посвящены исключительно в теченье двух недель. Вчера она кончилась, и сегодня отдыхаю, говоря с вами, добрый и милый Александр Васильевич. Вы, вероятно, уж спрашиваете, что за работа? предупреждаю ваше дружеское любопытство: это *драма*, задуманная давно, носимая долго в воображеньи, с страхом и трепетом, написанная *con amore**** и очень скоро, так, как всегда пишется все то, что в нас обживается и созреет. 5-ти актная, посудите! И это уж не шуточки-прибауточки для бенефиса, а дело десятое, которое интересует и самолюбие мое и это желанье заслуженного успеха, которое родится в художнике, когда он старался и чувствует, что стоишь хоть добросовестного суда за добросовестный труд. Самая тема внушает участие: битва двух стихий, равносильных в душе художника, битва искусства и любви, битва его независимости против нужд и цепей света, одним словом, целая жизнь артиста в ее разнородных столкновеньях с действительностью, людьми и всем

есть точка соприкосновения; он приятель одной моей подруги, милейшей мадам Виардо[6], и это свидетельствует об его сердце и уме, а вместе с талантом они составляют целые три заслуги, мало свойственные человечеству вообще и специально людям нашего века (*фр.*).

* Имеющий уши да слышит (*фр.*).

** самое сердечное рукопожатие (*англ.*).

*** с любовью (*ит.*).

его окружающим. Не правда ли, есть к чему пристраститься и чем увлечься?.. Отрадно будет, если я успела и выразила этот сюжет так, как я его чувствую и понимаю; а понимаю я его хорошо, поверьте! Но беда, если я не успею, и тем более беда, что мне нужен на сцене настоящий и положительный успех, чтоб загладить и выкупить несколько неудачных попыток. На днях везу свою драму в Москву читать ее некоторым из субботников и, если одобрят, отдам на сцену... Я вам все это рассказываю подробно с двойною щепетильностью автора и женщины, потому что я знаю и еще более верю, что вам оно не надоест и что вы примете искреннее участие во всем, что относится ко мне. Знаете ли вы другой способ платить приязни, кроме искренной и глубокой в нее веры?.. Если знаете, то поучите,— а я уж буду по вашему указу и рецепту сводить счеты с вами и стараться не быть у вас в долгу!

Как много правды и ума в вашем ответе на мои вопросы касательно моих приключений с теми, кого Соболевский[1] называет очень удачно *москотофилами!* Вы ободрили и утешили меня, показав мне, что я все-таки не ошиблась в моем мненьи о этих людях; но вы научили меня настоящему на них воззренью, то есть с смешной стороны, и я с наслажденьем буду следовать вашему совету. Впрочем, я давно уж громко и сама с собою смеюсь над ними; но я еще не умею вооружиться тройною бронею равнодушия, и всякая несправедливость, всякая клевета, даже со стороны лиц, мною вовсе не уважаемых, может еще задеть меня больно; и если она не оскорбит моего самолюбия, не возбудит во мне женское достоинство, раз навсегда позволяю им и всякому бранить меня как писательницу, отрицать во мне всякий талант, смеяться и критиковать литературно; но мне неистерпимо досадно и больно, что у нас люди так еще дики и грубы, что они к литературным вопросам примешивают всегда и личность; я только стою for my public character and my womanly respectability*. Ей-богу, вы много и много де-

* за свою общественную репутацию и женскую честь (*англ.*).

лаете мне добра вашим участьем и вашею дружбою! Знаете ли вы, какое мое душевное ощущенье при воспоминаньи о вас?— Такое, какое мог бы чувствовать раненый или обожженный человек, вспоминая о благотворительной, мягкой и теплой вате, в которую его завернули, страждущего и раздраженного... Когда мне будет больно, или гадко, или тяжело, я вам буду присылать мою душу, чтоб вы ее убаюкивали: согласны вы? (А Гайдэ[2] лежит у ног моих и всеми средствами своими подтверждает мое мнение о вас; она имеет редкую способность отгадывать всех, кто меня любит, и нюхать их за то предпочтительно перед всеми прочими!)

Нет, я еще не думала о вашей милой *Моникке* Беатриче: не до нее! у меня была куча обещаний, замыслов, предприятий; надо прежде все было покончить; в две недели деревенской тишины (мы здесь с 6-го мая) я уж написала одно из задуманных произведений; теперь три дня гуляю и пишу письма,— в разные страны света; потом на два дня еду в город, а вернувшись, примусь опять за мой роман, о котором пантеоныч вопит, а Кони[3] ржет давно нетерпеливо; да и самой хочется довести до конца это предприятие, очень мне по сердцу и которое пишется легко, свободно, по мере того, как я сама себе рассказываю и развиваю свою многосложную повесть.— Вот видите, я ужасная ленивица, страстно люблю читать, увлекат<ься> чужим умом, чужою мыслию, чужой поэзией, чужой страстию; стало быть, не могу, не хочу, не умею терять времени на самый процесс писанья и сочиненья, на какие-нибудь описанья, тысячу раз уже сделанные и гораздо лучше меня, или на рассужденья о предметах отвлеченных, давным-давно всем известных. Я лучше разобью навеки свою чернильницу и брошу все перья, нежели соглашусь составлять бальные сцены, мелочные разговоры, перечни семейных чаев и бутербродов; вся эта будничность и пошлая внешность мне страх надоели у других; от того-то и пишу я свой роман *в письмах*[4], где лица мои будут рассказывать и выражать свою внутреннюю жизнь, свои чувства, страсти и aspirations* (потруди-

* стремления *(англ.)*.

тесь, переведите это слово, так важное и нужное в психическом отношеньи!..). Не всем дана кисть Тургенева и юмор и теплота Григоровича, а наводнять литературу дюжинными повествованиями о дюжинных безличностях я почитаю лишним и даже грешным; стало быть, публика журналов вольна продолжать *не читать меня*, но я все-таки не могу изменить ни своего рода, ни своих расположений. Кстати о Григоровиче; cet enfant du siècle* появляется на миг кометою на беззвездном небе московского литературного мира. Еду в лавку (это со мной бывает не более двух или трех раз в год!) закупать разной дряни для деревни; вижу Боткина, напяливающего перчатки (и притом анти-патриотические, то есть лучшего французского сорта!), отворачиваюсь от него и требую *вашего* поклона, который он задерживает так же бессовестно, как Джон Булль[6] неутральные корабли в чужих гаванях,— получаю целую лавину извинений, уверений, протестаций и демонстраций и узнаю от него, что Григорович в Москве *пролетом* в Петербург. Вечером того же дня я была у Софьи Влад. Энгельгардт[7] и высказала эту новость, которая произвела такой радостный эффект, что я тот же час отправила свою карету с приказом отыскать Григ<оровича>, где бы он ни был (était-ce risquant?..**), достать его, добыть и привести живого иль мертвого, как военнопленного. Приказанье было исполнено, длинновласый юноша был нам доставлен по принадлежности, удивленный, как Ганимед[8] в минуту своего воздушного похищенья и странствия в орлином клюве. Мы провели славный вечер, на другой день целое утро фланировали в лавке у Волкова, побалтывали у Софьи Владимировны, наконец, должны были кончить вечером у меня,— но наш вертопрах не приехал; вероятно, кто-нибудь другой его поймал на лету — и что всего забавнее, некоторые из москвичей не были, *чтоб с ним не встретиться*... Как вам покажется эта

---

* дитя века *(фр.)*.
** это было рискованно?.. *(фр.)*

новая черта терпимости и общежития? Ах, я получила от ваших соседей, Филемона и Бавкиды[9], пренежную граммотку с вложеньем: во-первых, стихов Бенедиктова[10] к Филемону, во-вторых, юноши, пишущего и сочиняющего, именем *Алферьева*[11]. Знаете ли оного? Но все это пришло за два дня до моего отъезда, застало меня в хлопотах, и я юношу не приняла и на письмо еще не отвечала... Неправда ли, вам начинает делаться страшно за меня, и вы боитесь, чтоб твердь небесная не рухнула на меня за некое прегрешенье и нечаянно не задела вас на берегу какого-нибудь ингерманландского болота?.. Конечно, я знаю *Мориса Армфельдта* и очень хорошо; мы провели целое лето вместе в его прекрасной поэтической родине — Гельсингфорсе; только этому 19 лет, он был тогда ребенком, я — молодою дамою, довольно избалованною светом,— с тех пор мы не виделись... Какие перемены нашли бы мы теперь один в другом! и как бы, кстати, стали склонять два глагола в рифму «Fleurir flétrir!»*.— Пожалуйста, не давайте воли вашему первому отрицательному впечатлению против громадной половины (или *полуторины)* моего друга, сильфидического и микроскопического К. Одоевского; в этой массе много задушевности, радушия, обязательности; все портит наружность и некоторая представительность, которая будто бы вечно боится за свое достоинство, как английский флаг. Это остается в женщинах, которые когда-то были хороши, в моде, а под старость чувствуют, что они сошли с пьедестала, и боятся, что ими станут пренебрегать,— так они и думают напомнить о себе претензиями. Княгиня, которую Петербург звал la belle créole**[12] тому 30 лет, княгиня смотрит ежом, а в сущности — добрейшая женщина!— Познакомьтесь с ними; это мой приют, и приют сердечный, когда я в Петербурге, и мы с вами будем проводить там полуартистические, полухимические вечера, которые будут приятны не вполовину. А за сим прощенья прошу, как говорилось встарь, и прибавляю «до

* Цвести! Блекнуть! *(фр.)*
** прекрасная креолка *(фр.)*.

свиданья» в надежде на скорый и длинный ответ; желаю вам всего, что можно желать лучшего теперь: солнца, тепла, урожая, дичи и вдохновенья кроме того; посылаю самый искренний и длинный shake hands*, который прошу принять и получить так, как он посылается, то есть с радушием и приязнью. <...>

3

Москва, 28 октября 1854

Я не хотела вам отвечать из деревни, и вот почему вы опять так долго были без ответа, Александр Васильевич. Но в ту пору, когда я получила ваше письмо, я совсем не могла отвечать и сидела недвижима, без ног и почти без рук. Поверите ли вы, что я опять умудрилась захворать и весь сентябрь и начало октября страдала ревматическою ломотою с аккомпанементом лихорадки? Это бы еще ничего, но вот что худо: мне простудили всех детей безумною поездкою за 20 верст в открытом экипаже под проливным дождем и в мороз (это случилось в самый день ваших имянин, 30-е августа), и вследствие этой прекрасной экспедиции, продолжавшейся часов 12, обе дочери мои были серьезно больны, особенно меньшая, белокурая, у которой сделалось воспаление в глазах и которая едва не осталась с бельмом, промучившись шесть недель так, что она двенадцать дней кричала безостановочно от боли, а остальное время провела в постеле, за ширмами, страдая от каждого движенья или шороха около нее. <...> Можете судить, до работ ли мне было, и могла ли я писать хоть слово! Только что дочь стала поправляться, за нами прискакали из города с известьем, что престарелая свекровь умирает, и так как граф был тогда в орловском именьи, то я должна была скакать к больной вместо него, и это беспокойство присоединилось ко всем прочим. О! я не скоро забуду нынешнее лето! оно отняло у меня много и многих и переменило меня во всех

---

* рукопожатие (*англ.*).

отношениях более, чем целые года, тоже не радостно проведенные. Сюда мы вернулись, как скоро дочь можно было перевезти, то есть ровно за неделю. Здесь я нашла много родных и старых знакомых из Петербурга; все они здесь случайно или проездом; это, с одной стороны, оживило меня, с другой — потревожило и взволновало, напомнило тех, кого уж нет. До сих пор еще не приду в себя и не могу хорошенько собраться с мыслями и духом; от всего отпала охота; писать — не для кого и не для чего! говорить, даже думать — мне тягостно; читать могу только газеты, которые меня бесят, и серьезные вещи, которые несколько отвлекают меня от самосозерцания; но все то, что читается для души, сердца или воображенья, все, что может взволновать и растрогать,— все это мне вредно, и я должна покуда от всего подобного воздержаться. Кстати, говоря о статьях серьезных и дельных, как хороши ваши заметки о Шеридане[1], и какое наслаждение они мне доставили! Спасибо вам за них! Надо отдать справедливость, все библиографические статьи журналов стали превосходны и отчасти выкупают плохой отдел литературы. *Заметка* читается с приятностью, но, кончивши, спрашиваешь себя невольно: «Да что же это наконец: повесть не повесть, ландшафт не ландшафт, роман не роман, драма не драма; мило, умно, а, в сущности, ни одно из действующих лиц не возбуждает сочувствия, ни одно не развито, не окончено; abus de plume,— talent paresseux, quoique réel*. Villette, которую вы мне хвалите, я не могу одобрить — несравненно слабее Джэни Эйр[2]; надоели до смерти все эти гувернантки — это уж шестая, которая появляется в английской литературе. И что за странная мысль назвать серьезный рассказ дурацким собрикетом, выдуманным мещанским остроумием пивоваров и кузнецов, странствующих по материку? Никогда true gentlemen или lady thoroughbred** не позволяет себе такой глупой и плоской шутки, как эти прозвища, данные вкривь и

---

* небрежное перо — талант вялый, хотя подлинный *(фр.)*.
** подлинный джентльмен или чистокровная леди *(англ.)*.

вкось целой стране, да еще и дурным франц<узским> языком. Потом много пустяков, а много интересного не договорено; героиня — какое-то жалкое, холодное, неуклюжее существо, герой — Квазимодо, переведенный на язык нашего времени и века. А фразеология?.. А беспрестанные сравнения из мистического мира для вещей самых обыкновенных, и наоборот? А претензии на жанполизм[3], на таинственность и поэзию!.. Ну как можно сравнить это произведение с Натали by Miss July Cavanagh[4] или с Леди Бярд, Джорджиана Фоллертон![5] Еще читали мы вслух нашей слепой, от нечего делать, Бедную Девушку[6] и хохотали до полусмерти. Ну, роман! героиня купается в реке, а жених делает ей предложенье; она обнимает пансионскую подругу, а та обвивает ей шею рукою, да так и умирает, а героиня преспокойно продолжает спать до другого утра в объятиях трупа... Однодворки носят чепчики и шали, говорят по-французски, принимают молодых людей на вечере... Мало ли что тут делается и творится! — а люди хвалят, потому что сродни сочинителю... А Умную Женщину M-lle Martschenko(Т. Ч.)[7], бесспорно лучшую повесть прошлого года, почти не заметили, и о ней не говорят, потому что автор не из своего прихода. Где же справедливость?..— Очень, очень любопытно будет прочитать ваш роман чернокнижно-сентиментальный. Заранее не могу себе вообразить, как вы поведете такое предприятие совершенно нового рода, но тем не менее интересуюсь сильно успехом, во-первых, потому что успех будет ваш, во-вторых, потому что вчуже радуюсь всегда всему хорошему, резко выделяющемуся из наводняющей посредственности новейшей литературы. У французов кроме Georges Sand, Paul de Molivas[8], Feuillet[9] решительно ничего не могу читать — так все вяло и бесцветно; даже мой прежний любимец Миргер[10] сильно ослабел и потупел.

Принесла жертву кумиру века, прочитала Bleak House[11] и не удовлетворена: все умные, замечательные, драматические личности остаются как-то в тени и загадочными; M-r Jarndyce нимало не объяснен, а глупейший пустомеля Чадвуд и его супружница, и Смольвид, и все дураки занимают большую

часть книги и выходят беспрестанно на сцену с утомительнейшими подробностями их мелочной и пошлой натуры.— Нападки на аристократию робки и неопределенны; уж если бранить, так надо бранить язвительно и зло; вспомните-ка *Больвера*[12] в его лучшие года, в Alice и Ernest Maltrawers, в Godolphin и проч.! Впрочем, это впредь до меня не касается: я хочу бросить писать и сломать свое перо; цель, для которой писалось, мечталось, думалось и жилось,— эта цель больше не существует; некому теперь разгадывать мои стихи и мою прозу и подмечать, какое чувство или воспоминанье в них отражено!.. Что свету до моих сочинений и мне до его мнений и вкуса? Что он мне, что я ему? Хочу жить немного для немногих, а более всего — для себя, детей и своих воспоминаний. В число немногих, натурально, включаетесь и вы, в ком я так скоро нашла такое теплое и верное к себе участье! Приезжайте скорее в Москву, мы будем видеться часто и говорить как можно больше. *Суббот* у меня уже нет; Берг уехал, другие молятся, иные пьют <?>, и все между собою в ссоре; да мне никто и не нужен покуда при моем теперешнем нерасположеньи; я нынешнюю зиму решительно проведу отшельницей,— стало быть, тем более буду рада тем избранным, кого буду видеть и принимать.— Так приезжайте скорее, а покуда примите задушевный поклон и уверенье в моей благодарности за вашу память. <...>

4

Москва, 24 ноября 1854

Хоть вы не Екатерина и не имянинница сегодня, а все-таки вот вам подарок и надеюсь, он будет вам приятен; вчера я сообщила Мишелю Лонгинову[1], с которым я, наконец, познакомилась, и он подкрепил меня в благом намерении презентовать Вам сей плод моей музы, первинку моих подвигов на поприще эпиграммы. Вы поймете, что меня вдохновило назидательное чтение высокопарных и превыспренных писем новой Коринны и нового Зоила[2], помещенных в последней книжке

Современника[3] pour l'ébahissement et la jouissance du public* для вящего наслажденья, угобзенья и радования читателей. Можете сообщить Панаеву это произведение и даже тиснуть его в Ералаше[4], только без моего имени и безо всяких на меня намеков. Ненавижу мешаться в какую бы то ни было полемику, и если мне вздумалось посмеяться над теми, кто уж давно явили себя моими личными врагами, то это без всякого злого умысла и единственно потому, что знаменитая липовая аллея в Подмосковной, на которую так таинственно намекают оба преконента[5], напомнила мне давно известный романс, приписываемый здесь Майкову[6], на который Дмитриев написал восхитительную музыку и который, говорят, есть просто пародия на стихи Майкова, почерпнутая в Ералаше, «Густолиственных кленов аллея, Для меня ты значенья полна!»[7]. Этот романс превосходно пела покойная Рябинина, и каждое его слово врезалось в память моих ушей и в память моего сердца. Оттого-то и подействовала так на меня липовая аллея, где... (Продолжение спросите у счастливца, находившегося там, в тени tête à тетом с поэтической женою, говорящей на семидесяти семи языках, с ирокезским включительно, которому она научилась, прислушиваясь к французским фразам своего велеречивого супруга, которого она воспела тако:

«Законодательные взоры,
Победоносное чело...»)

C'est pourtant bien joli, des regards legislatifs... Je ne sache pas que quelqu'un, en France, se soit avisé jamais d'une composition pareille. C'est de plus pur... français de Moscou...**
<...>

Вы обещались быть здесь в октябре. Вот и ноябрь на исходе, а вас все-таки не видать. Сбираюсь взгромоздиться на

---

* на удивление и радость публики *(фр.)*.

** Впрочем, это очень мило — законодательные взоры. Я не думаю, чтобы кто-нибудь во Франции придумал такое сопоставление. Это самая чистая... французская речь в Москве *(фр.)*.

какую-нибудь колокольню, в подражание м-ме Malbrook, и с высоты смотреть вдаль рельсов чугунки — не видать ли вас на пути?.. Тургенев проскользнул, но у меня не был: видимо, что он нимало не чувствует ко мне той симпатии, в которой вы мне признавались за него! — а я, грешный человек, шибко люблю такие признанья, особенно с тех пор, как постарела,— ne fut ce que pour la route du fait...* — Хотите ли московских новостей?.. Третьего дня Островский читал мне свою новую драму[8] — славная вещь во всех отношениях: свежо, тепло, живо, верно и будет очень эффектно на сцене. <...>

Песня по поводу переписки
ученого мужа с не менее ученой женою

(*смотри: ноябрь — «Современник»*)

Густолиственных липок аллея,
Ты для мира значенья полна!
Вдохновенья огнем пламенея,
Перед *ним* там стояла *она*.

И закинувши голову гордо,
Величаво махая рукой,
Угощала при-Невского Лорда[9]
Маскарадом и *Жизнью Двойной*[10].

И читала с поэмой чухонской
Свой санскритский с нее ж перевод...
(По-китайски, не то по-японски
Эта дама стихи издает!)[11]

На нее, одурелый, смотрел он,—
И не верил своим он ушам;
И проклятья сквозь зубы шипел он
Всем Кориннам, всем синим чулкам...

* хотя бы ради признания пройденного мною пути (*фр.*).

Время шло: дружбу злость заменила,—
Черный кот меж друзей пробежал;
Позабыл вероломный, что было
В той аллее, где он пировал!!!

На Коринну он критику злую
Напечатал в журнале своем;
А она-то статью громовую
Наскребала сердитым пером.

Густолиственных липок аллея,
Ты для мира значенья полна!
Друг на друга враждой пламенея,
Ныне злятся и *он* и *она*!..

Ф. А. КОНИ

1

Вороново, 25-е сентября 1853

Милостливый государь!

Федор Алексеевич!

В оправданье медленности этого ответа, скажу вам одно только: письмо ваше не застало меня дома, я гостила за Тройцею у родных и только очень недавно вернулась восвояси. Первая моя забота отвечать вам и благодарить вас за ваше дружеское и столь приятное моему сердцу письмо. В доказательство моей радушной готовности участвовать в вашем прекрасном и все улучшаемом изданьи, вот вам первые 12 писем моего романа[1]; еще готовых теперь 5, а последующие не замедлят, будьте в том уверены. Вот вам еще и стихотвореньице, котор. будет на закуску. Вы видите, кажется, что я рада стараться... Теперь потолкуем о портрете. Совершенно разделяю ваше мненье о работе даровитого Федотова[2]: il m'a embellie et rajeunie*, и может быть поэтому-то именно придерживалась я не совсем беспристрастно его произведенья; вы правы, как сама истина. Оставимте всякое поползновенье выпустить меня в публику под этими павлиньими перьями, но вот беда: все мои дагерротипы и фотографии вышли такими обезьянами и фуриями, что их гравировать не стоит труда, и женское самолюбие мое (как бы ни давно вышло оно из лет, подчиненных опеке и даже попечительству!), женское тщеславие не позволяют мне явиться в свете такою чучелою, какою солнце меня выводит из-под своей кисти... Как же быть? Разве посмотреть, каков выйдет портрет, писанный с меня зимою нашим маститым художником, славным Тропининым[3], и с него снять фотографию? Это я могу сделать, возвратившись в город, когда увижу, каков портрет, ибо он сохнул и выдерживался для колера, когда я уехала весною. А он-то

---

* он прибавил мне красоты и поубавил лет (*фр.*).

именно как будто в угодность вам в черном вседневном платье и с наброшенной кацавейкой; только волосы были у меня обстрижены после болезни, и портрет написан в коротеньких завитках. Дети мои пожелали иметь меня в этом виде в ту самую пору, когда я оживала после двух припадков холеры, едва не умчавших меня на Лету и Стикс. Хорошо ли будет для печатного изображенья, первого выставляющего меня на суть публики и критики, с некоторою официальностью и торжественностью, требующего иных условий, нежели семейная картина без притязаний? Предоставляю на ваше тонкое обсужденье все эти обстоятельства и полагаюсь на ваше решенье: мне известно, что вам есть с кем посоветоваться вблизи вас, если вы захотите, чтобы милая женственная сноровка пособила тут вашему собственному такту и светлому пониманью вещей и света.. О комедийках моих скажу вам, что Жулева-Небольсина[4] была у меня, проездом из Крыма, что она здорова, надеется играть много и надеется, следственно, получить бенефис, в котором сыграет одну из моих безделушек; другая же, та, которая у вас, не такого сорта, чтобы ей иметь успехи в чтении: это все болтовня, которая была написана для Самойловой[5] и могла поддерживаться только ея талантом, дав ей случай и простор выказаться раз в обстановке великосветской женщины. Что «Пантеон театров» печатает игранные пьесы, несмотря на их малозначительность,— это естественно и понятно; но выпустить такую пьесу для сцены не следует ни вам, ни мне, и я прошу вас не конфузить меня перед читателями, а в особенности перед моими благоприятелями, петербургскими критиками и журналистами. Право, я лучше пришлю вам новинку подельнее, в стихах, которая теперь переписывается и может быть не совсем неудачна; это драматические сцены содержанья полуисторического и более пустых комедий достойная переднего угла.

В шутку или на смех упоминаете вы о моем простреле и влиянии среди литературного московского кружка?.. Увы, престол не признается, а влиянье так слабо, что я не могу удержать даже лучших друзей моих от общей заразы грязомании

и натурализма, совершенно противных эстетическому чувству. Я краснею за Москвитянина и гнушаюсь гадостей, которые он печатает, под предлогом филантропии и гуманности.

Поверьте, он бы не упал так низко, если бы слушался моих советов. Но что делать, когда поток уносит за собой все пишущее и сочиняющее, когда в общую глубь грязи и черноты у нас на свете все стремятся,

И Современник толстый мчится,
И Москвитянина листок!..

И за сим, прощенья прошу, как говаривали наши старики, позвольте мне, Федор Алексеевич, послать вам задушевнейший поклон с изъявлением задушевного к вам уваженья и сердечной приязни преданной вам граф. Евдокии Ростопчиной.

2

Вороново, 10-е мая 1854 г.

Едва приехала на дачу, успела очнуться от тревог и хлопот дорожных сборов, оглянуться, подышать деревенским воздухом, полным благодати более чем когда-либо (так дивно хорошо и рано расцвела у нас весна), и вот спешу к вам с делом, и с пребольшим, Федор Алексеевич. Во-первых, прошу у вас почти невозможного,— *правды!* полной, чистой, не приукрашенной, не смягченной, неумолимой правды, безо всяких оглядок на то, что я женщина, а вы мужчина, безо всяких зазрений и опасений; строгой правды хочу, прошу и требую от вас, как маленький журнальный сотрудничек от начальника своего и судьи, главного редактора, ответственного за всех и за вся, и потому полновластного владыки и хозяина в своем журнале. Вот что причиною и поводом таковой моей необыкновенной и, может быть, вам диковинной просьбы.

На днях я получила письмо от старшего моего брата[1], че-

ловека не пишущего и не сочиняющего, но очень дельного, положительного и вполне мне преданного. Он именем нашей дружбы и моих детей (стало быть, не в шутку!) заклинает и умоляет меня не печатать Дочери Дон Жуана[2], говоря, что брат Дмитрий[3] вопиет на ее безнравственность, рассказал ему сюжет драмы (это бы еще ничего, и мы довольно знаем брата Дмитрия за чудака, чтобы еще не слепо верить его авторитету), а главное,— сказал, что вы тоже находите ее неприличным произведением и не желаете видеть ее в своем журнале. По словам и выходкам Сергея, я вижу ясно, что ему дурно и бессмысленно передано содержание драмы; он называет ее *Дон Жуаном в юбке:* думает видеть в ней женщину необузданную и виновную, тогда как, напротив, моя Долорес не что иное, как женщина; оклеветанная мужчинами и преследуемая ими, которая в конце торжественно оправдывается, изобличая своих противников, и уничтожает их громовым перечнем всех их низостей, гадостей и предательств. Это один вид многосторонней идеи, одно решение той задачи, которую я задала себе измала;— выводить в моих твореньях одни только женские личности, преимущественно изобличая их в столкновеньи с мужчинами, страждущими от них и превосходящими их душою и сердцем, то есть такими, какими женщины почти всегда являлись и являются мне в жизни, в свете, в обществе, в семействе, а главное — в любви и браке. Да! По-моему, женщина (если она не выродок, не феноменальный, живой парадокс, не роковое и гнусное исключенье среди нас), женщина всегда лучше, то есть добрее, бескорыстнее, правдивее мужчины; она вступает на трудное поприще жизни с благими намереньями и начатками, со всеми данными к исполнению обязанностей и совершенью своего примирительного послания, но ее извращают и развращают недочеты, обиды, разуверенья, испытанья,— а от кого, смею спросить, терпит и переносит она их, если не от вас, мужчин? Кто виноват и вдыхает в нее яды душевного растления, все семена порока и греха? Кто заводит, соблазняет, роняет ее? Кто сводит ее с пьедестала, чтобы не поклоняться перед ней, как перед богиней, недоступной и гор-

дой, но поставить ее сперва в уровень с собой, своими требованиями и привычками, а потом согнуть ее, сломать ея гордость и бросить на колени, как рабу бессловесную и беззащитную. Кто, как не ваша суетность, не ваши вожделенья, не ваша мелочность, праздность, ваш разврат, чтобы высказать одним словом? Messieurs, vous savez ce que vous faites*, и если женщина точно виновна и точно совратилась с прямого пути, я всегда не к ней обращаю порицанье, а ищу за нею настоящего виновного, т. е. мужчину, соблазнившего ее делом, словом, либо примером;— потому что я убеждена в справедливости такого моего заключенья и в том, что всегда такой безымянный преступник существует и отыщется главным лицом в жизни, заблужденьях и ошибках той несчастной, которую свет корит и бранит вместо того, чтобы обратиться к источнику зла и дойти до него справедливым укором. Вследствие такого убежденья я держу перо в руке как орудие, единственно нам данное против вас; я стараюсь воспроизводить женщин наиболее интересными, а мужчин как можно пошлее; наконец, рассудив, что мы и на суду мирском точно так, как перед судом государственного правосудия, безгласны и безответны против вашей милости и не допускаемы даже в свидетели, рассчитав, что на каких-нибудь 150 или 200 пишущих женщин на всей поверхности земного шара можно предположить по крайней мере 10 000 писателей мужского пола, я нахожу, что ваш долг и наша обязанность отстаивать себя сколько можно, заступаться за падших сестер и высказывать вам иногда такие истины в притчах, которых ни один из вас не скажет, не смягчив их какими-нибудь увертками или извиняющими обстоятельствами. Вот почему Дочь Дон Жуана понята и схвачена мною, как представительница огромного числа женщин, которая и умнее, и энергичнее, и глубже душою, чем вообще нужно для удовлетворения мужской прихоти или мужского расчета,— и потому, вместо любви и участья, осуждены возбуждать везде ненависть, гонение, гнев и вражду.

---

* Господа, вы знаете, что вы делаете *(фр.)*.

Такую женщину трудно обмануть, труднее переломить; она борется с мужчиною и тогда только признает в нем господина своего, когда ум и сердце ее найдут в нем нечто выше и лучше себя. За то им и не житье в мире, и клевета преследует их до гроба, употребляя оружием против них даже самые их добрые качества...

Дочь Дон Жуана поставила против себя и считает своими врагами всех тех, кто метили на ее богатство и ошиблись; всех, кто искал в ней удовлетворенья грубым вспышкам чувственности и встретили себе отпор. И вот они чернят ее до самого часа, когда горе развязывает ей язык,— и громкая отповедь ее, как протест умирающей, снимает маски не только с лица, но с самих личностей ее обвинителей... По крайней мере так я поняла свой сюжет, и если неясное исполненье не высказало вполне моей темы, то говорю как художник, mea culpa, mea maxima culpa*; но, как женщина, отстаиваю свою идею и не понимаю, где же в ней безнравственность? Вторично прошу вас, Федор Алексеевич, будьте не только издателем, но собратом и другом; отвечайте мне прямодушно и скажите ваше настоящее мненье, указавши на погрешности моего произведенья. Если же эта драма не для сцены, чем-нибудь не отвечает нашим планам касательно общего тона статей, входящих в разряд вашего прекрасного журнала, то возвратите мне ее не медля, а взамен я пришлю вам Комедию-драму, в 2-х действиях и прозе[4].

Теперь я в деревне и вновь примусь за перо, за труд и за умственную мою жизнь, для которой мне необходимы три условия: лето, здоровье, уединенье. Роман ваш будет продолжаться и, надеюсь, кончится благополучно. С нетерпеньем жду вашего ответа и вашей правды, примите покуда радушный поклон с уверением в моем искреннем к вам уваженьи и высокопочитаньи.

Графиня *Евдокия Ростопчина.*

---

* моя вина, моя очень большая вина (*лат.*)

3

Вороново, 28-е мая 1854 г.

Не пеняйте, Федор Алексеевич, не я виновата, а письма наши разъехались: брат не нашел меня в городе и должен был переслать письмо ваше сюда, ко мне в деревню, где я уже с 6-го числа; и если и не отвечала раньше, то потому, что была очень занята одною работою, которая всю зиму клеилась у меня в голове и не могла вылиться на бумагу, за городским недосугом.

Теперь, конечно, я могу владеть своими мыслями; вот почему первым моим движеньем благодарить вас и уверить, что я никогда не была, не буду и не могу быть сердитою на вас, не только за разность мнений и вкуса, но даже если бы вопрос касался лично меня, т. е. моих произведений. Я не понимаю вообще, как люди могут питать вражду или досаду друг на друга за то, что не все видят, чувствуют, мыслят и верят одинаково. Терпимость во всем, особенно в области искусства, вот для меня главное и необходимое условие сближения, приязни, дружбы, скажу более, терпимость в людях есть качество, которое меня наиболее к ним привлекает, и я вижу в ней признак благодушия и благовоспитанности. Увы! особенно ценю эту добродетель с тех пор, как я в Москве присмотрелась к котериям[1], партиям и кружкам, где ее отсутствие так больно заметно et oú cette sainte et belle tolèrance brille surtout par son absence compléte*. Стало быть, прошу вас раз навсегда знать и верить, что никакое мое молчанье не происходит от подобной причины, и что никакое добросовестное опроверженье не может меня вооружить против вас, тем более что я верю в ваше ко мне радушие, в вашу приязнь и симпатию.

В доказательство посылаю вам единственную новинку из моих мелких стихотворений; кроме нее ничего не написано в

---

* и где эта святая и прекрасная терпимость особенно блистает своим полным отсутствием *(фр.)*.

последнюю зиму, потому что было не до обыкновенных тем в это торжественное, решительное и увлекательное для нас время. Я думаю, что цензура не найдет тут ничего такого, что подало бы ей повод к запрещенью: ибо две-три пьесы такого содержанья, но гораздо сильнее, воинственнее и задорнее — Раича и Шевырева были напечатаны в Москвитянине еще в апреле. А касательно воззванья к братьям православным[2], то оно было написано как призыв к оружию этим братьям; я желала, чтобы его прочитала вселенная, как выраженье чувства Русского народа в отношении к его единоверцам, и первый экземпляр был мною послан Каэтану Коссовичу[3] с просьбою перевесть его и переслать в Сербию, в Болгарию, в Молдавию, в Черногорию особенно, одним словом, всюду, где Крест еще в борьбе с Луною, где православный храм не смеет благовестить в соседстве мечети... Жаль было только одного, что только слабый голос женщины поднялся у нас с таким кликом, для которого нужен был новый Тиртей и который так могущественно поднял бы у нас наш несравненный Пушкин, чье сердце понимало все благородные и высокие чувства народов, и особенно угнетенных... Много стихов, слишком много даже, появилось у нас с тех пор... Все это недостойно печати, исключая премилой и презабавной эпиграммы на воинственного Пальмерстона[4]. Даже и Вяземским я недовольна: мысли хорошие, да не то. Это не поэзия! Нет, ради бога не думайте, чтобы когда-нибудь я могла желать и ждать иного одобренья, как одобренья массы, т. е. этого живого, неиспорченного софизмами судии, равно непричастного к предрассудкам двора и света и к предубежденьям пишущей и сочиняющей братии. Масса, т. е. народ и все сословия, кроме одного, доказала теперь и особенно мне (могу сказать), как живо она сочувствует живому слову правды, как ее задевает все, что просто, верно и правдиво... К ней и всегда только к ней относится то, что я пишу и печатаю, если это не выраженье какой-нибудь более женственной и тайной мысли, которая выливается в строфе, не находя себе другого пути к чьему-нибудь уху исключительно, но все-таки с целью чисто женской. Роман будет продол-

жаться не только с усердием, но с остервененьем; в деревне писать для меня потребность, и я для того только задержала продолженье и конец первой части, что она нужна мне для проверки маленьких подробностей в последующих письмах.

В голове моей все уже составлено, полно, обдумано; писать я буду мирно и плавно. Дочь Дон Жуана в когтях брата, который хочет ее цензуровать, но не беспокойтесь, эта цензура не законодательная и не исполнительная в моих глазах; сладить бы только с ареопагом вашим, а личное мненье брата не будет иметь на меня влияния.

Жду вашего откровенного отзыва насчет морали и нравственности моей драмы и прошу меня не беречь. Я еду на днях в город на два дня, чтобы прочитать новую драму, в прозе, написанную теперь здесь; очень бы приятно было встретить вас, Федор Алексеевич, и лично повторить вам изъявление всегда моего к вам уваженья и сочувствия. Графиня Евдокия Ростопчина.

Бога ради, кто скрывается под псевдонимом Чужбинского?[5] Я в восхищении от его романа «Соседка», и мы его читаем вслух с детьми, находя много удовольствий в умном, живом и верном рассказе, не имеющем никакой претензии на роман с философскими либо гегелическими задачами, которые у нас теперь в моде.

А. ДЮМА

1

Вороново, понедельник 18/30 августа, 1858 года

Душенька Дюма! (Что означает это маленькое словцо, я, конечно, вам не скажу, хотя бы для того только, чтобы принудить вас его разузнать). Душенька Дюма! Вы видите, что я женщина слова, а в то же время и пера; потому что вот и мой рассказ и оправдание моего тестя по поводу московского пожара, пламя которого так его жгло на этом свете, что, я надеюсь, оно ему зачтется и избавит его от адского огня.

Остальное явится в свое время и в своем месте.

По возвращении моем сюда я была принята, вроде того как Каин после его приключения с Авелем. Вся семья на меня напустилась, спрашивая, куда вы девались, что я с вами сделала и зачем я вас с собой не привезла. Все были так уверены, что желанное похищение будет затеяно и приведено мною в исполнение. Муж и дочь не могут утешиться, что вас не увидят; меня, собственно, отпустили, теперь я вам сознаюсь в этом, так было плохо мое здоровье, только с тем условием, что я вас привезу. У меня спрашивали возможные подробности о вашей дорогой особе; желают знать, схожи ли вы с вашими портретами, с вашими книгами и с той идеей, которую они о вас составили; словом сказать, вся семья, так же, как и я, сильно озабочены нашим знаменитым и любезным путешественником, которого наперед благодарим за то, что он так много к нам расположен. Я совершенно разбита дорогой, а лихорадка идет своим порядком, что, однако, не помешает мне изо всех моих маленьких сил пожать ту мощную руку, которая, открываясь, совершает столько добрых дел, а закрываясь, пишет такие хорошие вещи, и притом возвратить собрату, и даже просто брату, тот поцелуй, которым он прикоснулся до моего лба.

Во всяком случае до свиданья! если не в этом, то на том свете. Друг ваш, вот уже тридцать лет Евдокия Ростопчина.

Вот вам, на десерт, стихотворение Пушкина, которое не было и никогда не сможет быть напечатано на русском языке: придя однажды в дом друга, он узнал, что там пишется письмо к изгнанникам в Сибирь, к тем, кого мы зовем декабристами: он взял перо и экспромтом написал следующие стихи: «К изгнанникам»[1]. <...>

2

Вороново, 27 августа/10 сентября 1858 г.

Вот, любезный Дюма, обещанные заметки; во всякое другое время мне бы доставило удовольствие их для вас составить и сообщить новому другу мои воспоминания о двух прежних; но в настоящую минуту надо было, чтобы это были вы и чтобы это была я, чтобы я успела закончить это марание. Вообразите себе, что я еще больше разболелась, так слаба, что почти не покидаю постели, и так поглупела, что едва себя узнаю. Однако не сомневайтесь ни в одной из подробностей, мною вам сообщаемых; они продиктованы мне памятью сердца, а она, верьте мне, переживает память рассудка. Рука, которая передаст вам это письмо, послужит доказательством, что я о вас помнила.

Прощайте! меня не забывайте. Евдокия.

Перечитала письмо и нахожу, что оно глупо! Можно ли вам писать так пусто. Но в ваших глазах я буду иметь отличное оправдание: когда вы получите его, я буду или мертва, или очень близка к смерти.

Лермонтов родился в 1814 или в 1815 году[1] и происходил от богатого и почтенного семейства; потеряв еще в малолетстве отца и мать, он был воспитан бабушкой, со стороны матери; г-жа Арсеньева, женщина умная и достойная, питала к

своему внуку самую безграничную любовь, словом сказать,— любовь бабушки; она ничего не жалела для его образования. В четырнадцать или пятнадцать лет он уже стал писать стихи, которые далеко еще не предвещали будущего блестящего и могучего таланта. Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже мечтал о жизни, не зная о ней ничего, и таким образом теория повредила практике. Ему не достались в удел ни прелести, ни радости юношества; одно обстоятельство, уже с той поры, повлияло на его характер и продолжало иметь печальное и значительное влияние на всю его будущность. Он был дурен собой, и эта некрасивость, уступившая впоследствии силе выражения, почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые черты его лица, была поразительна в его самые юные годы. Она-то и решила его образ мыслей, вкусы и направление молодого человека, с пылким умом и неограниченным честолюбием. Не признавая возможности нравиться, он решил соблазнять или пугать и драпироваться в байронизм, который был тогда в моде. Дон Жуан сделался его гением, мало того, его образцом; он стал бить на таинственность, на мрачное и на колкости. Эта детская игра оставила неизгладимые следы в подвижном и впечатлительном воображении; вследствие того, что он представлял из себя Лара и Манфреда[2], он привык быть таким. В то время я его два раза видела на детских балах, на которых я прыгала и скакала, как настоящая девочка, которою я и была, между тем как он, одних со мною лет, даже несколько моложе, занимался тем, что старался вскружить голову одной моей кузине[3], очень кокетливой; с ней, как говорится, шла у него двойная игра; я до сей поры помню странное впечатление, произведенное на меня этим бедным ребенком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием. Кузина поверяла мне свои тайны; она показывала мне стихи, которые Лермонтов писал ей в альбом; я находила их дурными, особенно потому, что они не были правдивыми. В то время я была в полном восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина; я сама пробовала заняться поэзией и написала оду на Шар-

лотту Корде, и была настолько разумна, что впоследствии ее сожгла. Наконец, я даже не имела желания познакомиться с Лермонтовым,— так он мне казался мало симпатичным.

Он тогда был в благородном пансионе, служившем приготовительным пансионом при Московском университете.

Впоследствии он перешел в школу гвардейских подпрапорщиков; там его жизнь и его вкусы приняли другое направление: насмешливый, едкий, ловкий — проказы, шалости, шутки всякого рода сделались его любимым занятием: вместе с тем, полный ума, самого блестящего, богатый, независимый, он сделался душою общества молодых людей высшего круга; он был первым в беседах, в удовольствиях, в кутежах, словом, во всем том, что составляет жизнь в эти годы.

По выходе из школы он поступил в гвардейский егерский полк[4], один из самых блестящих полков и отлично составленный; там опять живость, ум и жажда удовольствий поставили Лермонтова во главе его товарищей, он импровизировал для них целые поэмы, на предметы самые обыденные из их казарменной или лагерной жизни. Эти пьесы, которые я не читала, так как они написаны не для женщин, как говорят, отличаются жаром и блестящей пылкостью автора. Он давал всем различные прозвища в насмешку; справедливость требовала, чтобы и он получил свое; к нам дошел из Парижа, откуда к нам приходит все, особый тип, с которым он имел много сходства,— горбатого Майе (Mayeux)[5], и Лермонтову дали это прозвище вследствие его малого роста и большой головы, которые придавали ему некоторым образом фамильное сходство с этим уродцем. Веселая холостая жизнь не препятствовала ему посещать и общество, где он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины мо-

гут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность. Мне случалось слышать признания нескольких из его жертв, и я не могла удержаться от смеха, даже прямо в лицо, при виде слез моих подруг, не могла не смеяться над оригинальными и комическими развязками, которые он давал своим злодейским донжуанским подвигам. Помню, один раз он забавы ради решился заместить богатого жениха, и когда все считали уже Лермонтова готовым занять его место, родители невесты вдруг получили анонимное письмо, в котором их уговаривали изгнать Лермонтова из своего дома и в котором описывались всякие о нем ужасы. Это письмо написал он сам и затем уже более в этот дом не являлся[6].

Около того же времени умер Пушкин; Лермонтов вознегодовал, как и все молодое в России, против той недоброй партии нашего общества, которая восстановляла друг против друга двух противников. Лермонтов написал посредственное, но жгучее стихотворение, в котором он обращается прямо к императору[7], требуя мщения. При всеобщем возбуждении умов этот поступок, столь натуральный в молодом человеке, был перетолкован. Новый поэт, выступивший в защиту умершего поэта, был посажен под арест на гауптвахту, а затем переведен в полк на Кавказ. Эта катастрофа, столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась в значительной степени в его пользу: оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный на театр постоянной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный, наконец, сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся. До того времени все его опыты, хотя и многочисленные, были как будто только ощупывания, но тут он стал работать по вдохновению и из самолюбия, чтоб показать свету что-нибудь свое; о нем знали лишь по ссылке, а произведений его еще не читали. Здесь будет уместно провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым, собственно в смысле поэта и писателя.

Пушкин — весь порыв, у него все прямо выливается; мысль исходит или, скорее, извергается из его души, из его мозга, во всеоружии с головы до ног; затем он все переделывает, исправляет, подчищает, но мысль остается та же, цельная и точно определенная.

Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает; разум, вкус, искусство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, неопределенна и колеблется; даже и теперь в полном собрании его сочинений попадается тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная совершенно в разных пьесах.

Пушкин давал себе тотчас отчет в ходе и совокупности даже и самой маленькой из его отдельных пьес.

Лермонтов набрасывал на бумагу стих или два, пришедшие в голову, не зная сам, что он с ними сделает, а потом включал их в то или другое стихотворение, к которому, как ему казалось, они подходили. Главная его прелесть заключалась преимущественно в описании местностей; он сам, хороший пейзажист, дополнял поэта — живописцем; очень долго обилие материалов, бродящих в его мыслях, не позволяло ему привести их в порядок, и только со времени его вынужденного бездействия на Кавказе начинается полное обладание им самим собою, осознание своих сил и, так сказать, правильное использование своих различных способностей; по мере того как он оканчивал, пересмотрев и исправив, тетрадку своих стихотворений, он отсылал ее к своим друзьям в Петербург; эти отправки — причина того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений. Курьеры, отправляемые из Тифлиса, бывают часто атакуемы чеченцами или кабардинцами, подвергаются опасности попасть в горные потоки или пропасти, через которые они переправляются на досках или же переходят вброд, где иногда, чтобы спасти самих себя, они бросают доверенные им пакеты, и таким образом пропали две-три тетради Лермонтова; это случилось с последней тетрадью, отправленной Лермонтовым к своему изда-

телю, так что от нее у нас остались только первоначальные наброски стихотворений вполне законченных, которые в ней заключались.

На Кавказе юношеская веселость уступила место у Лермонтова припадкам черной меланхолии, которая глубоко проникла в его мысли и наложила особый отпечаток на его поэтические произведения. В 1838 году ему разрешено было вернуться в Петербург[8], а так как талант, а равно и ссылка уже воздвигли ему пьедестал, то свет поспешил его хорошо принять.

Несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитств вызвали против него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де Барантом, сыном французского посланника; последствием спора была дуэль, и в очень короткое время — вторая между русским и французом; некоторые женщины выболтали, и о поединке узнали до его совершения; чтобы покончить эту международную вражду, Лермонтов был вторично сослан на Кавказ.

От времен второго пребывания в этой стране войны и величественной природы исходят лучшие и самые зрелые произведения нашего поэта. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку, пробовавшему свои силы в предшествовавшем году; тут уже находишь больше правды и добросовестности в отношении к самому себе; он с собою более ознакомился и себя лучше понимает; маленькое тщеславие исчезает, и если он сожалеет о свете, то только в смысле воспоминаний об оставленных там привязанностях.

В начале 1841 года его бабушка, госпожа Арсеньева, выхлопотала ему разрешение приехать в Петербург для свидания с нею и получения последнего благословения; года и слабость понуждали ее спешить возложить руки на главу любимого детища. Лермонтов прибыл в Петербург 7 или 8 февраля, и, горькою насмешкою судьбы, его родственница, госпожа Ар-

сеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться по причине дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы.

Именно в это время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой; одним днем более, чем с вами, любезный Дюма, а потому не ревнуйте. Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром, и вечером; что нас окончательно сблизило, это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах; мы вместе вдоволь над ними посмеялись и таким образом вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени. Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости.

Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман, под заглавием: «Штос»[9], причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен.

Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали просить об отсрочках, в которых сначала было отказано, а потом они были взяты штурмом, благодаря высокой протекции.

Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец, около конца апреля или начала мая, мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути[10]. Я одна из последних пожала ему руку. Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну[11]. Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через два месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную жизнь, составляющую национальную гордость. Но что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от дружеской руки.

Прибыв на Кавказ, в ожидании экспедиции, Лермонтов поехал на воды в Пятигорск. Там он встретился с одним из своих приятелей, который с давних пор бывал жертвой его шуток и мистификаций. Он принялся за старое, и в течение нескольких недель Мартынов был мишенью всех безумных выдумок поэта. Однажды, увидев на Мартынове кинжал, а может быть, и два, по черкесской моде, что вовсе не шло к кавалергардскому мундиру, Лермонтов, в присутствии дам, подошел к нему и, смеясь, закричал:

— Ах! Как ты хорош, Мартынов! Ты похож на двух горцев!

Эта шутка переполнила чашу; последовал вызов, и на следующее утро два приятеля дрались на дуэли. Напрасно секунданты пытались примирить противников; от судьбы было не уйти. Лермонтов не хотел верить, что он будет драться с Мартыновым.

— Возможно ли,— сказал он секундантам, когда они передавали ему заряженный пистолет,— чтобы я в него целил?

Целил ли он? Или не целил? Но известно только то, что

раздалось два выстрела и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова.

Таким образом окончил жизнь в 28 лет[12], и тою же смертью, поэт, который один мог облегчить утрату, понесенную нами со смертью Пушкина.

Странная вещь! Дантес и Мартынов оба служили в кавалергардском полку.

Стихотворения, посвященные Е. П. Ростопчиной



М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

ДОДО

Умеешь ты сердца тревожить,
Толпу очей остановить,
Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой нежной оживить;
Умеешь ты польстить случайно
С холодной важностью лица
И умника унизить тайно,
Взяв пылко сторону глупца!
Как в *Талисмане* стих небрежный,
Как над пучиною мятежной
Свободный парус челнока,
Ты беззаботна и легка.
Тебя не понял север хладный;
В наш круг ты брошена судьбой,
Как божество страны чужой,
Как в день печали миг отрадный!

1831

ГРАФИНЕ РОСТОПЧИНОЙ

Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Но что ж! — от цели благородной
Оторван бурею страстей,
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;

Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять...

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный;
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный,
И ласки вечные свои.

1841

К. К. ПАВЛОВА

ГРАФИНЕ Р<ОСТОПЧИНОЙ>

Как сердцу вашему внушили
К родной Москве такую спесь?
Ее ж любимицей не вы ли
Так мирно расцветали здесь?
Не вас должна б сует гордыня
Вести к хуле своей страны:
Хоть петербургская графиня,—
Вы москвитянкой рождены.

Когда б не в старом граде этом
Впервой на свет взглянули вы,
Быть может, не были б поэтом
Теперь на берегах Невы.
Москва была то благостыня,
В ней разыгрались ваши сны;
Хоть петербургская графиня,—
Вы москвитянкой рождены.

Ужель Москвы первопрестольной
Вам мертв и скучен дивный вид!
Пред ней, хоть памятью невольной,
Ужель ваш взор не заблестит?
Ужель для сердца там пустыня,
Где мчались дни его весны?
Хоть петербургская графиня,—
Вы москвитянкой рождены.

Иль ваших дум не зажигая,
Любви вам в душу не вселя,
Вас прикрывала сень родная
Семисотлетнего Кремля?

Здесь духа русского святыня,
Живая вера старины;
Здесь, петербургская графиня,
Вы москвитянкой рождены.

Июль 1841
Гиреево

* * *

Мы современницы, графиня,
Мы обе дочери Москвы;
Тех юных дней, сует рабыня,
Ведь не забыли же и вы!

Нас Байрона живила слава
И Пушкина изустный стих;
Да, лет одних почти мы, право,
Зато призваний не одних.

Вы в Петербурге, в шумной доле
Себе живете без преград,
Вы переноситесь по воле
Из края в край, из града в град;

Красавица и жорж-зандистка,
Вам петь не для Москвы-реки,
И вам, свободная артистка,
Никто не вычеркнул строки.

Мой быт иной: живу я дома,
В пределе тесном и родном,
Мне и чужбина незнакома,
И Петербург мне незнаком,

По всем столицам разных наций
Досель не прогулялась я,
Не требую эмансипаций
И самовольного житья;

Люблю Москвы я мир и стужу,
В тиши свершаю скромный труд,
И отдаю я просто мужу
Свои стихи на строгий суд.

Январь 1847
Москва

Ф. И. ТЮТЧЕВ

ГРАФИНЕ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ

(в ответ на ее письмо)

Как под сугробом снежным лени,
Как околдованный зимой,
Каким-то сном усопшей тени
Я спал, зарытый, но живой!

И вот, я чую, надо мною,
Не наяву и не во сне,
Как бы повеяло весною,
Как бы запело о весне...

Знакомый голос... голос чудный...
То лирный звук, то женский вздох...
Но я, ленивец беспробудный,
Я вдруг откликнуться не мог...

Я спал в оковах тяжкой лени,
Под осьмимесячной зимой,
Как дремлют праведные тени
Во мгле стигийской роковой.

Но этот сон полумогильный,
Как надо мной ни тяготел,
Он сам же, чародей всесильный,
Ко мне на помощь подоспел.

Приязни давней выраженья
Их для меня он уловил —
И в музыкальные виденья
Знакомый голос воплотил...

Вот вижу я, как бы сквозь дымки,
Волшебный сад, волшебный дом —
И в замке феи-*Нелюдимки*
Вдруг очутились мы вдвоем!..

Вдвоем! — и песнь ее звучала,
И от заветного крыльца
Гнала и буйного нахала,
Гнала и пошлого льстеца.

1850
С.-Петербург

ГРАФИНЕ РОСТОПЧИНОЙ

О, в эти дни — дни роковые,
Дни испытаний и утрат —
Отраден будь для ней возврат
В места, душе ее родные!

Пусть добрый, благосклонный гений
Скорей ведет навстречу к ней
И горсть живых еще друзей,
И столько милых, милых теней!

16 октября 1855

Л. А. МЕЙ

В АЛЬБОМ

(Гр. Е. П. Ростопчиной)

Я не хочу для новоселья
Желать вам нового веселья
И всех известных вам обнов,
Когда-то сшитых от безделья
Из красных слов.

Но дай вам бог под новым кровом
Стереть следы старинных слез,
Сломать шипы в венце терновом
И оградиться божьим словом
От старых гроз.

А если новые печали
На долю вам в грядущем пали,
Как встарь, покорствуйте творцу
И встретьте их, как встарь встречали,—
Лицом к лицу.

Пусть вера старая основой
Надежде старой будет вновь,
И, перезрев в беде суровой,
Пускай войдет к вам гостьей новой
Одна любовь.

<1856>

Н. П. ОГАРЕВ

ОТСТУПНИЦЕ

(Посвящено гр. Р<остопчиной>)

Теперь идет существованье
С однообразием волны...
Но миг случайный, намеканье —
И будит вновь воспоминанье,
Давно утраченные сны.
Так звук внезапно воскрешает
Всю песнь забытую — и вот
Знакомый голос оживает,
Знакомый образ восстает;
Из-за туманов жизни мрачной
Восходит жизнь прошедших лет,
Облечена в полупрозрачный,
Полузадумчивый рассвет.

Все это только род вступленью,
Чтобы сказать, что как-то раз,
Тревожа тени из забвенья,
Случайно вспомнил я о вас.
Воскресло в памяти унылой
То время светлое, когда
Вы жили барышнею милой
В Москве, у Чистого пруда.
Мы были в той поре счастливой,
Где юность началась едва,
И жизнь нова, и сердце живо,
И вера в будущность жива.
Двором широким проезжая,
К крыльцу невольно торопясь,
Скакал, бывало, я — мечтая —
Увижу ль вас, увижу ль вас!

Я помню (годы миновали!)...
Вы были чудно хороши;
Черты лица у вас дышали
Всей юной прелестью души.
В те дни, когда неугомонно
Искало сердце жарких слов,
Вы мне вручили благосклонно
Тетрадь заветную стихов.
Не помню слог стихотворений
Хорош ли, нехорош ли был,
Но их свободы гордый гений
Своим наитьем освятил.
С порывом страстного участья
Вы пели вольность и слезой
Почтили жертвы самовластья,
Их прах казненный, но святой.
Листы тетради той заветной
Я перечитывал не раз,
И снился мне ваш лик приветный,
И блеск и живость черных глаз.

Промчалась, полная невзгоды,
От вас далеко жизнь моя;
Ваш милый образ в эти годы
Как бы в тумане помнил я.
И как-то случай свел нас снова
В поре печальной зрелых лет...
Уже хотел я молвить слово,
Сказать вам дружеский привет;
Но вы какому-то французу
Свободу поносили вслух,
И русскую хвалили музу
За подлый склад, за рабский дух.
Меня тогда вы не узнали,
И я был рад: я увидал,

Как низко вы душою пали,
И вас глубоко презирал.
Скажите — в этот вечер скучный,
Когда вернулись вы домой,
Ужель могли вы равнодушно
На ложе сна найти покой?
В тиши угрюмой ночь глухая,
Тоску и ужас навевая,
Вам не шептала ли укор,
Что вы отступница святыни,
Что вы с корыстию рабыни
Свой голос продали за вздор?

Мне жалко вас. С иною дамой
Я расквитался б эпиграммой;
Но перед вами смех молчит,
И грозно речь моя звучит!
Покайтесь грешными устами,
Покайтесь искренно, тепло,
Покайтесь с горькими слезами,
Покуда время не ушло!
Просите доблестно прощенья
В измене ветреной своей —
У молодого поколенья,
У всех порядочных людей.
Давно расстроенную лиру
Наладьте вновь на чистый строй:
Покайтесь,— вам, быть может, миру
Сказать удастся стих иной,—
Не тот напыщенный, жеманный,
Где дышит холод, веет тьма,
Где все для сердца чужестранно
И нестерпимо для ума;
Но тот, который, слух лаская,
Звучал вам в трепетной тиши

В те дни, когда вы, расцветая,
Так были чудно хороши.
Не бойтесь снять с себя личину
И обвинить себя самих:
Христос Марию Магдалину
Поставил выше всех святых!
И нет стыда просить прощенья,
И сердцу сладостно прощать...
И даже я на примиренье
Готов, по правде вам сказать,—
И слов моих тем не ослаблю:
Я б и Кленмихелю простил,
Когда б он девственную саблю
За бескорыстность обнажил.

1857

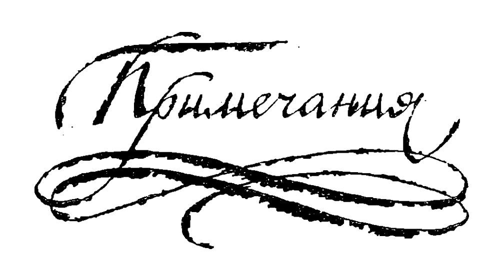
А. Н. МАЙКОВ

* * *

В альбом гр. Е. П. Ростопчиной

В наш город слух прошел, что Сафо будет к нам.
Столпился к пристани народ нетерпеливо —
И вот — ее корабль уже среди залива...
Причалили. Ее на берег по коврам
Свели и встретили с архонтами, с жрецами,
Вели по улице, усыпанной цветами...
Я, пылкий юноша, ее воображал
С осанкой царственной, с поднятой головою,
И в ла́вровом венке, и с лирой золотою,
И взор властительный я встретить ожидал —
И что ж? Она прошла, потупив очи, просто,
Такая слабая и маленького роста,
И пышной встречею и кликами она,
Как робкое дитя, казалось, смущена;
Казалось, риторам болезненно внимала
И взором тихого убежища искала,
Куда бы кинулась и, кажется, тотчас
Неудержимыми б слезами залилась.

1858



Настоящее издание составили избранные стихотворные произведения Е. П. Ростопчиной, повесть «Чины и деньги» и ряд писем. При жизни Ростопчиной выходили ее поэтические книги «Стихотворения графини Е. Ростопчиной». Спб., 1841 (в примеч.: «Стихотворения», 1841) и «Стихотворения графини Ростопчиной», т. I, II. Спб., 1856; III и IV тома этого издания, подготовленные к печати поэтессой, вышли уже после ее смерти в 1859 г. (в примеч.: «Стихотворения», с указанием тома и года издания). В 1890 г. С. П. Сушков, брат Ростопчиной, издал «Сочинения графини Ростопчиной» (Спб., т. 1, 2), предварив их биографическим очерком. В это издание вошли избранные стихотворения, комедия «Возвращение Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки. Продолжение комедии Грибоедова «Горе от ума» и проза. В советское время книг Е. П. Ростопчиной не выходило, наиболее значительные подборки ее стихотворений опубликованы в сб.: Поэты 1840—1850-х годов. Л., 1962 (Б-ка поэта. М. сер.); Поэты 1840—1850-х годов. Л., 1972 (Б-ка поэта. Б. сер.); Русские поэтессы XIX века. М., Сов. Россия, 1979. Кроме того, ее сатира «Дом сумасшедших в 1858 году» опубликована в кн.: Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века. М.— Л., 1932; а повесть «Чины и деньги» в кн.: Марьина роща. Московская романтическая повесть. М., 1984.

В основе раздела стихотворений положено издание: Стихотворения графини Ростопчиной, т. I—IV. Спб., 1856—1859 (2-е изд. Спб., 1857—1860) и сохранено авторское деление на циклы и их названия. Стихотворения, не включавшиеся в них и не печатавшиеся при жизни автора, помещены в циклы по хронологии, что позволяет более полно представить творческий путь поэтессы и согласуется с принятым ею хронологическим

принципом. Все случаи, когда стихотворения печатаются по другим изданиям, оговорены в примечаниях, в некоторой части которых использованы разыскания предыдущих комментаторов. Сведения о музыкальных переложениях стихотворений Е. П. Ростопчиной приводятся по изданию: Иванов Г. К. Русская поэзия в отечественной музыке, вып. 1—2. М., 1966—1969.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЕТСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 1829—1833

В альбоме Е. П. Ростопчиной, хранящемся в ЦГАЛИ, имеется 108 стихотворений, относящихся к 1829—1836 гг. Они разделены на два цикла: «Вдохновения и мечты» и «Давно прошедшее». В них включены, в числе других не публиковавшихся при жизни поэтессы, стихотворения «Мечта», «К страдальцам». В раздел «Детские стихотворения» Ростопчина включила стихотворения, написанные до замужества. В конце жизни она говорила о стихотворениях 1829—1832 гг. как о написанных в детские годы. Так, в письме к Н. И. Гречу от 22 июня 1857 г. Ростопчина писала: «Детские стихотворения»... писаны, когда мне было 14, 15 и до 19 лет» (Древняя и Новая Россия, 1877, т. I, № 2, с. 215). В I т. «Стихотворений» 1856 г. этот раздел составило 41 стихотворение, ранее входившее в книгу «Стихотворения» 1841 г.

Молодой месяц. Впервые — «Стихотворения», 1841. Альфонс Мари Луи де *Ламартин* (1790—1869) — французский поэт, публицист.

Талисман. Впервые — «Северные цветы на 1831 год». Спб., 1830. Позднее с незначительной правкой включено в роман в стихах «Дневник девушки», гл. VI. «Она любит». Печатается по тексту первой публикации. Положено на музыку А. А. Алябьевым.

Когда б он знал! Впервые — «Стихотворения», 1841. В другой редакции включено в роман в стихах «Дневник девушки», гл. IX, «То горе, то радость». Подражание стихотворению «Если бы он это знал!» французской поэтессы Марселины *Деборд-Вальмор* (1786—1859), которой в юности увлекалась Ростопчина. *Пашкова Елизавета Петровна* (урожд. Киндякова, ум. 1854) — двоюродная тетка Ростопчиной. Стихотворение несколько раз положено на музыку.

Равнодушной. Впервые — «Современник», 1838. т. 12. В своей рецензии на книгу Ростопчиной «Стихотворения» (1841) В. Г. Белинский, процитировав это стихотворение, заметил: «Да, такие думы и чувства доказывают, что талант графини Ростопчиной мог бы найти более обширную и более достойную себя сферу, чем салон...» (Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 4. М., 1979, с. 457). Положено на музыку Н. И. Бахметевым.

Мечта. Впервые — журн. «30 дней», 1938, № 2. неполностью (строки 1—16). Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х годов. Л., 1962, где впервые опубликовано полностью. Эпиграф — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К Чаадаеву» (1818). *Плач братьев притесненных.*— Имеются в виду декабристы. *Трехцветный шарф* — деталь офицерской формы русской армии конца XVIII — нач. XIX в.

К страдальцам. Впервые — «Декабристы. Сб. материалов». Л., 1926. Позднее найдены автографы с несколько иным текстом. На рукописи, подаренной декабристу З. Г. Чернышеву (1796—1862), имеется ее помета: «Писано, когда мне было 15 лет» и подпись: «Захару Григорьевичу Чернышеву, в знак особенного уважения от граф. Евдокии Ростопчиной». На рукописи, подаренной декабристу С. Г. Волконскому (1788—1865), дата: «16 января 1856 г., Москва» и помета: «Москва, май 1831, импровизировано в одну ночь 14-летней девочкой, Евдокиею Сушковой». Печатается по публикации Вл. Нейштадта в статье «Неизвестные стихи Е. П. Ростопчиной» — журн. «30 дней», 1938, № 2. Позднейшие редакции этого стихотворения, на наш взгляд, художественно менее совершенны и скорее случайны, чем вызваны принципиальными творческими соображениями. Эпиграф из поэмы «Наливайко» *К. Ф. Рылеева* (1795—(1826). *России, воспрянувшей от рабственного сна...*— перифраз строки Пушкина из стихотворения «К Чаадаеву» (1818).

Цыганский табор. Впервые — «Пантеон русского и всех европейских театров», 1840, № 1. *Алмеи* (во мн. числе правильнее — авалим (араб.) — здесь: танцовщицы. *Гимн фантастический Шекспировых духов.*— Имеются в виду «Песни духов» из «Бури» В. Шекспира (1564—1616), акт 1, сцена 2. Брат Ростопчиной С. П. Сушков (1816—1893) сообщает, что это стихотворение было написано поэтессой, «когда в первый раз она слышала цыганский хор в Петровском парке, где семейство Пашковых в тот год провело лето» (Сушков С. Возражение на статью

Е. С. Некрасовой «О графине Е. П. Ростопчиной».— Вестник Европы, 1888, т. III, с. 414).

Простонародная песня. Впервые — «Утренняя заря, альманах на 1840 год». Спб., под заглавием «Опыты простонародных мелодий». Несколько раз положены на музыку все три стихотворения. 3-е — А. С. Даргомыжским и еще шестью композиторами.

Осенний вечер. Впервые — «Стихотворения», 1841. *Мильвуа* Шарль Ибер (1782—1816) — французский поэт. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном и Ц. Ромбергом.

Отринутому поэту. Впервые — «Стихотворения», 1841. Эпиграф из стихотворения прозаика и поэта Н. Ф. Павлова (1803—1864) «К Н. Н.» («Нет! ты не поняла поэта...»).

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА. 1834—1838

Публикуя в «Москвитянине» (1854, № 5) «Несколько стихотворений из «Зеленой книги», Ростопчина сделала примечание: «Зеленая книга» была рукопись, подаренная автором одной короткой приятельнице, содержавшая в себе все неизданные мелкие стихотворения, слишком задушевные для печати; после десяти лет, по случаю смерти ее обладательницы, «Зеленая книга» теперь возвратилась опять в руки автора». Цикл составили 41 стихотворение и «Посвящение...», датированное 4 мая 1855 г., в котором говорится:

Тебе, кому я доверяла
Мечты неопытной души...
Кто втайне был мне вдохновеньем,
Кто был мне цель, совет и суд,—
Я приношу с благоговеньем
В последний дар мой скромный труд.

Адресат посвящения неизвестен.

Русская песня («Что ты, молодость моя...»). Впервые — «Стихотворения», 1856, т. I. Положено на музыку П. П. Сокальским и В. Т. Соколовым.

Изменнице. Впервые — «Стихотворения», 1856, т. I. *Бахметев* Николай Иванович (1807—1891) — русский композитор, положивший на музыку это и еще два стихотворения Ростопчиной.

Осенние листы. Впервые — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 1. Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972. Эпиграф из стихотворения А. И. Тургенева (1781—1803) «Элегия» («Угрюмой осени мертвящая рука...»). *Изженет* — изгонит.

Прежней наперснице. Впервые — «Стихотворения», 1841, под заглавием «Наперснице». *Чичисбей* — в XVI—XVII вв. в Италии постоянный спутник знатной замужней женщины.

Надевая албанский костюм. Впервые — «Москвитянин», 1854, № 5. *Поликар* — здесь: албанский воин.

На прощанье... Впервые — «Москвитянин», 1854, № 5. Эпиграф из стихотворения «Расставание» Д.-Г. Байрона. Несмотря на несомненную автобиографичность стихотворения Ростопчиной, в нем есть строки, перекликающиеся со стихотворением Байрона.

Черная немочь. Впервые — «Стихотворения», 1841. Эпиграф из стихотворения И.-В. Гете.

Кто поэт. Впервые — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 1. Эпиграф — цитата из поэмы «Торквато Тассо» И.-В. Гете.

Последний цветок. Впервые — «Московский наблюдатель», 1835, ч. 4, под заглавием «Последний цвет». Эпиграф — неточная цитата из предисловия А. Делатуша к книге, впервые собравшей литературное наследие А. Шенье (Париж, 1819). Андре Мари *Шенье* (1762—1794) — французский поэт. Стихотворение положено на музыку И. И. Геништой. В письме к А. И. Тургеневу от 8 февраля 1836 г. П. А. Вяземский писал о нем: «Каковы стихи? Ты думаешь, Бенедиктова? Могли бы быть Жуковского, Пушкина, Баратынского; уж верно не отказались бы от них. И неужели сердце твое не забилось радостью Петровского и Чистых Прудов и не узнал ты голоса некогда Додо Сушковой, а ныне графини Ростопчиной?.. Какое глубокое чувство, какая простота и сила в выражении и, между тем, сколько женского!» (Остафьевский архив князей Вяземских, т. 3. Спб., 1899, с. 203). Белинский в рецензии на книгу «Стихотворения» (1841 г.) писал: «...глубоким чувством запечатлено стихотворение «Последний цветок», это, по нашему мнению, лучшее стихотворение в книжке» (Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 4. М., 1979, с. 455).

Сонет («Когда непогода в лесу забушует...»). Впервые — «Стихотворения», 1841.

Сонет («Бывают дни,— я чую: вдохновенье...»). Впервые — «Московский наблюдатель», 1836, ч. 1. *Томас Мур* (1779—1852) — английский поэт.

Зимний вечер. Впервые — «Библиотека для чтения», 1836, т. XVIII.

Месть. Впервые — «Современник», 1837, т. 7. Эпиграф из драматической поэмы Д.-Г. Байрона «Манфред».

Безнадежность. Впервые — «Стихотворения», т. 1, 1856. *В безжизненной степи...*— Здесь говорится о селе Анна, где Ростопчина подолгу жила. Этот же мотив возникает и в других ее стихотворениях, см. «Осенние листы», «Искушение».

Эльбрус и я. Впервые — «Современник», 1837, т. 5.

Разговор во время мазурки. Впервые — «Стихотворения», т. 1, 1856. *Рессегье* Бернар-Мари-Жюль (1789—1862) — французский поэт, беллетрист, критик.

Ссора. Впервые — «Стихотворения», т. 1, 1856. Эпиграф из трагедии В. А. *Озерова* (1769—1816) — поэта и драматурга.

Вы вспомните меня. Впервые — «Стихотворения», т. 1, 1856.

Последнее слово. Впервые — «Стихотворения», т. 1, 1856. Эпиграф из стих. Д.-Г. Байрона «Расставанье».

В степи. Впервые — «Стихотворения», т. 1, 1856. Эпиграф — неточная цитата из поэмы Д.-Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (Песнь первая).

СТИХОТВОРЕНИЯ. 1838—1843

В «Стихотворениях» (1856, т. I—II) этот раздел составили 105 стихотворений и цикл «Неизвестный роман», который помещен после стихотворения «В Москву» и заключает первый том. Часть стихотворений раздела входила в «Стихотворения», 1841.

Черновая книга Пушкина. Впервые — «Современник», 1839, т. 15. Стихотворению предпослано следующее «Письмо В. А. Жуковского к Графине Е. П. Ростопчиной, при посылке ей черновой книги Александра Пушкина»: «Посылаю вам, Графиня, на память книгу, которая может иметь для вас некоторую цену. Она принадлежала Пушкину; он приготовил ее для новых своих стихов, и не успел написать ни одного; мне она досталась из рук смерти, я начал ее, то, что в ней найдете, не напечатано нигде. Вы дополните и докончите эту книгу его. Она теперь достигла настоящего своего назначения. Все это в старые годы я написал

бы стихами, и стихи были бы хороши, потому что дело бы шло о вас и о вашей поэзии; но стихи уже не так льются, как бывало,— кончу просто: не забудьте моих наставлений; пускай этот год уединения будет истинно поэтическим годом вашей жизни. Ваш Жуковский. 25 апреля 1838 г.». Девять стихотворений, вписанных Жуковским в присланную книгу, впоследствии опубликованы им под заголовком «Из альбома, подаренного гр. Ростопчиной». Сейчас эта книга хранится в Пушкинском доме.

Две встречи. Впервые — «Современник», 1839, т. 14, в другой редакции. Посылая стихотворение П. А. Плетневу, Ростопчина в письме от 21 декабря 1838 г. писала: «Две встречи» — истинный рассказ моих первых двух свиданий с Пушкиным, и я обработала эту мысль именно для вас и «Современника», зная, как вам приятно собрать в этом изданьи все, относящееся к памяти незабвенного» (Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972, с. 476. (Б-ка поэта. Б. сер.). Первая встреча Ростопчиной с Пушкиным произошла весной 1827 г. «8 апреля Пушкин был на пасхальном народном гулянье под Новинским...» (Ашукин Н. Москва в жизни и творчестве А. С. Пушкина. М., 1949, с. 104). Гулянье происходило под упраздненным в XVIII в. Новинским (Иисуса Навина) монастырем (между современной площадью Восстания и Проточным переулком). Как вспоминает очевидец, «толпы народа ходили за славным певцом Эльбруса и Бахчисарая, при восхищениях с разных сторон: «Укажите! укажите нам его!» (Исторический вестник, 1899, № 5, с. 753). Вторая встреча произошла, по словам ее брата С. Сушкова, «в первую зиму ее выезда в свет, когда ей было 18 лет» (Сочинения графини Е. П. Ростопчиной, т. I. Спб., 1890, с. VIII). Стихотворение посвящено П. А. *Плетневу* (1792—1865) — поэту и критику; ему впоследствии Ростопчина посвятила и роман «У пристани». Эпиграф — из сочинений Фридриха *Бутервека* (1766—1828), немецкого философа, историка литературы, поэта и беллетриста.

Искушенье. Впервые — «Утренняя заря, альманах на 1840 год», Спб.

Воспоминанье. Впервые — «Современник», 1839, т. 15. Эпиграф — неточная цитата из поэмы «Чернец» И. И. Козлова (1779—1840). *А. О. Смирнова* (урожд. Россет; 1809—1882) — одна из выдающихся женщин петербургского света, мемуаристка; подруга Ростопчиной.

Колокольный звон ночью. Впервые — «Современник», 1840, т. 17. Эпиграф из стихотворения Томаса Мура, известного в переводе И. И. Козлова под названием «Вечерний звон».

Прости, Кавказ! Впервые — «Стихотворения», 1841.

Одним меньше! Впервые — «Сын Отечества», 1840, т. 1, № 4. В честь 25-летия Бородинской битвы на Бородинском поле состоялся парад и был открыт монумент. К этому дню по предложению Д. В. Давыдова (1784—1839) было решено перенести на Бородинское поле прах П. И. Багратиона. Как бывший адъютант Багратиона, Давыдов должен был командовать почетным эскортом для сопровождения гроба. Но незадолго до торжества, состоявшегося в 1839 г., он скоропостижно умер. Эпиграф — неточная цитата из стихотворения Н. М. Языкова «Д. В. Давыдову» («Жизни баловень счастливый...»).

Падучая звезда. Впервые — «Пантеон русского и всех европейских театров», 1840, № 2. Положено на музыку А. Е. Варламовым, А. Г. Рубинштейном и еще четырьмя композиторами.

Двойные рамы. Впервые — «Стихотворения», 1841.

Недоконченное шитье. Впервые — «Стихотворения», 1841. Это стихотворение заключало первую книгу стихотворений Ростопчиной. Эпиграф — из песни Клэрхен (Клары) трагедии И.-Ф. Гете «Эгмонт».

Виктору Гюго, отверженному Французской Академиею. Впервые — «Отечественные записки», 1840, т. XIII, № 11, отд. 3. Эпиграф — первая строка сонета А. С. Пушкина «Поэту» (1830). В. Гюго был избран во Французскую Академию 7 января 1841 г. после четырех неудачных попыток. Это стихотворение было послано В. Гюго Э. П. Мещерским (1808—1844), переводившим стихи Ростопчиной на французский язык.

Негодованье. Впервые — «Пантеон русского и всех европейских театров», 1840, № 7. В стихотворении осуждается лицемерие буржуазной американской демократии, поощрявшей истребление индейцев. В 1836 г. в статье «Джон Теннер» Пушкин писал: «Уважение к сему новому народу и его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 12. М., 1949, с. 104). *Республиканцы* — здесь: сторонники республики. *Пуритане* — английская протестантская

секта 2-й половины XVI — 1-й половины XVII в.; пуритане сыграли большую роль в истории английских колоний Северной Америки.

И он поэт. Впервые — «Отечественные записки», 1840, т. XII, ч. 10, отд. 3.

В Москву. Впервые — «Современник», 1840, т. 20. Эпиграф — слова из арии оперы Дж. Россини (1792—1868) «Танкред», либретто Г. Росси по поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» и трагедии Вольтера «Танкред».

Поклонникам Наполеона, когда они вздумали перенести его гробницу в Париж. Эпиграф — из стихотворения Алессандро Мандзони (1785—1873) «Пятое мая», написанного на смерть Наполеона. Стихотворение Ростопчиной было вызвано сообщениями о намерении перенести прах Наполеона с острова Св. Елены в Париж. Эта церемония произошла 15 декабря 1840 г. и вызвала несколько откликов в русской поэзии (Ф. И. Тютчева, А. С. Хомякова); наиболее близко стихам поэтессы стихотворение Лермонтова «Последнее новоселье».

Село Анна. Впервые — «Вчера и сегодня». Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом, кн. I. Спб., 1845.

Часы уединенья. Впервые — «Москвитянин», 1851, № 22.

Звезды полуночи. Впервые — «Современник», 1841, т. 21. Эпиграф — из поэмы Д.-Г. Байрона «Чайльд-Гарольд».

Посещая Московскую Оружейную палату. Впервые — «Памятник искусств и вспомогательных знаний», т. I, тетр. 2. Спб., 1841; без названия, в другой редакции. *Владимир.*— Здесь, видимо, имеется в виду Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125), великий князь Киевский в 1113—1125 гг., военачальник и писатель; в Государственной Оружейной палате хранится «шапка Мономаха». *Борис* — Борис Годунов (ок. 1552—1605), русский царь с 1598 г.; *Мстислав* — Мстислав Владимирович Великий (1076—1132), князь, сын Владимира Мономаха.

У окна, в лунную ночь. Положено на музыку А. Э. Мейснером.

Как должны писать женщины. Впервые — «Памятник искусств и вспомогательных знаний», т. I, тетр. 4. Спб., 1841.

Жозеф Делорм — псевдоним французского поэта и критика Ш.-О. Сент-Бева (1804—1869).

Огонь в светлице. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. Эпиграф — неточная цитата из стихотворения «Не сиди, мой друг, поздно вечером...» Н. Г. Цыганова (1797—1832), ошибочно приписанного Ростопчиной А. А. Дельвигу. *Как незабвенная Светлана.*— Имеется в виду героиня известной баллады В. А. Жуковского «Светлана». *Знай, есть в небе провиденье, Здесь есть друг..*— перифраз строк из «Светланы» Жуковского: «Лучший друг нам в жизни сей//Вера в провиденье».

Арабское предание о розе. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. Можно предположить, что в стихотворении аллегорически говорится о вдове А. С. Пушкина Наталье Николаевне, которая после двухлетнего отсутствия в 1839 г. вернулась в Петербург, где, правда, до 1843 г. не показывалась в «большом свете». С Н. Н. Пушкиной Ростопчина встречалась у Карамзиных.

Потерянное кольцо. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856.

Былые слезы. Положено на музыку А. А. Дерфельдтом и Ф. М. Толстым.

Я не для счастья рождена! Эпиграф из романа Анны Луизы Жермен *де Сталь* (1766—1817) — французской писательницы. Положено на музыку А. Мейером.

На дорогу! Впервые — «Русская беседа», т. 2. Спб., 1841, где помещено вслед за стихотворением Лермонтова «Графине Ростопчиной» («Я верю: под одной звездою...»). Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972. (Б-ка поэта. Б. сер.). В альбоме Ростопчиной под стихотворением дата «8-е марта 1841» (см.: Гиллельсон М. Последний приезд Лермонтова в Петербург.— Звезда, 1977, № 3, с. 191—192). С образом Лермонтова связаны стихотворения поэтессы «Нашим будущим поэтам», «Пустой альбом», «Поэтический день». Лермонтов уехал из Петербурга в середине апреля, а через несколько дней Ростопчина передала бабушке поэта свою книгу стихотворений с надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому. Петербург, 20-е апреля 1841 г.». *Заступница родная* — Е. А. Арсеньева (1760—1845), бабушка Лермонтова.

Потерянная весна. Впервые — «Современник», 1841, т. 25. *Как старая Москва Пуста для сердца...*— см. стихотворение «В Москву».

Одиночество. Впервые — «Современник», 1841, т. 24.

Нашим будущим поэтам. Впервые — «Русская беседа», т. 2. Спб., 1841. Анаиса Менар *Сегала* (1814—?) — французская поэтесса, прозаик, драматург. *Цевница* — старинный духовой музыкальный инструмент, многоствольная флейта, свирель. *Семимужняя библейская вдовица.*— В евангелии (Лука, гл. 20) рассказывается о женщине, бывшей поочередно женой семи друг за другом умиравших братьев. *Манцинило* (манцинелла) — небольшое дерево, растущее в Мексике, на Антильских островах и в Колумбии; в листьях и коре содержит ядовитый млечный сок. Под стихотворением «Я знаю, не долго мне жить остается» та же дата и помета: «В тот день, что я узнала о смерти Лермонтова» (Стихотворения, т. II, 1856, с. 82). В альбоме с автографом подпись другая: «На следующий день, как я узнала о смерти нашего бедного Лермонтова...» (Г и л л е л ь с о н М. Последний приезд Лермонтова в Петербург.— Звезда, 1977, № 3, с. 192).

Запретный кубок. *Теофиль Готье* (1811—1872) — французский поэт, прозаик, критик.

Домашний друг. Впервые — «Современник», 1842, т. 26. *Шарль Нодье* (1780—1844) — французский писатель. В письме к П. А. Плетневу Я. К. Грот писал по поводу этого стихотворения: «Из стихов в «Современнике» мне особенно нравится «Сверчок» Ростопчиной, который... премилая шалость фантазии» (Переписка Грота с Плетневым, т. I. Спб., 1896, с. 554).

Пустой альбом. Впервые — «Москвитянин», 1842, № 2. С. Н. *Карамзина* (1802—1856) — дочь Н. М. Карамзина, писателя и историка, близкая знакомая Пушкина. Эпиграф из стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. О<доевско>го». Позднее, переписав в свой альбом стихотворение А. Одоевского «На смерть Грибоедова», Ростопчина писала, вспоминая стихотворение Лермонтова «Памяти А. И. О<доевско>го» и свое «Пустой альбом»: «Грибоедов, бывши посланником России при Персидском дворе, в Тегеране,— погиб, зарезанный персианами; князь Александр Одоевский, замешанный в заговоре 14-го Декабря, был в крепости, под судом, и приговорен к вечной ссылке на каторжные работы в Сибири, с лишением чинов и дворянства; потом прощен, и умер на Кавказе рядовым. К нему относятся прекрасные стихи М. Лермонтова: «Мир праху твоему, мой милый Саша». Странное сближение: в течение 12 лет со-

сланный Одоевский пишет на смерть умерщвленного Грибоедова,— потом сам умирает, и воспет Лермонтовым; через два года Лермонтов погибает, застреленный Мартыновым на дуэли, в Пятигорске, на Кавказе,— и на смерть его стихи писаны графинею Ростопчиною, как будто для того, чтобы женскою рукою заключить ряд этих жертв насильственной смерти!... IV. Желала бы я знать, кому суждено оплакать мою смерть поэтическим воспоминанием?.. и главное,— будет ли моя смерть оплакана и воспета кем-нибудь?.. Вороново, 19 июня 1852» (Г и л л е л ь с о н М. Последний приезд Лермонтова в Петербург.— Звезда, 1977, № 3, с. 193—194).

Не скучно, а грустно. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. Заглавие — аллюзия на стихотворение «Лермонтова «И скучно, и грустно» (1840).

Близка весна. Впервые — «Отечественные записки», т. XXVII, № 4, отд. 1. Эпиграф из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 7, строфа 2).

Отплывающий пароход. Впервые — «Молодик на 1844 год». Спб.

Подаренный букет. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856.

На взморье. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. *Ундина* — женский дух стихии воды, героиня романтической повести Фридриха де ла Мот Фуке (1777—1843) на тему немецких народных сказаний о любви русалки и рыцаря; в России известна в поэтическом переложении Жуковского.

Бал на фрегате. Впервые — «Современник», 1843, т. 29, написано во время поездки в Финляндию. В письме к Я. К. Гроту от 11 мая 1843 г. Ростопчина вспоминала: «...бал, на котором я была, дан 25 июля (под стихотворением дата 20 июля.— *Б. Р.*), на другой день Майландского маскарада, по внушению графа Апраксина и старанию офицеров «Мельпомены» (Переписка Плетнева с Гротом, т. II. Спб., 1896, с. 876—877). *Дека* — навесная палуба. *Польский* — распространенное в России в XVIII—XIX вв. название полонеза. В повторяющейся рефреном последней строке каждой строфы чувствуется связь с последней строкой стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. О<доевско>го: «А море Черное шумит не умолкая».

In-Pace. Эпиграф — из стихотворной повести В. А. Жуковского

«Суд в подземелье» (1832), где рассказывается об осуждении молодой монахини, пытавшейся снять с себя обет монашества.

Андре Шеньс. Впервые — «Москвитянин», 1843, № 12, *А. Шеньс* был казнен якобинцами. Пушкиным и декабристами воспринимался как борец с тиранией и ее жертва. *Термидор* — второй месяц лета по республиканскому календарю, введенному Великой французской революцией. 7 термидора 1794 — 25 июля 1794 г., день казни А. Шенье.

«Она все думает!» Впервые — «Москвитянин», 1843, № 11.

В альбом Софье Н<иколаевн>е Карамзиной. Впервые — «Москвитянин», 1844, № 12. Альфонс Жан *Карр* (1808—1890) — французский писатель.

НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН

Впервые частично («Вместо вступления», «Раздел», «Тебе одному», «Не для тебя, так для кого же?..», «После бала», «После другого бала», «Вместо упрека», «Трилогия», «Опустелое жилище») — «Москвитянин», 1848, № 1; полностью — «Стихотворения», 1856, т. I. По предположению Вл. Ходасевича, посвящение расшифровывается так: князю Платону Ивановичу Мещерскому (Владислав Ходасевич. Графиня Е. П. Ростопчина.— В его кн.: Статьи о русской поэзии. Пг., 1922). Но более вероятно, что имеется в виду Петр Иванович *Мещерский* (1802?—1876), который был женат на Е. Н. Карамзиной (1806—1867), близкой знакомой Ростопчиной.

ИЗ РОМАНА В СТИХАХ «ДНЕВНИК ДЕВУШКИ»

Впервые роман полностью под названием «Поэзия и проза жизни. Дневник девушки» опубликован в «Москвитянине», 1850, № 5—24.

«Однообразно и уныло...» — в составе главы X. «Отсутствие».

«Душою пылкой, ненасытной...» — там же.

«Любя его, принадлежать другому!..» — в составе главы XV. «Сватовство». Ранняя редакция стихотворения под названием «Невозможно», датированная июлем 1831 г., опубликована Вл. Нейштадтом в статье «Неизвестные стихи Е. П. Ростопчиной», журн. «30 дней», 1938, № 2.

В раздел («Стихотворения», т. II, 1856) вошли 104 стихотворения, написанные во время зарубежной поездки (весна 1845 — осень 1847) и в последующие годы. Разделу предпослан эпиграф: «De loin comme de près, toujours même pensée...» («И вдали и вблизи всегда одна и та же мысль...» — фр.).

Насильный брак. Впервые — «Северная пчела», 1846, 17 дек., в другой редакции. С небольшими отличиями перепечатано в «Полярной звезде» (1856, кн. 2) с примечанием А. И. Герцена: «Это стихотворение было напечатано; цензура не догадалась сначала, что «Насильственный брак» превосходно представил Николая и Польшу; потом спохватилась и «Старый барон» выслал из Петербурга известного автора их». Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972 (Б-ка поэта, Б. сер.). В путевых заметках, проезжая Польшу, Ростопчина писала: «...сожалею о Польше униженной, порабощенной, уничтоженной... Эта страна мне напоминает женщину в богатом наряде, живущую среди роскоши. Находясь под властью грубого мужа, она тяготится своим рабством...» (Цит. по изд.: Гр. Л. Ростопчина. Семейная хроника. М., б. г., с. 191—192). Стихотворение было очень популярно и сохранилось во множестве списков. Посылая его в «Северную пчелу», Ростопчина убрала явные намеки на Польшу, а в сопровождавшем стихи письме к Ф. В. Булгарину писала: «...прошу... нигде не выставлять моего имени, ни даже начальных букв». *Вздувает огнь междоусобья.*— Имеется в виду польское восстание 1830—1831 гг. *Послал он в ссылку, в заточенье.*— После подавления восстания сотни польских революционеров были репрессированы, высланы в Сибирь.

Слова на серенаду Шуберта. Впервые — «Северная пчела», 1846, 24 дек., под заглавием «Соловью. На голос серенады Шуберта», без эпиграфа. Эпиграф из стихотворения немецкого писателя ЛюдвигаРалльштаба (1799—1860) «Серенада», положенного на музыку Ф. Шубертом. Стихотворение Ростопчиной положено на музыку А. И. Дюбуком. *Каподимонте* — замок близ Неаполя, резиденция королей.

Еще о Неаполе. Впервые — «Москвитянин», 1851, № 7. Здесь продолжается тема стихотворения «Первый взгляд на Неаполь». *Подобие Еврейского столба.*— В Библии (Исход, XIII, 19, 20) говорится о столпе,

который вел евреев из Египта и освещал им ночь, а для преследователей египтян был «облаком и мраком». *Тацит* Публий Корнелий (55—120) — римский историк. *Ладвароне* — прозвище неаполитанских бедняков, нищих. *Монте-Вомеро* — один из спускающихся к Неаполитанскому заливу холмов, на которых расположен Неаполь. *Бая* — курортное местечко близ Неаполя, известное с античных времен.

Первый снег. Впервые — «Москвитянин», 1848, № 1.

Цыганский вечер. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. Л. П. *Голицына* (1818—1882) и Н. П. *Апраксин* (р. 1815) — знакомые Ростопчиной. *В чужбине, в дни разлуки.*— Речь идет о заграничном путешествии поэтессы.

Моим двум приятельницам. Впервые —«Раут» на 1851 г. *Коринна* — древнегреческая поэтесса V в. до н. э.; имеется в виду героиня романа Ж. де Сталь «Коринна или Италия», поэтесса и артистка, отстаивающая свои права на свободу чувств и мнений.

Болезни века. Впервые — «Раут» на 1851 г. *Вертер* — герой романа И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774). Эмиль *Дешан* (1791—1871) — французский поэт, критик.

Из цикла «Простонародные мелодии и песни». Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. Цикл состоит из четырех стихотворений, предназначенных для музыки. Стихотворение «Пусть он не верен, пусть он изменник...» положено на музыку М. Шохиным и В. И. Эбаном.

Зачем я люблю маскарады? Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. *Меропа Александровна Новосильцева* (ум. 1880) — подруга Ростопчиной, частая посетительница ее московских «суббот».

Цирк девятнадцатого века. Впервые — «Москвитянин», 1851, № 2, с посвящением: «Посвящается графине Е. В. де Сальяс-Турнемир», без прозаического к ней обращения, с разночтениями. Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972. *Графиня* — Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир (псевдоним — Евгения Тур, 1815—1892), русская писательница. Эпиграф — из сочинений Тацита; полностью фраза в переводе звучит: «Славься, Цезарь! Идущие на смерть тебя приветствуют!» — так гладиаторы приветствовали императора перед боем. Сюжет о бедной девушке — невесте богача, ставшей жертвой интриги знатной княжны, заимствован из повести Евгении Тур «Ошибка» (1849).

Чего-то жаль. Впервые — «Москвитянин», 1852, № 7, с разночтениями. Стихотворение посвящено участникам «молодой редакции» «Москвитянина», посещавшим «субботы» Ростопчиной; инициалы расшифровываются: Островский Александр Николаевич (1823—1886); Берг Николай Васильевич (1823—1884), поэт-переводчик; Мей Лев Александрович (1822—1862), поэт, драматург; Эдельсон Евгений Николаевич (1824—1868), критик. Высылая стихотворение Островскому, поэтесса писала: «...вот вам новинка, внушенная мне намеднешним чтением и разговором, перерывшим святыню воспоминаний на дне моего сердца... По принадлежности, это новое вдохновение посвящается вам, моим избранным и верным, сочувствующим всему, что я вам читала и доверяла. Спешу его послать, желательно, чтоб оно поспело еще в «Москвитянин» под прикрытием *Бедной и милой Невесты;* если можно, заставьте старика (М. П. Погодина.— *Б. Р.*) опустопорожнить мне страничку в 4-м нумере, только без имени моего и с заглавными буквами ваших имен; также не нужно выставлять числа; это стихотворение из таких, которое должно таиться под скромным покровом анонима, и это скорее всех поймет ваша душа, милый друг мой» (Неизданные письма к А. Н. Островскому. М.— Л., 1932, с. 495—496). Комедия Островского «Бедная невеста» была опубликована в № 4 «Москвитянина» за 1852 г.

Письмо в летнюю ночь. Впервые — «Раут» на 1854 г. С. А. *Рябинина* — сестра князя В. А. Черкасского, знакомая Ростопчиной, одна из частых посетительниц ее московских «суббот», неплохая певица.

Слова для музыки. Испанская песня. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. Положено на музыку А. А. Вилламовым и О. Донауровой.

Минувшему высокосному 1852 году. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. *Высокосный* (високосный) год, по народным поверьям, тяжелый; Касьян (день 29 февраля) «высоко косит», «на что ни взглянет — все вянет». Н. В. *Гоголь* умер 21 февраля 1852 г. в Москве; Ростопчина присутствовала на его похоронах, см. письмо к П. А. Плетневу (с. 353) и «Статью по поводу кончины Гоголя» (Ведомости Московской городской полиции, 1852, № 47). В. А. *Жуковский* умер 12 апреля в Баден-Бадене, Ростопчина посвятила его памяти стихотворение «Прощальная песнь русского лебедя» (Северная пчела, 1852, № 107, с. 425); в записке к редактору «Северной пчелы» В. Ф. Булгарину она писала: «...это поминовение признательной дружбы тому, кого и вы, и я, и все, что на

Руси не заражено поклонением уродливого в ущерб прекрасному и высокому, должны чтить и оплакивать как первого и лучшего из современных уцелевших до сих пор поэтов наших, как примерного, благороднейшего и добрейшего человека». К. П. *Брюллов* (1802—1852) умер 23 июня в Манциане в Италии.

Майская песнь. Впервые — «Пантеон», 1853, № 7. Первая строфа интонационно и по смыслу перекликается с началом стихотворения Н. Ф. Щербины (1821—1869) «Весенняя песня», впервые опубликованного в «Москвитянине» (1851, № 22) под заглавием «Хелидонизма (песнь ласточки — греч.) (Посвящается графине Е. П. Ростопчиной)»:

Все сокрытое в недрах творенья,
Все душе отвечает на зов:
Из земли возникают растенья,
Пробуждаются струны певцов...

Колокольчик. Впервые — «Пантеон», 1853, № 10. Положено на музыку П. С. Гдешинским.

Дума вассалов. Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972. (Б-ка поэта. Б. сер.), где опубликовано впервые. Стихотворение продолжает тему «Насильного брака» и говорит о том, что и в 50-е годы Ростопчина осталась сторонницей освобождения Польши. В рукописной тетради, ранее принадлежавшей Пушкину, это стихотворение в нарушение хронологии записано под автографом «Насильного брака».

Слова для музыки («И больно, и сладко...»). Впервые — «Пантеон», 1855, № 3. Положено на музыку А. И. Дюбуком, П. И. Чайковским.

Слова для музыки («Бывало, я при нем живее...»). Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. *Голицына* Мария Ивановна, княгиня (1819—1881) — знакомая Ростопчиной. Положено на музыку П. П. Булаховым.

В деревне.

Яков Петрович *Полонский* (1819—1898) — поэт; о своем знакомстве с Ростопчиной в нач. 1840-х гг. он писал: «В Москве я поселился на время в доме Мещерских и тут впервые встретил я поэтессу графиню Ростопчину. Она была еще молода, очень мила и красива. Меня попросили прочесть ей мое стихотворение «Ангел», и я прочел его» (Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания. Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1898 год, т. 3, № 12, столб. 657).

Голубая душегрейка. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972. (Б-ка поэта. Б. сер.). Положено на музыку Н. Д. Дмитриевым и Ю. А. Капри.

Странный сон. Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856.

Слова для музыки («Не сотвори себе кумира...»). Впервые — «Стихотворения», т. II, 1856. Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972. (Б-ка поэта. Б. сер.). Перекликается со стихотворением Я. П. Полонского «Кумир» (1844), начинающегося с той же строки.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1856—1858

Впервые — «Стихотворения», т. IV, 1859. (Стих. «В майское утро» впервые: «Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смирдина», т. I. Спб., 1858). Стихотворения 1856—1858 гг. были включены в раздел «Новейшие мелкие стихотворения», заключающий IV т. (1859) «Стихотворений». Три стихотворения, судя по датам, включены в раздел после получения цензурного разрешения от 15 августа 1857 г.

От поэта к царям. Печатается по изд.: Поэты 1840—1850-х гг. Л., 1972. (Б-ка поэта. Б. сер.). Эпиграф — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»).

Судьба современных художников. Михаил Иванович *Глинка* (1804—1857) умер 3 февраля в Берлине; Ростопчина была хорошо знакома с Глинкой, написавшим на ее слова романсы «Северная звезда» и «Дивный терем стоит». Александр Львович *Гурилев* (1803—1858) — русский композитор, был крепостным, вольную получил в 1831 г. Н. С. *Мартынов* (1813—1864) — пианист, петербургский знакомый Ростопчиной. *В Италию как рвется здесь один.*— Речь идет о русском художнике А. А. Иванове (1808—1858), который перед смертью собирался в новую поездку в Италию.

ИЗ САТИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

«Пускай в России нет дворян...» Впервые — «Русская потаенная литература XIX столетия». Отдел первый. Стихотворения, ч. I. Лондон,

1861. Печатается по изд.: Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1970. (Б-ка поэта. Б. сер.). Принадлежность этого стихотворения Е. П. Ростопчиной окончательно не доказана. В заметке «По поводу сочинений графини Ростопчиной» (Исторический вестник, 1885, № 5, с. 495, 496) И. Белов, приведя начало этого стихотворения, писал: «В наше время ходило в обществе немало рассказов о пережитых графиней Ростопчиной столкновениях с правительственной властью, возникших по поводу ее рукописных произведений. <...> Нецензурные стихотворения Ростопчиной с увлечением читались не одной молодежью и записывались в тетради». *Названью прежнему «потешных».*— «Потешные полки» создавались юным Петром I для военных забав и в противовес стрелецкому войску; постепенно превратились в регулярные части создаваемой им армии. *Ярыжка* — в приказах XVI—XVII вв. низший служитель, выполнявший полицейские функции. *Изданья «Свода».*— Предпринятые при Николае I упорядочение и публикация полного свода законов должны были, по мнению властей, укрепить законность и правосудие. *«Русь обильна и сильна...»* — Летописная легенда приписывает эти слова русским послам, призывавшим на Русь варягов.

Из комедии «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки». Впервые — «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки. Продолжение комедии Грибоедова «Горе от ума». Спб., 1865; печатается по этому изданию. До Ростопчиной фабула и образы «Горя от ума» А. С. Грибоедова использовались в драматургии М. А. Бестужевым-Рюминым — «Следствие комедии «Горе от ума» (1826) и М. Н. Загоскиным — «Недовольные» (1835). В комедии-памфлете поэтесса выступает против славянофилов и западников, но в то же время высмеивает и светское общество 1850-х годов. Западников в комедии представляют студент Цурмайер и Петров, связанный с «Современником», а славянофилов Платон Михайлович Горячев и его жена, вводящая в дом Фамусова поэта Мстислава Кирилловича Элейкина, идейного главу славянофилов, в котором узнается Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) — поэт, публицист, философ.

<Стихотворение Элейкина> («Вставайте, сбирайтесь народы...»). Пародия на славянофильскую риторику.

<**Стихотворение Цурмайера**> **«Идея».** Пародия на гражданскую риторику западнического толка.

Дом сумасшедших в Москве в 1858 году. Впервые — «Русская старина», 1885, т. 45; печатается по этому изданию. А. Ф. *Воейков* (1779—1839) — поэт, его памфлет «Дом сумасшедших», где были выведены литературные деятели 1820—1830-х гг., был популярен и в 1850-е. Н. В. *Сушков* (1796—1871) — поэт, драматург; дядя Ростопчиной. В письме к ней по поводу этого памфлета он писал: «...уволь меня от этой пиесы, т. е. от посвящения. Кстати ли мне выйти на ссору со всеми партиями литературными и политическими? Ты знаешь, что я средний, полон терпимости, со всеми знаюсь, все из всех у нас бывают» (Русская старина, т. 45, 1885, с. 706). *Вот святоша Хомяков... вечно спорить он готов.*— По воспоминаниям Герцена: «Ильей Муромцем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков... Ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю жизнь» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 9. М., 1956, с. 156). *Брамы.*— Имеются в виду брахманы — жрецы индийской религии. *Он о «мерзостях России» протрубил во все рога.*— В стихотворении Хомякова «России» (1854) есть строки:

> Безбожной лести, лжи тлетворной,
> И лени мертвой и позорной,
> И всякой мерзости полна!

Ростопчина ответила на это стихотворение стихами «Сам бог сказал: чти мать свою!..» *Рука витии Для крестьян его строга.*— Историк В. И. Семевский писал: «Положение крестьян Хомякова было значительно хуже, чем у большинства более крупных местных помещиков, хотя они и не думали кричать о мерзости крепостного права» (Цит. по изд.: Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века. М.— Л., 1932, т. II, с. 75). *Кошелев* А. И. (1806—1883) — издатель органа славянофилов журнала «Русская беседа». *Чужим добром богат.*— Намек на откупные операции Кошелева. *Сеид* — титул мусульманина, претендующего на происхождение от потомков Магомеда. *Марат* Жан Поль (1743—1793) — деятель Великой французской революции, публицист. *Дмитриев* М. А. (1796—1866), поэт, племянник И. И. Дмитриева (1760—

1837) — баснописца, поэта, прозаика. *Боярин Юрий.*— Юрий Федорович Самарин (1819—1876), писатель, общественный деятель. *Вот хромой.*— Имеется в виду Михаил Петрович Погодин (1800—1875), историк, издатель журнала «Москвитянин». *Сбудет вас... в библиотеку царей.*— В 1852 г. Погодин продал свое собрание старопечатных книг, рукописей, картин, оружия в Императорскую Публичную библиотеку. *Полицмейстер-либерал.*— Петр Карлович Щебальский (1815—1866), историк, публицист, в 1850-х гг. полицмейстер в Москве. *Комик с «новым словом».*— А. Н. Островский; А. Н. Григорьев писал о нем в стихотворении «Искусство и правда»:

Поэт, глашатай правды новой,
Нас миром новым окружил,
И новое сказал он слово...

Вот Кассандра новой Трои, Вот Сафо — Ростопчина...— *Кассандра* — в греч. миф. пророчица, дочь Приама и Гекубы. *Сафо* (Сапфо) — греческая поэтесса первой половины VI в. до н. э. По поводу этих строк Н. В. Сушков писал: «Кассандра — быть так; ты все предсказываешь недоброе и можешь называться Кассандрою. Но величать себя Сафой — нескромно» (Русская старина, т. 45, 1885, с. 700). Ростопчина согласилась с этим замечанием. *Мамзель Яниш.*— Имеется в виду Н. Ф. Павлов, муж К. К. Павловой, урожд. Яниш. В 1852 г. Павлов был арестован по обвинению жены в растрате имущества и выслан в Пермь. *Против лилии Бурбонской.*— В гербе французской королевской династии Бурбонов присутствовала лилия. *В Лилии Нарбонской... плясал.*— «Лилия Нарбонская» — балет, в котором Павлов, бывший в молодости актером, дебютировал. *С домашней музой рядом.*— Имеется в виду К. Павлова. *Дидерот* — старая форма имени Дени Дидро (1713—1784) — французского философа и писателя. *Декарт* Рене (1596—1650) — французский философ и математик. *При Грановском Шевырев.*— Тимофей Николаевич Грановский (1823—1855) — историк. Степан Петрович Шевырев (1806—1864) — поэт, критик, член редакции «Москвитянина». Грановский с Шевыревым были в неприязненных отношениях, но оба посещали обеды Павлова. *Безымянными стихами.*— Павлову приписывалась стихотворная шутка против московского генерал-губернатора А. Закревского. Михаил Николаевич *Катков* (1818—1886) — публицист, издатель; из либералов

к началу 1860-х гг. стал ярым консерватором. *Кружка Беседы.*— Имеется в виду журнал «Русская беседа». *Вестник враг ей.*— Катков был редактором журнала «Русский вестник». *Славный некогда поэт* — П. А. Вяземский. Выделенные слова — темы его стихов из книги «В России и за границей». *Место важное заняв.*— С 1855 по 1858 г. Вяземский был товарищем министра народного просвещения. *Резвенький князек* — Владимир Федорович Одоевский (1803—1869), писатель; *дедушка Ириней, Ириней Гомозейка* — его псевдонимы. *Жизнью сломанный поэт* — Федор Иванович Тютчев (1803—1873). *Дипломат-певец.*— С 1822 по 1839 г. Тютчев состоял при русских дипломатических миссиях в Мюнхене и Турине. *Сладит с цензорским уставом.*— В 1858 г. Тютчев занял пост председателя Комитета иностранной цензуры.

ПРОЗА

Чины и деньги. Повесть. Впервые — «Сын отечества и Северный архив», 1838, ч. II. Печатается по изд.: Сочинения графини Ростопчиной, 1890, т. 2. [1] *Саламандра* — семейство хвостатых земноводных; по средневековым представлениям, дух стихии огня. [2] *Палаццо Питти* — дворец во Флоренции, памятник архитектуры раннего Возрождения, большую часть которого занимает картинная галерея, открытая для публики в 1828 г. [3] *Сильфида* — по представлениям средневековья, женский дух стихии воздуха; в 1837 г. в Петербурге шел балет Ж. Шнейцгоффера «Сильфида» с Марией Тальони (1804—1884) в главной роли, которая принесла ей мировую известность. [4] *Конклав* — совет кардиналов для избрания папы. [5] *Треллер* — трель. [6] *Кипсек* — роскошно изданная книга, альбом.

ПИСЬМА

Отдельные письма Е. П. Ростопчиной в разное время печатались в журналах и других изданиях, ныне малодоступных. В настоящей книге представлена лишь небольшая часть эпистолярного наследия поэтессы; тексты писем печатаются с некоторыми сокращениями, как правило, по первым публикациям.

В. Ф. Одоевскому

1

Впервые — «Русская старина», 1904, т. 119. [1] Речь идет об А. И. Одоевском, служившем рядовым Нижегородского драгунского полка. [2] Ренкевичи — родственники Ростопчиной; Е. Е. Ренкевич (1772—1834); его жена Александра Александровна (урожд. Пашкова (1770—1825); их сын А. Е. Ренкевич (служил вместе с А. И. Одоевским в лейб-гвардии конном полку). [3] Владимир Андреевич *Владиславлев* (1808—1856) — прозаик; издатель *альманаха* «Утренняя заря». Здесь речь идет об альманахе «Утренняя заря на 1840 год», доход от которого Владиславлев, служивший в корпусе жандармов, пожертвовал в пользу Петербургской детской больницы, председателем которой состоял шеф жандармов А. Х. *Бенкендорф*; в нем были напечатаны три стихотворения Ростопчиной.

2

Впервые — там же; оригинал по-французски. [1] *«Живой мертвец»* — повесть В. Ф. Одоевского, опубликованная в «Отечественных записках», 1844, т. 32.

3

Впервые — там же. [1] Петр Александрович *Чихачев* (1808—1890) — географ, путешественник. [2] М. Ю. *Виельгорский* (Вильегорский; 1788—1856) — композитор, музыкальный деятель. [3] Наталья Николаевна *Ланская* (урожд. Гончарова; 1812—1863) — вдова Пушкина; в 1844 вышла замуж за П. П. Ланского. [4] *Путяты* — знакомые Ростопчиной; Николай Васильевич Путята (1802—1877) — литератор.

4

Впервые — «Русский архив», 1864, № 7, 8. [1] Псевдонимы Одоевского. [2] *Альберт ле Гранд* (1193 или 1205—1280) — немецкий ученый, философ, слыл магом. [3] Видимо, имеется в виду Август Вильгельм *Гофман* (1818—1892) — немецкий химик. [4] Пьер Жан *Беранже* (1780—1857) — французский поэт; *Лизетта* — героиня его песен, здесь имеется в виду третья строфа стихотворения Беранже «Чердак». [5] *«Независимость Бель-*

гии» — газета. [6] В первой публикации письма дана сноска: «Инструмент в роде органа, в котором многие особенности были придуманы кн. Одоевским. В кружке музыкантов и любителей, собравшихся испытать это новое изобретение, решили, что этому инструменту надо придать особое имя; но как играть на нем с непривычки было довольно трудно, то Жуковский настаивал, чтобы дали два имени: когда на нем хорошо играют, то «Себастиана» (в честь Себастиана Баха), а когда дурно, то *Савоська*» (Русский архив, 1864, № 7—8, столб. 847). [7] Второе издание «Стихотворений» Е. П. Ростопчиной, т. I, II, 1857, печаталось в Лейпциге.

А. Н. Островскому

Впервые — «Неизданные письма к А. Н. Островскому». М.— Л., 1932.

1

[1] *Бегичев* Владимир Петрович (1835—1891) — драматург-дилетант. [2] *Краевский* Андрей Александрович (1810—1889) — журналист, издатель «Отечественных записок».

2

[1] Речь идет о сестре Островского, Наталье Николаевне Давыдовой (урожд. Островской), которая умерла 13 марта 1852 г. [2] *Домбровский* Осип Филиппович (1826—1892) — провинциальный актер, игравший в пьесах Островского.

3

[1] М. П. Погодин. [2] Островский обещал посвятить Ростопчиной пьесу «Не в свои сани не садись», но при публикации ее в «Москвитянине» Погодин настоял на снятии посвящения.

4

[1] Речь идет о пьесе «Не так живи, как хочется», которую Островский читал у А. А. Григорьева; 22 ноября 1854 г. он читал ее у Ростопчиной.

М. П. Погодину

Впервые: 1 — Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 7. Спб., 1893; 2, 3, 4, 5 — там же, кн. 11. Спб., 1897; 6 — там же, кн. 14. Спб., 1900.

1

В письме высказывается одобрение направлению «Москвитянина».
[1] С. П. Шевырев.

2

[1] Роман «Счастливая женщина» был опубликован в «Москвитянине», № 23 за 1851 г. и № 2, 5, 6 за 1852 г. [2] *Снегирев* Иван Михайлович (1793—1868) — этнограф и фольклорист, профессор Московского университета, цензор.

3

[1] Герой трагедии А. С. Хомякова «Дмитрий Самозванец». [2] Герои романа «Счастливая женщина».

6

[1] Так Ростопчина в шутку называла Погодина. [2] *Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, поэт; *Аксаков* Константин Сергеевич (1823—1886) — публицист, критик, поэт — идеологи славянофильства, сыновья писателя Аксакова Сергея Тимофеевича (1791—1859). [3] *Царевна София* — героиня поэмы Ростопчиной «Монахиня» (1824). [4] Н. Ф. Павлов и К. К. Павлова. [5] Зинаида Р-ва — псевд. *Ган* Елены Андреевны (1814—1842) — писательницы. [6] *Хвощинская* Софья Дмитриевна (1828—1865) — писательница.

П. А. Плетневу

Впервые — «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. III. Спб., 1869.

1

[1] *Сенковский* Осип (Юлиан) Иванович (1800—1858) — писатель, журналист, востоковед; редактор и издатель «Библиотеки для чтения». [2] Драматическая фантазия «*Одаренная*» Ростопчиной была напечатана в «Библиотеке для чтения», 1852, т. 115.

2

[1] Под псевдонимом *«Новый поэт»* выступал в «Современнике» с литературными пародиями Панаев Иван Иванович (1812—1862) — прозаик и поэт; на Ростопчину написал несколько пародий.

Е. Малевской

Впервые — Wladyslaw Mieckiewicz. Żywot Adama Mieckiewicza. Podlug zebranych siebie materyalów, t. 1. Poznań. Печатается по изд.: Киселев В. Поэтесса и царь.— Русская литература, 1965, № 1.

[1] Францишек *Малевский* (1800—1870) — польский революционер, высланный вместе с Мицкевичем в Россию и оставшийся в ней навсегда. Выдвинулся в России как правовед и участвовал в составлении Свода законов. [2] *Муханов* Павел Александрович (1798—1871) — военный и государственный деятель, историк.

А. В. Дружинину

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — критик, прозаик, журналист. Впервые — «Письма к А. В. Дружинину». Летописи, т. 9. М., 1948.

1

[1] В оригинале Ростопчина несколько раз ошибочно называет Дружинина Михайловичем. [2] *Рюрик* (ум. 879 г.) — первый русский князь Игорь Рюрикович (ум. 945), князь Киевский. [3] *Языков* Николай Михайлович (1803—1846) — поэт. [4] *Боткин* Василий Петрович (1811—1869) — писатель, критик, переводчик. [5] *Корш* Валентин Федорович (1828—1883)— журналист, историк литературы. [6] *Виардо* Мишель-Фернанда-Полина (1821—1910) — французская певица.

2

[1] Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — библиограф, поэт. [2] Собака. [3] *Кони* Федор Алексеевич (1809—1879) — писатель, редактор «Пантеона». [4] *Роман в письмах «У пристани».* [5] *Григорович* Дмитрий Васильевич (1822—1899) — писатель. [6] *Джон Буль* — прозвище англичан. [7] *Энгельгардт Софья Владимировна* (урожд. Новосильцова;

1828—1894) — писательница, писала под псевдонимом «Ольга Н». [8] В греч. миф. *Ганимед* — прекрасный юноша, которого, превратившись в орла, похитил Зевс и сделал своим виночерпием. [9] *Филемон и Бавкида* — в греч. миф. примерная супружеская пара; здесь, видимо, имеются в виду Краевский и его жена Елизавета Яковлевна. [10] *Бенедиктов* Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт. [11] *Алферов* Василий Петрович (1823—1854). [12] Так называли в свете Одоевскую Ольгу Степановну (урожд. Ланская; 1797—1872).

3

[1] Статьи А. В. Дружинина «Жизнь и драматические произведения Ричарда Шеридана» (Современник, 1854, № 1, 9, 10). [2] *«Вильет», «Джени Эйр* — романы Шарлотты Бронте (1816—1855), английской писательницы. [3] *Жан Поль* (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763—1825) — немецкий писатель, сочетавший просветительские принципы с сентиментализмом. [4] *«Натали»* — трехтомная повесть Юлии Каванаг (1824—1877), английской писательницы. [5] *«Леди Бард»* — произведение английской писательницы Джоржианы Фоллертон (1812—1885). [6] Роман Панаева Ипполита Александровича был напечатан в «Современнике», 1853, т. XLV, XLVII. [7] Марченко Анастасия Яковлевна (ум. 1880), подписывалась буквами Т. Ч. [8] Жорж Санд, далее непонятно, возможна описка. [9] Фёлье Октав (1821—1890) — французский писатель, последователь Жорж Санд. [10] Миргер Энри (1822—1861) — французский писатель. [11] «Холодный дом» — роман Чарльза Диккенса (1812—1870); далее Ростопчина упоминает героев романа, Чедбенда ошибочно называя *Чадвудом.* [12] *Больвер* — Бульвер-Литтон Эдуард Джордж (1803—1873), английский писатель; далее говорится о его романах «Алиса или тайны», «Эрнест Мальтраверс», «Годольфин».

4

[1] *Лонгинов* Михаил Николаевич (1823—1875) — историк литературы, библиограф, мемуарист. [2] *Зоил* (ок. 400 — ок. 330 до н. э.) — критик Гомера, нарицательное имя озлобленного критика. [3] В «Современнике» (1854, № 11) помещена переписка К. К. Павловой и И. И. Панаева по поводу разбора Панаевым стихотворения Павловой «Разговор в Кремле» (Современник, 1854, № 9). [4] Юмористический отдел «Современника».

[5] Оба предшественника (с фр.). [6] *Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт. [7] Дмитриев Н. Д. (1829—1893) написал музыку на стихи Панаева «Будто из Гейне» («Густолиственных кленов аллея...»), пародировавших Гейне. [8] «Не так живи, как хочется». [9] *При-Невский лорд* — И. И. Панаев, имевший наклонность к щегольству. [10] Под *«Маскарадом»*, может быть, имеется в виду поэма К. Павловой «Кадриль», из которой в то время были опубликованы лишь отрывки; *«Двойная жизнь»* — поэма К. Павловой.

[11] К. Павлова владела несколькими языками и, кроме русского, писала стихи на французском и немецком.

Ф. А. Кони

Впервые: 1, 3 — «Русский архив», 1911, № 11; 2 — там же, 1909, № 11.

1

[1] Роман «У пристани». [2] *Федотов* Павел Андреевич (1815—1852) — живописец и график; автор портрета Е. П. Ростопчиной. [3] *Тропинин* Василий Андреевич (1776—1857) — живописец-портретист. [4] *Жулева* (по мужу Небольсина) Екатерина Николаевна (1830—1905) — актриса. [5] *Самойлова* Вера Васильевна (1824—1880) — актриса.

2

[1] С. П. Сушков. [2] Драматическая сцена в стихах «Дочь Дон Жуана» была опубликована в «Пантеоне» (1856, № 1). [3] Д. П. Сушков (1817—1877). [4] Речь идет, видимо, о драме в двух действиях «Людмила и Люба» (Пантеон, 1854, № 6).

3

[1] Кружок, группа лиц, преследующих узкогрупповые цели. [2] Речь идет о стихотворении Ростопчиной «Христианам, восставшим на востоке, за святую православную церковь, и за гонимых братьев своих», которое было вызвано событиями Крымской войны 1853—1856 гг. [3] *Коссович Каэтан* Андреевич (1815—1863) — русский востоковед. [4] *Пальмерстон* Генри Джон Темпл (1784—1865) — английский государственный деятель, в 1852—1855 гг.— министр внутренних дел; здесь, видимо, имеются в виду популярные в годы Крымской войны стихи В. П. Алферьева:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом...

[b] *Чужбинский* — псевдоним Афанасьева Александра Степановича (1817—1875) — писателя, этнографа.

А. Дюма

1

Впервые — A. Dumas. Le Caucase. Journal de voyages et romans. Paris, 1859, № 19; на русском языке в переводе П. Ребровского в кн.: Ал. Дюма. Кавказ. Путешествия А. Дюма. Тифлис, 1861 — частично; окончание письма впервые опубликовано М. П. Алексеевым в статье «К тексту стихотворения «Во глубине сибирских руд» в кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971. Печатается по изд.: Русская старина, 1882, т. XXV, № 9 и по тексту публикации М. П. Алексеева.
Далее в оригинале, написанном по-французски, следует текст стихотворения А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд».

2

Впервые — там же. Текст письма печатается по изд.: Русская старина, 1882, т. XXV, № 9; текст заметки о Лермонтове по изд.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964. [1] Лермонтов родился в ночь со 2 на 3 октября 1814 г. [2] *Дон-Жуан, Лара, Манфред* — герои одноименных произведений Д.-Г. Байрона. [3] Е. А. Сушкова (по мужу Хвостова; 1812—1868). [4] 22 ноября 1834 г. Лермонтов был произведен в корнеты не егерского, а лейб-гвардии гусарского полка. [5] *Mayeux* — популярный персонаж французских карикатур, созданный художником Шарлем Травье; этот образ широко использовался во французской литературе 1830—1840-х гг. [6] Здесь имеется в виду история взаимоотношений Лермонтова с Е. А. Сушковой. [7] В одном из прижизненных списков стихотворения «Смерть поэта» стоит эпиграф из трагедии французского писателя Ротру «Венцеслав» в переделке А. Жандра, который, видимо, имеет в виду Ростопчина:

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

[8] Приказ о переводе Лермонтова из Нижегородского драгунского полка, находившегося на Кавказе, в Гродненский гусарский полк, расквартированный под Новгородом, был подписан 11 октября 1837 г. [9] Имеется в виду начало неоконченной повести М. Ю. Лермонтова «У графа В... был музыкальный вечер». [10] Прощальный ужин у Карамзиных состоялся 12 апреля 1841 г. [11] Речь, видимо, идет об Андрее Николаевиче Карамзине (1814—1854). [12] Лермонтов был убит в двадцать шесть лет.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ

М. Ю. Лермонтов

Печатается по изд.: Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х т., т. 1. М.— Л., 1961.

Додо. Новогодний мадригал вместе с другими шестнадцатью стихотворениями был написан в конце 1831 г. и прочитан Лермонтовым на новогоднем маскараде в Благородном собрании.

Графине Ростопчиной. Лермонтов написал это стихотворение в альбом Ростопчиной в апреле 1841 г., перед последним отъездом на Кавказ. Автограф стихотворения не сохранился.

К. К. Павлова

Печатается по изд.: Каролина Павлова. Полное собрание стихотворений. М.— Л., 1964. (Б-ка поэта. Б. сер.).

Графине Р<остопчиной>. Стихотворение является полемическим ответом на стихотворения Ростопчиной «В Москву» и «Вид Москвы».

«Мы современницы, графиня...» В стихотворении отразились сложные отношения двух поэтесс.

Ф. И. Тютчев

Печатается по изд.: Тютчев Ф. И. Лирика, т. 2. М., 1965. (Литературные памятники).

Тютчева с Ростопчиной связывало длительное знакомство, кроме того, сестра Тютчева — Дарья Ивановна была замужем за Н. В. Сушковым, дядей Ростопчиной.

Графине Е. П. Ростопчиной (в ответ на ее письмо). *Во мгле стигийской*...— В греч. миф.— царство мертвых за рекой Стикс. ...*феи-Нелюдимки*.— Намек на драму Ростопчиной «Нелюдимка». В другой редакции после восьмой строфы:

И страстно песнь ее звучала,
Пленяя души и сердца,—
Она Бетховена играла,
И доиграла до конца.

Графине Ростопчиной. Написано в связи с приездом Ростопчиной после смерти Николая I в Петербург, откуда она была выслана за публикацию «Насильного брака». *Дни роковые* — имеется в виду Крымская война.

Л. А. Мей

Печатается по изд.: Мей Л. А. Избранные стихотворения. Л., 1972. (Б-ка поэта. Б. сер.).

В альбом. Мей был постоянным посетителем салона Ростопчиной в Москве; поэтесса была посаженой матерью на его свадьбе. *От старых гроз*.— Намек на гонения, которым Ростопчина подвергалась после публикации «Насильного брака».

Н. П. Огарев

Отступнице. Печатается по изд.: Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. Л., 1961. (Б-ка поэта. М. сер.). Стихотворение написано после появления в августе 1857 г. стихотворения Ростопчиной «Простой обзор». Цензура не пропустила в нем три строфы, задевающие А. И. Герцена, но эти строфы быстро распространились в списках и в 1858 г. появились в «Колоколе», в заметке «Струна из графской лиры Ростопчи-

ной». *Клейнмихель* Петр Андреевич (1793—1869) — в 1842—1855 гг. главноуправляющий путями сообщения и публичными заведениями. Пользовался особым доверием Николая I и ведал постройкой Николаевской железной дороги, которая обошлась в огромную сумму — 64 миллиона рублей, существенная часть ее досталась Клейнмихелю. По утверждению С. П. Сушкова, это стихотворение осталось Ростопчиной неизвестно.

А. Н. Майков

«В наш город слух прошел, что Сафо будет к нам...» Печатается по изд.: Майков А. Н. Полн. собр. соч., т. 1. Спб., 1914. В романе в стихах «Дневник девушки» Ростопчина писала об отношении светского общества к ее героине, пишущей стихи:

И шепот их лукавый повторял
Презрительно название Коринны,
Новейшей Сафо...

Вяземский в письме к И. И. Дмитриеву называл Ростопчину «Московской Сафо». Сафо называет себя Ростопчина в «Доме сумасшедших». *Такая слабая и маленького роста* — Ростопчина была небольшого роста.

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Романов. Лирический дневник Евдокии Ростопчиной . . 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Детские стихотворения. 1829—1833

Молодой месяц 30
Талисман 32
Когда б он знал! (Подражание г-же Деборд-Вальмор) 33
Равнодушной 34
Мечта 37
К страдальцам 40
Цыганский табор 42
Простонародная песня («Тучи черные собираются...») 44
Осенний вечер 46
Отринутому поэту 47

Зеленая книга. 1834—1838

Русская песня («Что́ ты, молодость моя...») 49
Изменнице. (Стансы для музыки Н. И. Бахметева) . . . 51

Осенние листы 53
Прежней наперснице 56
Надевая албанский костюм 59
На прощанье... 60
Черная немочь 62
Кто поэт 65
Последний цветок 68
Сонет («Когда непогода в лесу забушует...») 70
Сонет («Бывают дни,— я чую: вдохновенье...») 71
Зимний вечер 72
Месть 74
Безнадежность 77
Эльбрус и я 78
Разговор во время мазурки 80
Ссора 82
Вы вспомните меня 84
Последнее слово 86
В степи 89

Стихотворения. 1838—1843

Черновая книга Пушкина 92
Две встречи 94
Искушенье 99
Воспоминанье 102
Колокольный звон ночью 105
Прости, Кавказ! 107
Одним меньше! (На смерть партизана Дениса В. Давыдова) . 109
Падучая звезда 111

Двойные рамы 112
Недоконченное шитье 114
Виктору Гюго, отверженному Французской Академиею . . . 116
Негодованье 118
И он поэт 120
В Москву 121
Поклонникам Наполеона, когда они вздумали перенести его гробницу в Париж 123
Село Анна 124
Вид Москвы 126
Часы уединенья 128
Звезды полуночи 130
Посещая Московскую Оружейную палату 131
У окна, в лунную ночь 132
Как должны писать женщины 133
Огонь в светлице. (Дорожная дума) 135
Арабское предание о розе 138
Потерянное кольцо 139
Былые слезы 140
Я не для счастья рождена! 141
На дорогу! 142
Потерянная весна 144
Одиночество 145
Нашим будущим поэтам 146
Запретный кубок 148
Домашний друг 149
Пустой альбом 152
Не скучно, а грустно 157
Близка весна 158
Отплывающий пароход 159

Подаренный букет 160

На взморье 161

Бал на фрегате 163

In-pace 166

Андре Шенье 167

«Она все думает!» 170

В альбом Софье Н<иколаевн>е Карамзиной 171

Неизвестный роман

Вместо вступления. (Письмо к издателю журнала от г-на N. N.) 172

I. Раздел 176

II. Тебе одному 176

III. Не для тебя, так для кого же?.. 177

IV. После бала 178

V. После другого бала 179

VI. Ожидая его... 180

VII. Вместо упрека 181

VIII. Зачем нас гонят люди 182

IX. Трилогия 184

X. Прости! 188

XI. При свиданьи 189

XII. Новоселье 190

XIII. Счастливый день 191

XIV. Молва 192

XV. Ожиданье 194

XVI. Ссора 195

XVII. В зимнюю ночь 196

XVIII. Опустелое жилище 199

XIX. Кто виноват? 200

Из романа в стихах «Дневник девушки»

«Однообразно и уныло...» 202
«Душою пылкой, ненасытной...» 203
«Любя его, принадлежать другому!..» 204

Издалека. Стихотворения. 1845—1856

Насильный брак. (Баллада и аллегория) 206
Слова на серенаду Шуберта 210
Еще о Неаполе 212
Первый снег 217
Цыганский вечер 219
Моим двум приятельницам 221
Болезни века 222

Из цикла «Простонародные мелодии и песни»

На голос украинской мелодии 226
«Пусть он не верен, пусть он изменник...» 227
Зачем я люблю маскарады? 228
Цирк девятнадцатого века 230
Чего-то жаль. (По прочтении новым друзьям старых стихотворений) 242
Письмо в летнюю ночь 244
Слова для музыки. (Испанская песня) 245
Минувшему высокосному 1852 году 246
Майская песнь 247
Колокольчик 249
Дума вассалов 250
Слово для музыки («И больно, и сладко...») 251

Слова для музыки («Бывало, я при нем живее...») 253
В деревне 254
Голубая душегрейка (Слова для музыки) 255
Странный сон 257
Слова для музыки 260

Стихотворения. 1856—1858

От поэта к царям 261
Песня («Мы прежде изредка встречались...») 265
В лунную ночь 266
В майское утро 268
Судьба современных художников. (Когда я узнала зараз о смерти Михаила И. Глинки и о сумасшествии Гурилева) . . . 269

Из сатирических произведений

«Пускай в России нет дворян...» 274
Из комедии «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки» 276
<Стихотворение Элейкина> («Вставайте...сбирайтесь, народы...») 276
<Стихотворение Цурмайера>. *Идея* 277
Дом сумасшедших в Москве в 1858 году. (Продолжение Воейковского «Дома сумасшедших») *(Отрывки)* 279

ПРОЗА

Чины и деньги 290

ПИСЬМА

В. Ф. Одоевскому 336
А. Н. Островскому 342
М. П. Погодину 346
П. А. Плетневу 353
Е. Малевской 358
А. В. Дружинину 359
Ф. А. Кони 374
А. Дюма 383

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ

М. Ю. Лермонтов

Додо 394
Графине Ростопчиной 394

К. К. Павлова

Графине Р<остопчиной> 396
«Мы современницы, графиня...» 397

Ф. И. Тютчев

Графине Е. П. Ростопчиной (в ответ на ее письмо) 399
Графине Ростопчиной 400

Л. А. Мей

В альбом (Гр. Е. П. Ростопчиной) 401

Н. П. Огарев

Отступнице (Посвящено гр. Р<остопчино>й 402

А. Н. Майков

«В наш город слух прошел, что Сафо будет к нам...» 406
Примечания 407

Ростопчина Е. П.

Р78 Стихотворения. Проза. Письма/Сост., вступ. ст., подгот. текстов и примеч. Б. Н. Романова.— М.: Сов. Россия, 1986.— 448 с.: 1 л. портр., ил.

Евдокия Петровна Ростопчина (1812—1858) — одна из первых русских поэтесс; выступала она и как прозаик, и как драматург. В 30—40-е годы прошлого века ее стихи были широко популярны, о творчестве Ростопчиной одобрительно отзывались ее великие современники. Она была знакома с Пушкиным, Гоголем, Островским, дружна с Лермонтовым.

В книгу, представляющую собой первое советское издание избранных произведений писательницы, включены стихотворения разных лет, повесть «Чины и деньги», письма, а также стихи, посвященные Е. П. Ростопчиной.

Р $\frac{4702010100—351}{М-105(03)86}$ 171—86 Р1

Евдокия Петровна Ростопчина

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПРОЗА
ПИСЬМА

Редактор *Е. Г. Кожедуб*
Художественный редактор *Н. Д. Викторова*
Технические редакторы
Г. О. Нефедова, Н. П. Карасик
Корректор
Т. А. Лебедева

ИБ № 4483

Сдано в набор 27.02.86. Подписано в печать 04.08.86. А02412. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типограф. № 1. Гарнитура академическая. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 19,95. Уч.-изд. л. 18,90. Тираж 50 000 экз. Заказ 1086. Цена 1 р. 60 к. Изд. инд. ЛХП-31.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 103012, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.